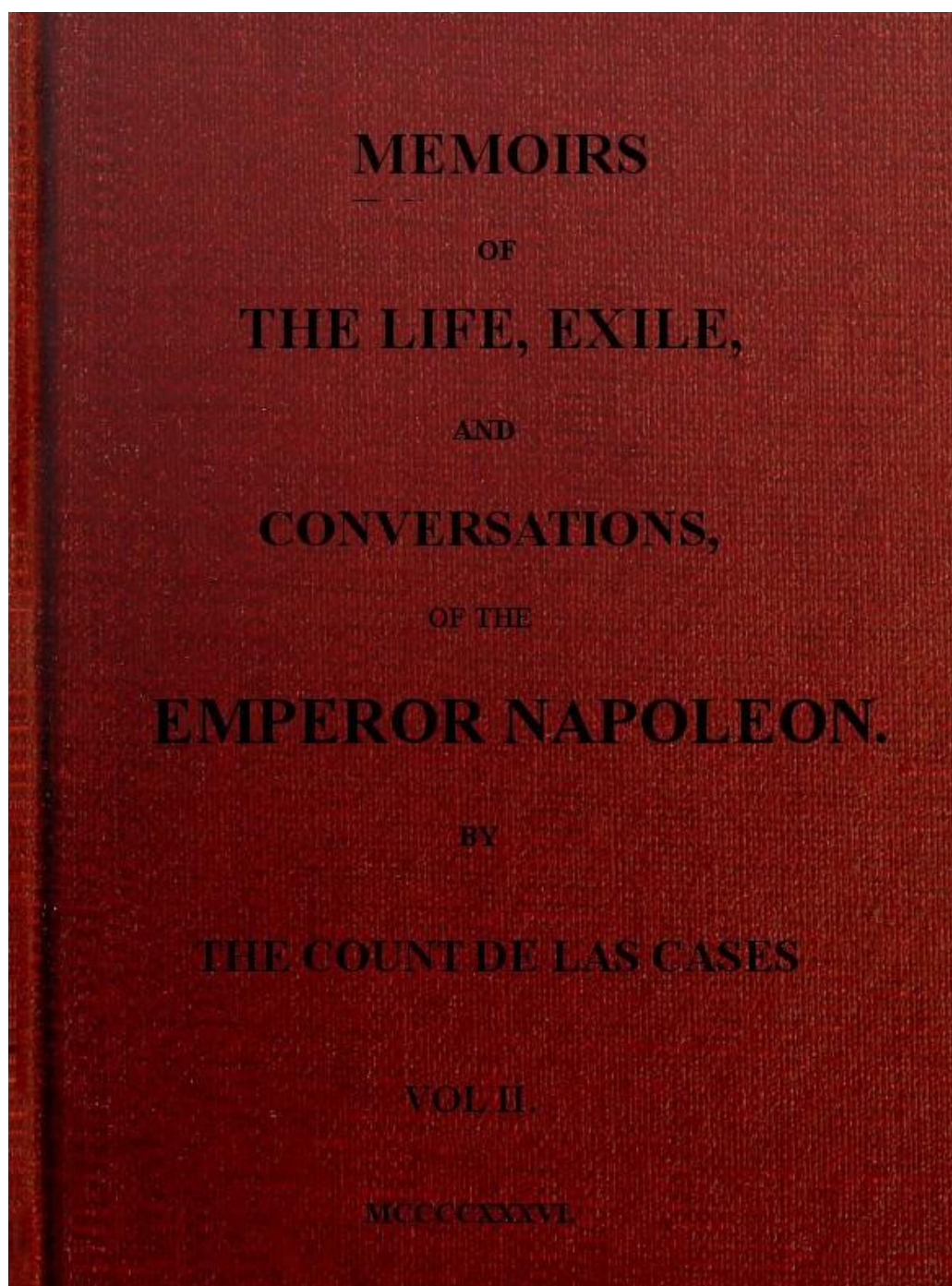


# Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том II)

Граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес



# Электронная книга проекта "Гутенберг", содержащая Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том II)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

**Название:** Воспоминания о жизни, ссылке и беседах императора Наполеона. (Том II)

**Автор:** граф де Эммануэль-Огюст-Дьедонне Лас Касес

**Дата выхода:** 16 января 2017 г. [Электронная книга № 53968]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

**Язык:** Английский

**Кредиты:** производится КД недели, Хосеп седла каналов и онлайн распределенных вычитка команда <http://www.pgdp.net> (этот файл был создан из изображения любезно предоставлены интернет-архив/американских библиотек.)

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА". (ТОМ. II) \*\*\*

---

Примечание переписчика:

Сноски собраны в конце каждой главы и связаны для удобства использования.

Незначительные ошибки, связанные с принтером, были исправлены. Пожалуйста, ознакомьтесь [с примечанием](#) переписчика в конце этого текста для получения подробной информации об устранении любых текстовых проблем, возникших при его подготовке.

Это второй из четырех томов, с которыми можно ознакомиться в Project Gutenberg здесь:

Том I <https://www.gutenberg.org/ebooks/53967>

Том II <https://www.gutenberg.org/ebooks/53968>

Том III <https://www.gutenberg.org/ebooks/53969>

Том IV <https://www.gutenberg.org/ebooks/53970>

Изображение на обложке создано на основе информации с титульного листа и добавлено в общественное достояние.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как [исправления](#), которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях. Исходный текст можно просмотреть, наведя курсор на исправление.

Исправления, внесенные в текст, будут отображаться как исправления, которые служат ссылками на соответствующую запись в заключительных примечаниях.



Джозефина.

*Опубликовано для Генри Колберна в марте 1836 года.*

## ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ, ССЫЛКЕ И БЕСЕДАХ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА.

ПО ДЕЛАМ ГРАФА ДЕ ЛАС.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.

С ПОРТРЕТАМИ

И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ УКРАШЕНИЙ.

ТОМ II.

ЛОНДОН:

ОПУБЛИКОВАНО ДЛЯ ГЕНРИ КОЛБЕРНА,

РИЧАРД БЕНТЛИ; БЕЛЛ И БРЭДФУТ, ЭДИНБУРГ; Дж. КАММИНГ, ДУБЛИН;

И ВСЕ КНИГОТОРГОВЦЫ.

---

MDCCCXXXVI.

АНДОВЕР:

ПО ШАБЛОНУ И НАПЕЧАТАНО Б. БЕНСЛИ.

МЕМОАРЫ ИМПЕРАТОРА НАПОЛЕОНА.

---

## ДВЕ ИМПЕРАТРИЦЫ.—ПРИНЦЕССА ПОЛИНА.—КРАСНОРЕЧИВОЕ ИЗЛИЯНИЕ ИМПЕРАТОРА.

В другой из таких вечеров император выступал против капризов женщин: “Ничто, - сказал он, - так ясно не указывает на их ранг, образование и хорошее воспитание, как уравновешенность характера и постоянное желание нравиться”. Он добавил, что обстоятельства обязывали их всегда быть самими собой и всегда исполнять свою роль на сцене. Две его жены, заметил он, всегда были такими: они, конечно, сильно различались по своим качествам и склонностям, но в этом они всегда соглашались. Он никогда не видел дурного настроения ни у того, ни у другого: стремление угодить ему было постоянной целью обоих.

Кто-то осмелился, однако, заметить, что Мария-Луиза хвасталась, что всякий раз, когда она чего-либо желает, каким бы трудным это ни было, ей достаточно заплакать. Император рассмеялся и сказал, что это для него в новинку. Он мог бы заподозрить это в Жозефине, но он понятия не имел об этом в Марии-Луизе. И затем, обращаясь к мадам Бертран и Монтолон: “Так обстоит дело со всеми вами, дамы, - сказал он. - в некоторых моментах вы все согласны”.

Он еще долго говорил о двух Императрицах и, как обычно, повторял, что одна - Невинность, а другая - Грация. От них он перешел к своим сестрам и особенно остановился на прелестях принцессы Полины. Было признано, что она, без сомнения, самая красивая женщина Парижа. Император сказал, что художники были единодушны в том, что считали ее идеальной Венерой Медичи. Было рискнуто немного пошутить над влиянием, которое принцесса Полина оказала на острове Эльба на генерала Друо, чье усердное внимание она привлекла, несмотря на разницу в возрасте и суровость его облика. Говорили, что принцесса вытянула из него тайну предполагаемого отъезда за восемь дней до того, как он состоялся. Он повторил ошибку Тюренна; и на это император сказал: “Таковы женщины, и такова их опасная сила!” Тут мадам Бертран заявила, что великий маршал, безусловно, сделал не так уж много. “Мадам, ” с улыбкой возразил император, “ он был всего лишь вашим мужем”. Кто-то заметил, что принцесса Полина, находясь в Ницце, выставила на дороге почтовую повозку, в которой каждый день

прибывали платья и модные вещи из Парижа, император сказал: “Если бы я знал об этом, это не продлилось бы долго, ее бы хорошенько отругали. Но так оно и происходит: пока человек является императором, он ничего не знает об этих вещах”.

После этого разговора император спросил, какой сегодня день месяца: это было 11 марта. “Что ж, - сказал он, “сегодня прошел год, это был блестящий день; я был в Лионе, проводил смотр войскам, обедал с мэром, который, кстати, с тех пор хвастался, что это был худший обед, который он когда-либо готовил в своей жизни”. Император оживился; он быстро расхаживал по комнате. “Я снова стал великой державой”, - продолжил он, и у него вырвался вздох, который он немедленно подавил следующими словами, с акцентом и теплотой, которые трудно описать: “Я основал самую прекрасную империю в мире, и я был так необходим ей, что, несмотря на все последние неудачи, здесь, на моей скале, я, кажется, все еще остаюсь хозяином Франции. Посмотрите, что там происходит, почитайте газеты, вы найдете это в каждой строчке. Позвольте мне еще раз ступить туда, и они увидят, что такое Франция, и что я могу сделать!” И потом, какие идеи, какие проекты он разрабатывал во славу и счастье страны! Он говорил долго, с таким интересом и так откровенно, что мы могли бы забыть время, место и времена года. Ниже приводится часть того, что он сказал:

“Какая судьба, - сказал он, - что мое возвращение с острова Эльба не было одобрено, что никто не понял, что мое правление было желательным и необходимым для равновесия и покоя Европы! Но и короли, и народ боялись меня; они были неправы и могут дорого за это заплатить. Я вернулся новым человеком; они не могли в это поверить; они не могли себе представить, что у человека может быть достаточно силы духа, чтобы изменить свой характер или подчиниться силе обстоятельств. Я, однако, привел доказательства этого и некоторые обещания на тот же счет. Кто не знает, что я не сторонник полумер? Я был бы таким же искренним монархом конституции и мира, каким обладал бы абсолютной властью и великими предприятиями.

Давайте немного поразмыслим о страхах королей и народа на мой счет. Чего могли опасаться короли? Неужели они все еще боялись моих амбиций, моих завоеваний, моей вселенской монархии? Но моя сила и мои ресурсы уже не были прежними; и, кроме того, я побеждал только в свою собственную защиту: это истина, которая с каждым днем будет проявляться все полнее. Европа никогда не переставала воевать против Франции, ее принципов и меня; и мы были вынуждены разрушать, чтобы спасти себя от уничтожения. Коалиция всегда существовала открыто или тайно, признавалась или отрицалась; она была постоянной; только союзники могли обеспечить нам мир; что касается нас самих, то мы были измотаны; французы боялись новых завоеваний. Что касается меня, то предполагается ли, что я нечувствителен к прелестям покоя и безопасности, когда слава и почести не требуют иного? С нашими двумя палатами они могли бы запретить мне в будущем переходить Рейн; и почему я должен был желать этого? Ради моей всемирной монархии? Но я никогда не приводил никаких убедительных доказательств безумия; и что является его главной характеристикой, как не диспропорция междунашей целью и средствами ее достижения. Если я и был близок к созданию этой универсальной монархии, то это было без какого-либо первоначального замысла, а потому, что меня вели к этому шаг за шагом. Последние попытки достичь этого казались такими пустяковыми, было ли очень неразумно попытаться их предпринять? Но могла ли подобная идея, такая безумная мысль, такая недостижимая цель прийти в голову самому глупому человеку в мире по возвращении с Эльбы? Таким образом, Монархам нечего было опасаться моего оружия.

"Опасались ли они, что я могу подавить их анархическими принципами? Но они по опыту знали мое мнение по этому вопросу. Все они видели, как я оккупировал их территории: как часто меня призывали произвести революцию в их штатах, передать муниципальные функции их городам и разжечь восстание среди их подданных! Как бы меня ни клеймили их именами, как *современного Аттилу*, *Робеспьера на коне* и т.д. В глубине души они все знают лучше — пусть посмотрят туда! Если бы я был таким, я, возможно, все еще царствовал бы; но они, скорее всего, уже давно перестали бы царствовать. В великом деле, главой и арбитром которого я считал себя, следовало следовать одной из двух систем: заставить королей прислушиваться к доводам народа; или вести людей к счастью с помощью их королей. Но хорошо известно, что нелегко обуздать людей, когда на них однажды напали: разумнее было немного положиться на мудрость и сообразительность правителей. Я всегда имел право предполагать, что они обладают достаточным интеллектом, чтобы видеть такие очевидные интересы: я был обманут; они вообще ничего не рассчитывали и в своей слепой ярости обрушили на меня то, что я скрывал, когда выступал против них. Они увидят!!!

И наконец, обиделись ли монархи, увидев, как простой солдат получил корону? Испугались ли они этого примера? Торжественность, обстоятельства, сопровождавшие мое возвышение, мое стремление соответствовать их привычкам, отождествлять себя с их существованием, стать союзником с ними по крови и политике, в достаточной степени закрыли дверь для новых посетителей. Кроме того, если необходимо было иметь место зрелище прерванной легитимности, я утверждаю, что в их интересах было гораздо больше, чтобы это произошло в моем лице, вышедшем из рядов, чем в лице принца, члена их собственной семьи: ибо пройдут тысячи веков, прежде чем обстоятельства, накопившиеся в моем случае, вынудят другого человека из толпы воспроизвести то же самое зрелище; в то время как нет Государя, у которого не было бы на расстоянии нескольких шагов в его дворце кузенов, племянников, братьев и родственников, которым было бы легко последовать такому примеру, если бы однажды набор.

"С другой стороны, что могло встревожить людей? Боялись ли они, что я приду грабить и наложу на них цепи? — Напротив, я пришел Мессией мира и их прав: в этой новой максиме была вся моя сила — нарушить ее означало бы погибель. Но даже французы не доверяли мне; у них хватило безумия дискутировать, когда не оставалось ничего другого, как сражаться; разделяться, когда они должны были объединиться на любых условиях. И не лучше ли было рискнуть, снова сделав меня своим хозяином, чем подвергать себя чужеземному игу? Разве не было бы легче избавиться от одного-единственного деспота, от одного тирана, чем сбросить цепи со всех объединенных наций? И более того, откуда возникло это недоверие ко мне? Потому что они уже видели, как я концентрирую все усилия в себе и направляю их энергичной рукой? Но разве они не понимают в наши дни, какой ценой, насколько это было необходимо? Что ж! опасность в любом случае была той же: борьба ужасной, а кризис неминуемым. При таком положении вещей разве абсолютная власть не была необходимой? Благополучие страны вынудило меня даже открыто заявить об этом по возвращении из Лейпцига. Я должен был сделать это снова по возвращении с Эльбы. Мне не хватало последовательности, или, скорее, доверия к французам, потому что многие из них больше не возлагали на меня никаких надежд, и это причиняло мне большую боль. Если узкие и вульгарные умы видели во всех моих усилиях только заботу о моей собственной власти, то не должны ли более широкие умы показать, что при тех обстоятельствах, в которые мы попали, моя власть истрана были не чем иным, как единым целым! Потребовалось ли такое большое и неизлечимое зло, чтобы они смогли понять меня? История воздаст мне больше справедливости: она отметит меня как человека

самоотречения и бескорыстия. Каким только искушениям я не подвергался в итальянской армии? Англия предложила мне корону Франции во время заключения Амьенского мирного договора.— Я отказался от мира при Шатийоне; я пренебрег всеми личными условиями при Ватерлоо; — и почему? Потому что все это не имело никакого отношения к моей стране, и у меня не было никаких амбиций, отличных от ее амбиций — ее славы, ее господства, ее величия. И вот причина, по которой, несмотря на столько бедствий, я все еще так популярен среди французов. Это своего рода инстинкт справедливости с их стороны.

"Кто в мире когда-либо имел в своем распоряжении больше сокровищ? В моих хранилищах хранилось много сотен миллионов; многие другие сотни составляли мой *доминантный*: все это было моим собственным. Что с ними стало?— Они были излиты в бедствиях страны. Пусть они посмотрят на меня здесь: я живу в нищете на своей скале. Мое состояние было полностью в состоянии Франции. В той экстраординарной ситуации, в которую поставила меня судьба, моими сокровищами были ее сокровища: я полностью отождествил себя с ее судьбой. Какие еще расчеты соответствовали высоте, на которую я поднялся? Видели ли меня когда-нибудь озабоченным своими личными интересами? Я никогда не знал другого удовольствия, другого богатства, кроме как у публики; — настолько, что когда Жозефине, у которой был вкус к искусству, удалось с санкции моего имени приобрести несколько шедевров, хотя они находились в моем дворце, на моих глазах, в моих семейных апартаментах, они оскорбили меня, я подумал, что меня ограбили:*их не было в Музее*.

"Ах! французский народ, несомненно, много сделал для меня! больше, чем когда-либо было сделано для человека! Но, в то же время, кто когда-либо так много делал для них? кто когда-либо отождествлял себя с ними таким же образом? Но вернемся. — В конце концов, чего они могли опасаться? Разве Палаты и новая Конституция не были достаточными гарантиями на будущее? Те дополнительные действия, против которых было выражено столько негодования, разве они не несли в себе своих собственных исправительных мер, которые были безошибочны? Как я мог их нарушить? У меня самого не было миллионов рук; я был всего лишь одним человеком. Общественное мнение еще раз возвысило меня; общественное мнение с таким же успехом могло снова низвергнуть меня; и что я мог выиграть по сравнению с этим риском?"

"Но что касается окружающих Государств (я говорю особенно об Англии), каковы могли быть ее страхи, ее мотивы, ее ревность? Мы спрашиваем напрасно. С нашей новой Конституцией, с нашими двумя палатами разве мы не приняли ее кредо на будущее? Разве это не было верным средством достижения взаимопонимания, установления в будущем сообщества интересов? Каприз, страсти их правителей, однажды скованные, интересы народа беспрепятственно движутся своим естественным путем: посмотрите на торговцев враждебных наций; они продолжают свои сношения и продолжают свой бизнес, как бы их правительства ни вели войну. Две нации подошли к этому моменту. Благодаря соответствующим парламентам каждый из них стал бы гарантией для другого: и кто может когда-либо сказать, до какой степени союз двух наций и их интересов мог бы быть осуществлен; какие новые комбинации могли бы быть приведены в действие? Несомненно, что при создании наших двух Палат и нашей Конституции министры Англии держали в своих руках славу и процветание своей страны, [country](#)., судьбы и благосостояние мира. Если бы я разбил английскую армию и выиграл свое последнее сражение, я вызвал бы великое и счастливое изумление; на следующий день я предложил бы

мир, и на этот раз именно я расточал бы блага расточительной рукой. Вместо этого, возможно, англичанам однажды придется сокрушаться о том, что они одержали победу при Ватерлоо.

"Я повторяю, народ и монархи были неправы: я восстановил троны и безобидную знать; и троны и знать снова могут оказаться в опасности. Я установил и освятил разумные пределы прав людей; расплывчатые, императивные и неопределенные требования могут возникнуть снова.

"Было мое возвращение, Мое ~~создание~~создание на трон, мое утверждение, свободно признана государей, дела царей и народ бы был решен, оба выиграли бы. Теперь им предстоит снова попробовать это; оба могут проиграть. Они могли бы все завершить; у них могло бы быть все, чтобы начать сначала; они могли бы обеспечить себе долгое и надежное затишье и уже начали бы наслаждаться им; а вместо этого теперь может оказаться достаточно искры, чтобы вновь разжечь всеобщий пожар! Бедное, слабое человечество!"

Как бы я ни был привязан к словам и мнениям, которые я узнал от Наполеона на скале его изгнания, и как бы ни был я совершенно убежден в их полной искренности, я тем не менее испытываю крайнее удовлетворение всякий раз, когда свидетельство из других источников подтверждает их истинность; и я обязан сказать, что испытываю это удовлетворение всякий раз, как появляется возможность получить другие доказательства.

Читатель только что ознакомился с приведенным выше замечательным отрывком, в котором Наполеон выражает свои идеи, свои намерения, свои чувства. Какую ценность приобретают эти выражения, собранные на острове Святой Елены, когда мы обнаруживаем, что они повторяются в Европе, на расстоянии 2000 лье, знаменитым писателем, который, несколько отличаясь в своих взглядах и в совсем другое время, сам услышал их из тех же уст! Какое счастливое обстоятельство для истории! Я не могу, действительно, воздержаться от приведения здесь этого отрывка из М. Бенджамина Констан, как из-за внутренней ценности выражений, так и из-за веса, который они приобретают у выдающегося автора, который их записывает; а также из-за удовольствия, которое я испытываю, видя, что они так точно совпадают с тем, что я собрал сам в другом полушарии. У нас те же намерения, та же глубина мысли, те же чувства.

"Я отправился в Тюильри, - говорит г-н Бенжамен Констан в своем отчете, - и застал Бонапарта одного. Он начал разговор: он был долгим; я приведу лишь его анализ, поскольку не собираюсь выставлять напоказ несчастного человека. Я не стану развлекать своих читателей за счет павшего величия; я не уступлю злорадному любопытству того, кому я служил, каковы бы ни были мои мотивы; и я не буду переводить больше из его речи, чем необходимо; но в том, что я буду переводить, я буду использовать его собственные слова.

"Он не пытался обмануть меня ни относительно своих взглядов, ни относительно положения дел. Он не представлял себя человеком, исправленным уроками невзгод: он не желал присваивать себе заслугу возвращения к свободе от склонностей; он хладнокровно исследовал, исходя из своих интересов, и с беспристрастностью, слишком близкой к безразличию, что возможно, а что предпочтительнее.

"Нация, ' сказал он, ' двенадцать лет отдыхала от всех политических волнений, и в течение года ее не тревожила война: этот двойной покой породил необходимость движения. Оно желает или воображает, что желает публичной трибуны и собраний; оно не всегда желало их. Оно бросилось к моим ногам, когда я пришел к правительству; вы должны помнить, вы, кто подвергал испытанию его мнение. Где была ваша поддержка, ваша власть? Ниоткуда. Я взял на

себя меньше полномочий, чем мне предлагали. Теперь все изменилось. Слабое правительство, идущее вразрез с интересами нации, выработало в этих интересах привычку занимать оборонительную позицию и придирается к властям. Вкус к конституциям, дебатам, разглагольствованиям, похоже, возвращается.... Однако этого желает лишь меньшинство, не обманывайте себя. Люди, или, если вам так больше нравится, толпа, желают меня одного; вы не видели их, эту толпу, толпящуюся за мной, несущуюся с вершин гор, зовущую меня, ищущую меня, приветствующую меня.<sup>[1]</sup> По возвращении сюда из Канн я не побеждал — я управлял.... Я не только, как уже было сказано, император солдат; я император крестьян, низших чинов Франции.... Таким образом, несмотря на все, что было в прошлом, вы видите, что люди возвращаются ко мне - между нами есть симпатия. С привилегированными классами дело обстоит иначе; знать служила мне, толпами врывалась в мои приемные, нет таких должностей, которые они не принимали бы, не выпрашивали, не настаивали. У меня были мои *Монморанси*, мои *Ноайи*, мои *роганы*, мои *Бово*, мои *Смертные Приговоры*. Но между нами не было аналогии. Конь изогнулся, он был хорошо обучен, но я чувствовал, как он дрожит подо мной. С народом дело обстоит иначе; народные настроения откликаются на мои: я вышел из рядов народа, мой голос оказывает на них влияние. Посмотрите на этих призывников, на этих сыновей крестьян, я не льстил им, я обращался с ними сурово; они не перестали окружать меня, они не перестали кричать "*Император навеки!*" Это потому, что между ними и мной существует природная идентичность; они смотрят на меня как на свою поддержку, как на защитника от знати.... Мне стоит только подать знак, или, вернее, отвести глаза, и дворяне будут вырезаны во всех департаментах. Они вели такие изысканные интриги в течение этих шести месяцев!... Но я не буду королем *Жакерии*. Если существуют какие-либо средства управления с помощью Конституции, что ж, прекрасно..... Я желал всемирной империи; и, чтобы обеспечить это, мне была необходима неограниченная власть. Чтобы управлять только Францией, Конституция могла бы быть лучше.... Я мечтал о мировой империи, и кто в моем положении не пожелал бы этого? Мир приглашал меня править им: монархи и подданные соперничали друг с другом, стремясь оказаться под моим скипетром. Я редко встречал какое-либо противодействие во Франции; но я, однако, чаще встречался с некоторыми безвестными безоружными французами, чем со всеми этими королями, столь тщеславными в настоящее время тем, что у них больше нет равного популярного человека.... Тогда подумайте, что вам кажется возможным. Поделитесь со мной своими идеями. Свободные выборы, общественные дискуссии, ответственные министры, свобода - все это мое желание.... Свобода прессы, в частности: душить ее абсурдно — я удовлетворен этим пунктом.... Я человек из народа, если народ искренне желает свободы: я в долгу перед ним. Я признал их суверенитет; я обязан прислушиваться к их желаниям, даже к их капризам. Я никогда не желал угнетать их ради собственного удовольствия. У меня были великие замыслы, судьба решила их; я больше не завоеватель, я больше не могу им стать. Я знаю, что возможно, а что нет; сейчас у меня есть только одна обязанность — освободить Францию и дать ей правительство, которое ей подходит.... Я не враждебен свободе: я отбросил ее в сторону, когда она преградила мне дорогу; но я понимаю ее, я был воспитан на ее принципах.... В то же время пятнадцатилетний труд разрушен; он не может начаться снова. Для этого потребовалось бы двадцать лет и пожертвовать двумя миллионами людей.... Кроме того, я желаю мира, и я добьюсь его только победами. Я не буду питать к вам ложных надежд; я распространяю сообщения о том, что переговоры идут полным ходом; но их нет. Я предвижу трудное противостояние, долгую войну. Чтобы сохранить его, нация должна поддержать меня; но взамен ей потребуется свобода, и она ее получит.... Ситуация новая. Я не желаю ничего лучшего, как получать информацию; я старею; в сорок пять лет человек уже нетот, кем он был в

тридцать. Покой конституционного монарха, возможно, вполне подходит мне. Несомненно, он еще больше подойдет моему сыну”.

13—е. Император отправил указание великому маршалу написать адмиралу и узнать, будет ли ему отправлено письмо, которое он, Наполеон, должен написать принцу-регенту. Около четырех часов заместитель губернатора Скелтон и его супруга пожелали засвидетельствовать свое почтение императору. Он принял их, повел на прогулку в сад, а затем прокатился с ним в своей карете. Весь день стояла очень туманная погода. Когда оно на короткое время прояснилось, мы внезапно увидели совсем рядом корвет или фрегат, идущий на всех парусах.

## ОСКОРБЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРА И ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО.—КАЗНЬ НЕЯ.—ПОБЕГ ЛАВАЛЕТТА.

14-15—го. Мы получили ответ адмирала. Начав, согласно установленной им форме, со слов, что он не знает никого с титулом ‘Император’ на острове Святой Елены, он заявил, что, несомненно, отправит письмо императора принцу-регенту, но что ему следует придерживаться сути своих инструкций, которые предписывали ему не допускать отправки в Англию никаких бумаг, не распечатав их предварительно.

Следует признать, что это сообщение вызвало у нас большое удивление: часть инструкций, процитированная адмиралом, преследовала две цели, обе из которых не соответствовали толкованию, данному им этим офицером.

Первое, в случае подачи нами каких-либо жалоб, заключалось в том, что местные власти могли бы дополнить их замечаниями и что правительство Англии могло бы быстрее воздать нам должное, не будучи обязанным снова посылать на остров за дополнительной информацией. Таким образом, эта предосторожность была исключительно в наших интересах. Второй целью этой меры было то, чтобы наша переписка не наносила ущерба интересам правительства или политике Англии. Но мы писали Государю, вождю, человеку, на котором сосредоточены эти интересы и это правительство: и если здесь и был какой-то заговор, то не со стороны нас, которые писали ему, а скорее со стороны того, кто перехватил наше письмо или решил нарушить его конфиденциальность. То, что они разместили вокруг нас тюремщиков со всем их снаряжением, хотя мы и не считали это справедливым, все же казалось возможным. Но то, что эти тюремщики заставляли свои функции реагировать даже на своего Суверена, было вещью, для которой мы не могли найти названия! Это должно было полностью закрепить за ним представление о короле без способностей или о султани, похороненном в тайниках своего Сераля! Это было действительно чудовищное явление в наших европейских нравах!

Долгое время мы практически не общались с адмиралом. Один подумал, что, возможно, его ответ был продиктован дурным настроением; другой предположил, что он опасался, что в письме могут содержаться какие-то жалобы на него. Но адмирал слишком хорошо знал императора, чтобы не понимать, что тот никогда не обратится ни к какому другому суду, кроме суда наций. Я, знавший, о чем могло быть написано это письмо, почувствовал самое живое негодование по этому поводу! Единственным намерением императора было воспользоваться этим способом, единственным, который казался совместимым с его достоинством, - написать своей жене и получить известия о своем сыне. Однако великий маршал ответил адмиралу, что

тот либо переступил порог, либо неверно истолковал его инструкции; что его решимость можно рассматривать только как еще один пример вопиющего раздражения; что навязанное условие слишком унижает достоинство императора, а также принца-регента, чтобы он мог сохранять какое-либо намерение писать.

Только что прибывшим фрегатом был "Спей", доставивший европейские газеты за 31 декабря: в них сообщалось о казни несчастного маршала Ней и побеге Лавалетта.

“Ней, - сказал император, - подвергшийся столь же жестоким нападкам, сколь и защите, был осужден Палатой пэров после официальной капитуляции. Его казни было позволено состояться; это была еще одна ошибка — с этого момента он стал мучеником. Можно было бы предположить, что Лабедойер не был помилован, поскольку проявленное к нему милосердие могло бы показаться лишь пристрастием старой аристократии; но помилование Ней было бы лишь доказательством силы правительства и умеренности принца. Возможно, скажут, что пример был необходим! Но маршал стал бы таким, гораздо более вероятно, благодаря помилованию, после того как был унижен приговором: фактически для него это была моральная смерть, лишившая его всякого влияния; и тем не менее объект власти был бы достигнут, Суверен удовлетворен, пример завершен. Отказ в помиловании Лавалетту и его побег были новыми причинами, столь же непопулярными”, - сказал император.

“Но парижские салуны, - заметил он, - демонстрировали те же страсти, что и клубы; дворянство было новой версией якобинцев. Более того, Европа находилась в состоянии полной анархии; открыто соблюдался кодекс политической безнравственности; все, что попадало в руки государей, обращалось к выгоде каждого из них. По крайней мере, в свое время я был объектом всех обвинений подобного рода. Тогда монархи не говорили ни о чем, кроме принципов и добродетели; но теперь, ” добавил он, “ когда они одержали победу и лишились контроля, они беззастенчиво практикуют все те пороки, которые сами же тогда осуждали. Какой ресурс и какая надежда оставались тогда у наций и морали? По крайней мере, наши соотечественницы, - заметил он, - проявили благородство в своих чувствах: мадам Лабедуайер была при смерти от горя, и эти бумаги показывают нам, что мадам Ней проявила самую мужественную и решительную преданность. Мадам Лавалетт стала героиней Европы”.

## ПОСЛАНИЕ ПРИНЦУ-РЕГЕНТУ.

16—го.- Император оставил Британскую энциклопедию, чтобы брать уроки английского языка в Ежегодном реестре. Он прочел там о приключении некоего мистера Спенсера Смита, арестованного в Венеции, которого приказали отправить в Валансьен и который сбежал по дороге. “Это, должно быть, очень простое дело, - сказал император, “ которое рассказчик превратил в важное утверждение”. Это обстоятельство было ему совершенно неизвестно; по его словам, это было полицейское дело слишком незначительного значения, чтобы оно дошло до него.

Около четырех часов капитан "Спея", только что прибывшего из Европы, и капитан "Цейлона", собиравшегося отплыть в Англию, были представлены императору. Он был в подавленном настроении — ему было нездоровится: первая аудиенция была очень короткой; аудиенция вторая была бы такой же, если бы он не разбудил императора, спросив, нет ли у нас каких-нибудь писем для отправки в Европу. Затем император пожелал, чтобы я спросил его, должен ли он встретиться с принцем-регентом; после его утвердительного ответа мне было поручено

сообщить ему, что император желал написать принцу-регенту, но что вследствие замечания адмирала о том, что он вскроет письмо, он воздержался от этого, как несовместимого с его достоинством и с достоинством самого принца-регента; что он, действительно, слышал, как много хвастались законами Англии, но что он нигде не мог обнаружить их преимуществ; что ему оставалось только ожидать, что он действительно увидит их. желание, палач; что пытки, которые они заставили его вынести, были бесчеловечными, изуверскими; что было бы более открыто и энергично предать его смерти. Император попросил меня передать капитану эти слова и отпустил его: он сильно покраснел и был очень смущен.

## ДУХ ЖИТЕЛЕЙ ОСТРОВА ФРАНЦИЯ.

17—го. Английский полковник, прибывший с Кейптауна по возвращении с острова Франция, пришел утром и обратился ко мне, чтобы попытаться представить императору. Адмирал разрешил своему судну оставаться в рейде всего два или три часа. Убедив императора принять его в четыре часа, он заверил меня, что скорее пропустит свое судно, чем упустит такую возможность. Императору было не очень хорошо, он провел несколько часов в ванне; в четыре часа он принял полковника.

Император задавал ему много вопросов относительно острова Франция, недавно переданного англичанам; похоже, что его процветание и торговля пострадали от смены суверенитета.

После отъезда полковника, оставшись наедине с императором в саду, я сказал ему, что его личность, по-видимому, осталась очень дорога жителям острова Франция; что полковник сообщил мне, что имя Наполеона произносится там только с сочувствием. Как раз в день большого праздника в колонии узнали о его отъезде из Франции и прибытии в Плимут; театр должен был быть особенно привлекательным: новость пришла днем, вечером в доме не было ни одного колониста, ни белого, ни цветного: было только несколько англичан, которые были чрезвычайно смущены и раздражены этим обстоятельством. Император выслушал меня. “Это совершенно ясно, - сказал он после нескольких минут молчания, - это доказывает, что жители острова Франция продолжали говорить по-французски. Я - страна; они любят ее; она была уязвлена в моем лице, они опечалены этим”. Я добавил, что смена власти сдерживала их выражения, они не осмеливались публично произносить его здравие; но полковник сказал, что, несмотря на это, они никогда не пренебрегали этим; они выпили *занего*, это слово было посвящено Наполеону. Эти подробности тронули его. “Бедные французы!” — сказал он с ударением. “Бедные люди! Бедная нация! Я заслужил все это, я любил тебя! Но ты, ты, конечно, не заслужил всех тех бед, которые навалились на тебя! Ах! ты заслужил то, что кто-то посвятил себя тебе! Но какой позор, какая низость, какая деградация, надо признаться, были во мне!” И, обращаясь ко мне, он добавил: “Я не говорю здесь о ваших друзьях из Сен-Жерменского Предместья, потому что по отношению к ним это совсем другое дело”.

До нас часто доходили случаи и выражения, которые, подобно событиям с острова Франция, были рассчитаны на то, чтобы возбудить волнение в сердце. Остров Вознесения, расположенный по соседству с нами, всегда был пустынным и заброшенным; с тех пор как мы здесь поселились, англичане сочли нужным основать там заведение. Капитан, отправившийся за ним, рассказал нам по возвращении, что, высадившись на берег, он был очень удивлен, обнаружив: *"Да живет великий Наполеон вечно!"*

В последних дошедших до нас газетах среди множества добродушных острот на нескольких языках отмечалось, что *Парис* никогда не будет счастлив, пока ему не вернут его *Елену*: это были несколько капель меда в нашей чаше с полынью.

## ЕГО НАМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РИМА.—УЖАСНАЯ ЕДА.—БРИТАНИК.

18-19. Император был верхом к восьми часам. Он долгое время воздерживался от этого: причиной была нехватка места для верховой езды. Вследствие этого его здоровье заметно страдает, и удивительно, что отсутствие физических упражнений не стало еще более пагубным для него, у которого была ежедневная привычка доводить их до крайней степени. Когда мы возвращались, император завтракал на свежем воздухе; он задержал нас всех. После завтрака разговор зашел о Геркулануме и Помпеях; явлении и эпохе их разрушения, времени и случайности их современного открытия, памятниках и диковинках, которыми они с тех пор нас порадовали. Император сказал, что если бы Рим остался под его властью, он бы снова восстал из своих руин: он намеревался убрать весь мусор и восстановить как можно больше. Он не сомневался, что, поскольку тот же дух распространился по всем окрестностям, то, возможно, в какой-то степени то же самое было с Геркуланумом и Помпеями.

Закончив завтрак, император послал моего сына принести том Кретье, в котором рассказывается об этом событии; и он прочел нам его, а также о смерти и характере Плиния. Около полудня он удалился, чтобы немного отдохнуть. Около шести часов мы совершили наш обычный обход в экипаже. Император взял с собой мистера и миссис Скелтон, которые приехали навестить его.

По нашем возвращении император, которого сырость выгнала из сада, отправился навестить генерала Гурго, который быстро поправлялся. После обеда, встав из-за стола и вернувшись в гостиную, мы невольно вернулись к только что приготовленному блюду; буквально ничего не годилось для еды: хлеб был плохой, вино непригодное для питья, мясо отвратительное и нездоровое: нам часто приходилось отсылать его обратно. Они продолжают, несмотря на наши протесты, присылать нам его мертвым, потому что таким способом они могут избавить нас от таких животных, которые умерли естественной смертью.

Император, потрясенный этим представлением, не смог удержаться от теплого замечания: “Без сомнения, есть люди, чье физическое положение еще хуже; но это обстоятельство не лишает нас права высказать мнение о нашем собственном состоянии или о позорной манере обращения с нами. Несправедливость английского правительства, не удовлетворившегося отправкой нас сюда, распространилась и на отбор лиц, которым доверены наши личные дела и удовлетворение наших потребностей! Со своей стороны, я страдал бы меньше, если бы был уверен, что однажды это будет разглашено всему миру таким образом, чтобы заклеить позором тех, кто в этом виновен. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом,” сказал он— “Какой сегодня день месяца? Ему сказали, что это было 19 марта: “Что?” воскликнул он. “Канун 20 марта!” И через несколько секунд: “Но давайте поговорим о чем-нибудь другом”. Он послал за томиком Расина и сначала начал читать “Комедию о пледерах”, но после одной-двух сцен обратился к “Британику”, которую и прочел нам. Когда чтение закончилось и была отдана должная дань восхищения, он сказал, что Расина порицают за то, что он сделал *развязку* этого произведения слишком внезапной, что отравление Британика не ожидалось так рано в пьесе, как следовало бы. Он высоко оценил правдивость характера Нарцисса, заметив, что именно ущемление самолюбия принцев всегда оказывало наибольшее влияние на их решения.

## 20 МАРТА.—ОБЛАЧЕНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ.

20—го. - После обеда один из нас заметил императору, что в тот день, двенадцать месяцев назад, в тот же час он был менее одинок, менее спокоен. “Я сидел за столом в Тюильри”, - сказал император. “Мне было трудно добраться туда: опасности, которым я подвергся в этой попытке, были, по крайней мере, равны опасностям битвы”. Фактически, по прибытии он был схвачен тысячами офицеров и горожан; одна партия выхватила его у другой; его доставили во дворец, причем среди суматохи, подобной суматохе толпы, готовой разорвать человека на куски, вместо упорядоченного и почтительного присутствия толпы, стремящейся продемонстрировать свое почтение к отдельному человеку. Но в данном случае нам следует обратить внимание на чувства и намерения: это были энтузиазм и любовь, доведенные до такой степени, что напоминали ярость или безумие.

Император добавил, что, по всей вероятности, в тот вечер о нем будет говорить не один человек в Европе; и что, несмотря на все наблюдения, из-за него будет опустошено не одна бутылка.

Затем разговор зашел о короле Рима; в тот день была годовщина его рождения; император прикинул, что ему должно быть пять лет. Затем он заговорил об окружении императрицы и, казалось, получал некоторое удовольствие, хвастаясь тем, что в тот раз проявил себя таким же хорошим мужем, как и любой другой в мире. Он помогал императрице рассказывать всю ночь. Мы, придворные, кое-что знали об этом; нас всех созвали во дворец в десять часов вечера; мы провели там ночь, и иногда до наших ушей доносились крики императрицы. Ближе к утру акушер сказал императору, что боли прекратились и что роды еще могут быть утомительными, император пошел в баню и отослал нас, пожелав, однако, чтобы мы не уходили из дома. Император недолго пробыл в ванне, когда боли возобновились; и акушер прибежал к нему, почти обезумев, говоря, что он самый несчастный из людей; что из тысячи родов в Париже нет ни одного более трудного. Император, одевшись так быстро, как только мог, подбодрил его, сказав, что человек, понимающий свое дело, никогда не должен терять присутствия духа; что в данном случае ему не о чем беспокоиться; что ему стоит только вообразить, что он принимает роды у жены гражданина с улицы Сен-Дени; что у природы есть только один закон; что он уверен, что поступит наилучшим образом; и, прежде всего, что ему не нужно бояться никаких упреков. Затем императору было доложено, что матери или ребенку угрожает большая опасность. “Если мать жива, - сказал он без колебаний, - у меня будет еще один ребенок. Действовать в этом случае, как если бы вы присутствовали при рождении сапожника сапожника сын”.

Когда он добрался до императрицы, она действительно была в опасности; ребенок находился в неблагоприятной позе, и были все основания опасаться, что его задушат.<sup>[2]</sup>

Император спросил Дюбуа, почему он не освободил ее. Он извинился, сказав, что не желает этого делать, кроме как в присутствии Корвизара, который еще не прибыл. “Но что он может вам сказать?” - спросил император. “Если вы хотите заручиться свидетелем или оправданием, то вот я”. Затем Дюбуа, сняв пальто, приступил к операции. Когда императрица увидела инструменты, она жалобно вскрикнула, заявив, что они собираются убить ее. Ее крепко держали император, мадам де Монтескью, Корвизар, который только что вошел, и т.д. Мадам де Монтескью ловко воспользовалась случаем, чтобы подбодрить ее, заявив, что она сама не раз оказывалась в подобной ситуации.

Императрица, однако, все еще убеждала себя, что к ней относятся иначе, чем к другим женщинам, и часто повторяла: “Неужели мной должны пожертвовать, потому что я императрица?” Впоследствии она заявила императору, что действительно испытывала этот страх. Наконец она была освобождена. Опасность была настолько неминуемой, сказал император, что весь этикет, который был изучен и предписан, был проигнорирован, и ребенка положили на бок, на пол, в то время как все были заняты только матерью. Младенец оставался в таком положении несколько мгновений, и все подумали, что он мертв: именно Корвизар взял его на руки, растер и заставил закричать.<sup>[3]</sup>

## ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ.—ГРАКХИ.—ИСТОРИКИ.—СОН ВО ВРЕМЯ БИТВЫ.—ЦЕЗАРЬ И ЕГО КОММЕНТАРИИ К РАЗЛИЧНЫМ ВОЕННЫМ СИСТЕМАМ.

21-22—го. Император выехал очень рано: мы объехали наши пределы в нескольких направлениях. Именно во время этих поездок император теперь берет уроки английского языка. Я иду рядом с ним; он произносит несколько предложений по-английски, которые я перевожу слово в слово по мере того, как он их произносит; с помощью этого метода он понимает, когда его понимают, или получает возможность исправить свои ошибки. Когда он заканчивает предложение, я повторяю его ему по-английски, чтобы он сам мог его хорошо понять: это помогает сформировать его слух.

Император читал сегодня в "Римской истории" о заговоре Катилины; он не мог понять его так, как он описан. “Каким бы великим негодяем ни был Катилина, - заметил он, - он должен был иметь в виду какую-то цель: это не могло быть правление в Риме, поскольку его обвиняют в намерении поджечь четыре квартала города”. Император считал гораздо более вероятным, что это была какая-то новая фракция, подобная фракции Мария и Суллы, которая потерпела неудачу, и все обвинения, рассчитанные на то, чтобы вызвать ужас патриотов, были, как обычно в таких случаях, возложены на голову ее лидера. Тогда императору было замечено, что то же самое безошибочно произошло бы с ним самим, если бы он был побежден в Вандемьере, Фруктидоре или Брюмере, прежде чем он озарил таким лучезарным блеском горизонт, очищенный от облаков.

Гракхи породили в его сознании сомнения и подозрительности совсем иного рода, которые, по его словам, стали почти несомненными для тех, кто был вовлечен в политику нашего времени. “История, ” сказал он, - представляет этих Гракхов в совокупности как мятежников, революционеров, преступников; и, тем не менее, позволяет показать в деталях, что у них были добродетели; что они были мягкими, бескорыстными, нравственными людьми; и, кроме того, они были сыновьями прославленной Корнелии, что для великих умов должно было быть веским первичным доказательством в их пользу. Как же тогда можно объяснить такой контраст? Это так: гракхи великодушно посвятили себя защите прав угнетенного народа против тиранического сената; и их великие таланты и благородный характер подвергли опасности свирепую аристократию, которая торжествовала, убивала и клеветала на них. Историки одной партии передавали своих персонажей в том же духе. При императорах необходимо было продолжать в том же духе; простое упоминание о правах народа при деспотичном хозяине было богохульством, прямым преступлением. Впоследствии то же самое произошло при феодальной системе, которая была столь плодотворна при мелких деспотах. Такова, без сомнения, судьба, сопровождавшая память о Гракхах. В последующие века их добродетели никогда не переставали считаться преступлениями; но в наши дни, когда, обладая лучшей информацией,

мы сочли целесообразным рассуждать здраво, Гракхи могут и должны снискать расположение в наших глазах.

“В той ужасной борьбе между аристократией и демократией, которая возобновилась в наше время, в том ожесточении древней земельной собственности против современной промышленности, которое все еще бушует по всей Европе, нет сомнения, что если аристократия восторжествует силой, она укажет многим Гракхам на все направления и обойдется с ними так же милосердно, как ее предшественники обошлись с римскими Гракхами”.

Император добавил, что, кроме того, легко заметить, что в этот период истории у древних авторов был пробел; что все, что современные авторы представили нам по этому вопросу, было простым подбором. Затем он вернулся к обвинениям, уже выдвинутым против честного Роллена и его ученика Кревье: они оба были лишены таланта, системы или колорита. Следовало признать, что древние намного превосходили нас в этом вопросе; и это потому, что среди них государственными деятелями были литераторы, а государственными деятелями литераторы; они сочетали профессии, в то время как мы разделяем их абсолютным образом. Это знаменитое разделение труда, которое в наше время приводит к такому совершенству в механических искусствах, совершенно пагубно сказывается на совершенстве в умственных произведениях: каждое гениальное произведение превосходит универсальность ума, от которого оно исходит. Императору мы обязаны попыткой установить этот принцип, часто привлекая к различным объектам людей, совершенно не связанных друг с другом; это была его система. Однажды он по собственному желанию назначил одного из своих камергеров отправиться в Иллирию для погашения австрийского долга: это был важный и чрезвычайно сложный вопрос. Камергер, который прежде был совершенно незнаком с государственными делами, был встревожен; а министр, которого лишили этого назначения, будучи им недоволен, осмелился заявить императору, что, поскольку его назначение выпало на долю человека, совершенно незнакомого с подобными делами, можно опасаться, что он не справится должным образом. “У меня удачливая рука, сэр, - был его ответ. - Те, на кого я ее возлагаю, годятся на все”.

Император, продолжая свою критику, также сурово порицал то, что он называл историческими глупостями, до смешного превозносимыми переводчиками и комментаторами. “Такие вещи доказывают, во-первых, - сказал он, - что историки составили ошибочные суждения о людях и обстоятельствах. ”Они неправы, например, - сказал Наполеон, - когда так высоко аплодируют *сдержанности Сципиона* и приходят в экстаз от спокойствия Александра, Цезаря и других, которые смогли выспаться накануне битвы. Это мог быть только монах, лишенный доступа к женщинам, чье лицо светлеет при одном упоминании этого имени, кто ржет за решеткой при их приближении, кто мог бы отдать должное Сципиону за то, что он воздержался от насилия над женщиной, которую случай отдал в его власть, в то время как в его распоряжении было так много других. С таким же успехом голодный человек мог бы похвалить героя за то, что он спокойно прошел мимо стола, уставленного съестными припасами, не набросившись на них с жадностью. ” Что касается сна непосредственно перед битвой, то, по его заверению, не было ни одного из наших солдат или генералов, которые не совершили бы это чудо двадцать раз; их героизм был вызван главным образом усталостью предыдущего дня.

Здесь Великий маршал добавил, что он может с уверенностью сказать, что видел Наполеона спящим не только накануне сражения, но даже во время него. “Я был вынужден так поступить, ”

сказал Наполеон, - когда участвовал в сражениях, длившихся три дня; Природа также воздала ей должное: я пользовался малейшими перерывами и спал, где и когда мог". Он спал на полях сражений при Ваграме и Бауцене, даже во время боя, и полностью в пределах досягаемости вражеских пуль. Поэтому вопросу он сказал, что, независимо от необходимости подчиняться природе, эти сны давали генералу, командующему очень большой армией, важное преимущество, позволяя ему спокойно ожидать донесений и соединений всех своих дивизий, вместо того, чтобы, возможно, торопиться уйти из-за единственного события, свидетелем которого он сам мог быть.

Далее император сказал, что он обнаружил у Роллина и даже у Цезаря обстоятельства галльской войны, которые он не мог понять. Он никоим образом не мог понять вторжение гельветов; дорогу, по которой они шли; приписываемую им цель; время, которое они потратили на переправу через Сону; усердие Цезаря, который нашел время отправиться в Италию, вплоть до Аквилеи, в поисках подкреплений, и который настиг захватчиков прежде, чем они перешли Сону, и т.д.; что в равной степени было трудно понять, что подразумевалось под созданием зимних квартир, простиравшихся от Трира до Вана. И когда мы выразили наше удивление по поводу огромных работ, которые генералы поручили своим солдатам, - рвов, стен, огромных башен, галерей и т.д., император заметил, что в те времена все усилия были направлены на строительство на месте, тогда как в наши они были заняты перевозкой. Он также думал, что древние воины трудились, на самом деле, больше, чем наши. У него были мысли продиктовать что-нибудь на эту тему. "Древняя история, однако," сказал он, "охватывает длительный период, и система ведения войны часто менялась. В наши дни это было уже не то, что во времена Тюрэнна и Вобана: полевые работы становились бесполезными; даже система наших крепостей стала проблематичной или неэффективной; огромное количество бомб и гаубиц изменило все. Защита требовалась уже не от горизонтальной атаки, а также от изгиба и отраженных линий. Ни одна из древних крепостей отныне не была в безопасности; они перестали быть надежными; ни одна страна не была достаточно богата, чтобы содержать их. Доходов Франции было бы недостаточно для ее укреплений во Фландрии, поскольку внешние укрепления теперь составляли не более четвертой или пятой части необходимых расходов. Окопы, склады, укрытия, защищенные от воздействия бомб, теперь были просто необходимы, а это было слишком дорого". Император особенно жаловался на слабость современного масонства: инженерный отдел в этом отношении радикально несовершенен; это стоило ему огромных сумм, полностью выброшенных на ветер.

Пораженный этими новыми истинами, император изобрел систему, полностью противоречащую установленным до сих пор аксиомам; она заключалась в том, чтобы иметь металл необычайного калибра для продвижения за главную линию навстречу врагу; и, напротив, иметь саму эту главную линию, защищенную большим количеством небольшой подвижной артиллерии: следовательно, враг был бы остановлен в своем внезапном наступлении; у него были бы только слабые части для атаки сильных; им командовал бы этот превосходящий калибр, вокруг которого ресурсы крепости, небольшие части, формировались бы группами или даже продвигались бы к цели. держались на расстоянии, как застрельщики, и могли следить за всеми передвижениями противника благодаря своей легкости и подвижности. Тогда противник нуждался бы в таранных орудиях; он был бы вынужден рыть траншеи: время было бы выиграно, и истинная цель укрепления была бы достигнута. Император с большим успехом применил этот метод, к великому изумлению инженеров, при обороне Вены и Дрездена; он намеревался применить его при обороне Парижа, город, который, как он думал,

нельзя было защитить никакими другими средствами; но в успехе этого метода он не сомневался.

## ДНИ В ЛОНГВУДЕ.—СУД НАД ДРУО.—ВОЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ.—СУЛЬТ.—МАССЕНА.—ТОВАРИЩИ ИМПЕРАТОРА По АРТИЛЛЕРИИ — ЕГО ИМЯ, ПО ЕГО МНЕНИЮ, НЕИЗВЕСТНО НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ ДАЖЕ В ПАРИЖЕ.

23-26. Погода была очень неблагоприятной в течение большей части этого утра из-за проливных дождей, которые едва позволяли нам выходить на улицу. Император прочитал произведение некоей мисс Уильямс по возвращении с острова Эльба; оно только что дошло до нас из Англии. Это вызвало у него сильное отвращение, и на то были веские причины: эта постановка довольно клеветническая и ложная; это отголосок и собрание всех слухов, придуманных в то время в определенных недоброжелательных парижских обществах.

Что касается наших вечеров, то погода была нам почти безразлична; шел ли дождь или ярко светила луна, мы буквально делали себя пленниками. Около девяти часов мы были окружены часовыми; встретиться с ними было бы мучительно. Это правда, что и император, и мы могли бы выйти в более поздний час в сопровождении офицера; но это было бы для нас скорее наказанием, чем удовольствием, хотя офицер никогда не мог постичь этого чувства. Сначала он дал нам основание заключить, что, по его мнению, это уединение было всего лишь следствием дурного настроения и что оно не продлится долго. Я не знаю, что он мог впоследствии подумать о нашем упорстве.

Император, как, кажется, я уже упоминал, довольно регулярно садился за стол в восемь часов; он никогда не оставался там дольше получаса; иногда едва ли четверть часа. Когда он возвращался в гостиную, если ему случалось быть нездоровым или неразговорчивым, нам с величайшим трудом удавалось продержаться до половины десятого или десяти часов; более того, мы не могли добиться этого без помощи чтения. Но когда он был весел и вступал в беседу со спиритом, мы вскоре с удивлением обнаруживали, что уже одиннадцать часов, а то и позже: это были наши приятные вечера. Затем он удалялся со своего рода удовлетворением оттого, что, как он выражался, победил время. И именно в те дни, когда это замечание было наименее убедительным, он обычно замечал, что для того, чтобы выносить такую жизнь, должно потребоваться предельное мужество.

В один из таких вечеров разговор зашел о военных испытаниях, которые сейчас проходят во Франции. Император считал, что генерала Друо нельзя осуждать за то, что он прибыл в свите одного признанного монарха воевать против другого. По этому поводу было отмечено, что то, что сейчас упоминается в качестве его оправдания, будет представлять для него наибольшую опасность в суде законности.

Император фактически признал, что с доктринами, выдвинутыми в наши дни, нечего сказать, но, с другой стороны, осуждая генерала Друо, они осудили бы эмиграцию и узаконили бы осуждение эмигрантов. Кто бы ни был уличен в вооружении против Франции, республиканские доктрины карали смертью; с королевской доктриной было иначе. Если бы они в данном случае приняли республиканскую доктрину, эмигрантская и королевская партия осудили бы себя.

Однако случай Друо, с общей точки зрения, сильно отличался даже от случая с Неем; и, кроме того, Ней проявил досадную нерешительность, в которой Друо никогда не был повинен. Таким

образом, интерес, который возбудил Ней, был полностью основан на общественном мнении, в то время как то, что испытывали к Дроу, было личным.

Император подробно рассказал об опасностях и трудностях, с которыми приходится сталкиваться трибуналам и министрам юстиции в ходе дел, связанных с его возвращением с острова Эльба. Прежде всего, его чрезвычайно поразило особое обстоятельство, связанное с Сультом, который, как нам сказали, должен был предстать перед судом. Он (Наполеон) знал, по его словам, насколько невиновен Сульт; и все же, если бы не это обстоятельство и если бы он был частным лицом и присяжным заседателем в деле Сульта, он, без сомнения, признал бы его виновным, настолько убедительно против него сочетались улики. В ходе своей защиты Ней, руководствуясь какими-то чувствами, которые трудно объяснить, вопреки истине заявил, что император сказал, что Сульт был с ним в разведке. Итак, все обстоятельства поведения Сульта во время его правления, доверие, которое император оказал ему после его возвращения, и т. Д., Соответствовали этому показанию: кто же тогда не осудил бы его? “И все же Сульт невиновен, - сказал император. - Он даже признался мне, что по-настоящему симпатизировал королю. Авторитет, которым он пользовался при нем, - сказал он, - столь отличный от авторитета моих министров, был очень приятен и вполне расположил его к себе”.

Массена (о проскрипции которого нам также сообщили газеты) был, по словам императора, еще одним человеком, которого они, возможно, осудили бы как виновного в государственной измене. Весь Марсель был против него; видимость была ошеломляющей; и все же он выполнял свой долг вплоть до того самого момента, когда открыто заявил о себе. По возвращении в Париж он даже был далек от того, чтобы претендовать на какие-либо заслуги перед императором, когда последний спросил его, мог ли он рассчитывать на него. “Истина заключается в том, ” продолжал император, - что все военачальники выполняли свой долг; но они не могли противостоять потоку мнений, и никто в достаточной степени не рассчитал настроения народных масс и национальную горячность. Карно, Фуше, Маре и Камбасерес признались мне в Париже, что они были сильно обмануты поэтому [this](#) вопросу. И никто этого хорошо не понимает, даже сейчас.

“Если бы король дольше оставался во Франции, - продолжал он, - он, вероятно, погиб бы в каком-нибудь восстании; но, попади он в мои руки, я счел бы себя достаточно сильным, чтобы предоставить ему все возможности для уединения по его собственному выбору, как поступили с Фердинандом в Валенсии”.

Непосредственно перед этим разговором император играл в шахматы, и когда его король упал, он воскликнул— “Ах, мой бедный король, ты проиграл!” Кто—то подобрал его и вернул ему в изуродованном виде... “Ужасно!” - воскликнул он. “Я, конечно, не принимаю это предзнаменование и далек от того, чтобы желать чего-либо подобного: моя вражда не простирается так далеко”.

Я бы ни в коем случае не опустил это обстоятельство, каким бы незначительным оно ни казалось, потому что оно во многих отношениях характерно. Мы сами, когда император удалился, вернулись к этому инциденту. Какая жизнерадостность, какая свобода духа в таких ужасных обстоятельствах! мы сказали. Какая безмятежность в сердце! какое отсутствие злобы, раздражения или ненависти! Кто мог бы обнаружить в нем человека, которого вражда и ложь изобразили таким чудовищем! Даже среди его собственных последователей есть ли кто-нибудь, кто хорошо понял его или приложил достаточно усилий, чтобы сделать его известным?

В другой вечер император рассказывал о своих ранних годах, когда он служил в артиллерии, и о своих товарищах по столовой: он всегда с удовольствием возвращался к тем дням. Был упомянут один из его товарищей по кают-компани, который, будучи префектом того же департамента при Наполеоне и при короле, не смог сохранить свое место после возвращения Наполеона. Император, вспомнив о нем, сказал, что этот человек в определенный период упустил возможность сколотить через него свое состояние. Когда Наполеон получил командование Внутренней армией, он осыпал этого человека милостями, сделал его своим адъютантом и намеревался оказать ему большое доверие; но этот облюбованный адъютант очень плохо обошелся с ним во время его отъезда в Итальянскую армию: затем он оставил своего генерала ради Директории. “Тем не менее,” сказал император, - когда я только сел на трон, он мог бы многое сделать для меня, если бы знал, как к этому подступиться. Он претендовал на раннюю дружбу, которая никогда не теряет своего влияния; я, конечно, никогда бы не устоял перед неожиданным предложением на охоте, например, или получасовой беседой о старых временах при любой другой возможности. Я должен был забыть о его поведении: теперь уже не имело значения, был ли он на моей стороне или нет: я объединил все партии. Те, кто имел представление о моем характере, были хорошо осведомлены об этом: они знали, что со мной, как бы я ни был расположен к ним, это было похоже на игру с тюремными решетками; когда однажды была затронута суть, игра была выиграна. На самом деле, если бы я хотел противостоять им, у меня не было другого выхода, кроме как отказаться их видеть”.

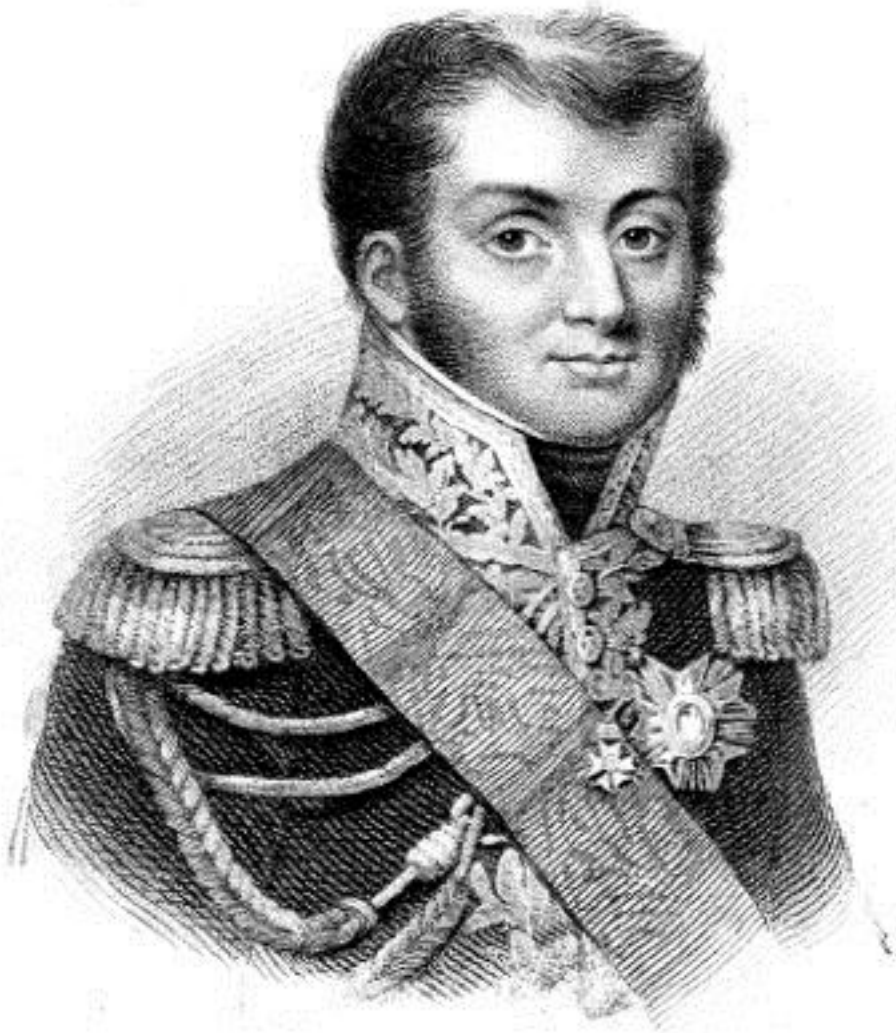
Он упомянул еще одного старого товарища, который, обладая умом и необходимой квалификацией, мог бы сделать с ним все, что угодно. Он также сказал, что треть никогда бы у него не отняли, будь он менее жадным.

Мы спорили между собой, подозревали ли эти люди когда-либо о тайне или о своих собственных шансах; и действительно ли высокое положение и имперское великолепие Наполеона позволили им воспользоваться его благосклонным расположением к ним.

Что касается великолетия императорской власти, великий маршал сказал, что каким бы великим и величественным ни казался ему император на троне, он никогда не производил на него более высокого, возможно, равного, впечатления, чем то, которое запечатлелось в его памяти благодаря его положению во главе Итальянской армии. Он очень удачно объяснил и обосновал эту идею, и император выслушал его с некоторым самодовольством.— Но мы наблюдали, какие великие события произошли впоследствии! какой подъем! какое величие! какая слава во всем мире! Император прислушался. “Несмотря на все это,” сказал он, “Париж так обширен и в нем живет так много людей всех мастей, а некоторые настолько эксцентричны, что я могу предположить, что есть те, кто никогда меня не видел, а другие даже никогда не слышали упоминания моего имени. Вы так не думаете?” И было любопытно наблюдать, с какой причудливой изобретательностью он сам поддерживал это утверждение, которое, как он знал, было несостоятельным. Мы все громко настаивали на том, что что касается его имени, то нет ни одного города или деревни в Европе, возможно, даже во всем мире, где оно не произносилось бы. Один из присутствующих добавил— “Сир, прежде чем я вернулся во Францию по Амьенскому мирному договору, ваше величество были тогда всего лишь первым консулом, я решил совершить поездку по Уэльсу, как одной из самых необычных частей Великобритании. Я взбирался на самые дикие горы, некоторые из которых имеют огромную высоту; я посещал хижины, которые, как мне казалось, принадлежали другому миру. Войдя в одно из таких уединенных жилищ, я заметил своему попутчику, что в этом месте можно было бы ожидать

обрести покой и избежать шума революции. Крестьянин, заподозрив в нас французов из-за нашего акцента, немедленно поинтересовался новостями из Франции и тем, чем занимается *Бонапарт*, первый консул".

“Сир, - сказал другой, - нам было любопытно спросить китайских офицеров, слышали ли в их Империи о наших европейских делах. "Конечно, - ответили они, - конечно, в сбивчивой манере, потому что мы совершенно не заинтересованы в этих вопросах; но имя вашего императора там известно и связано с великими идеями завоевания и революции: "точно так же, как имена тех, кто изменил облик этой части мира, пришли в нашу страну, такие как Чингисхан, Тамерлан" и т.д.



MARSHAL BERTRAND.

МАРШАЛ БЕРТРАН.

*Опубликовано для Генри Колберна в марте 1836 года.*

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВЕСТИ.—ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ  
СОСТОЯНИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ ИМПЕРИИ.—ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ИДЕИ ИМПЕРАТОРА О  
БЕЗРАЗЛИЧИИ ПАРТИЙ.—МАРМОН.—МЮРАТ.—БЕРТЬЕ.

27—го.- В этот день император прогуливался в саду со мной и великим маршалом. Этот разговор привел нас к нашему политическому самоанализу.

Император сказал, что в начале Революции он был очень теплым и искренним; что он постепенно остывал по мере того, как приобретал более справедливые и основательные идеи. Его патриотизм потонул в политических нелепостях и чудовищных бытовых эксцессах наших законодательных органов. Наконец, его республиканская вера исчезла из-за нарушения выбора народа Директорией во время битвы при Абукире.

Главный маршал сказал, что, со своей стороны, он никогда не был республиканцем, но был очень горячим конституционалистом до 10 августа, ужасы этого дня излечили его от всех иллюзий. Он едва не погиб, защищая короля в Тюильри.

Что касается меня, то было печально известно, что я начал свою карьеру как чистый и самый ярый роялист. “В таком случае, господа, - с юмором заметил император, - похоже, что я единственный среди нас, кто был республиканцем”. — “И кое-что еще, сир”, - ответили мы с Бертраном. — “Да, - повторил император, - “республиканцем и патриотом”. — “И я был патриотом, сир, “ ответил один из нас, - несмотря на мой роялизм; но, что еще более удивительно, я не стал таковым до периода правления Императора”. — “Как? негодяй!—вы вынуждены признать, что не всегда любили свою страну?” — “Сир, мы проводим политический самоанализ, не так ли? Я признаюсь в своих грехах. Когда я вернулся в Париж, благодаря вашей амнистии, мог ли я поначалу считать себя французом, когда каждый закон, каждый декрет, каждое постановление, которыми были увешаны стены, постоянно добавляли самые порочащие эпитеты моему несчастливому наименованию эмигранта. Я и не думал оставаться, когда впервые приехал сюда. Меня влекло любопытство, я поддался неодолимому влиянию родной земли и желанию подышать воздухом своей страны. Теперь у меня там ничего не было: только для того, чтобы мне позволили еще раз увидеть Францию, я был вынужден на границе поклясться отказаться от своего наследства, подчиниться законам, которые определяли его потерю; и я смотрел на себя как на простого путешественника в этой стране, которая когда-то была моей. Я был настоящим иностранцем, недовольным и даже недоброжелательным. Приход империи; это было великое событие. Теперь, - сказал я, “ мои манеры, предрассудки и принципы торжествуют; разница заключается только в личности государя. Когда началась Аустерлицкая кампания, мое сердце с удивлением снова оказалось французским. Мое положение было тягостным; я чувствовал себя так, словно меня разрывали на части; я разрывался между слепой страстью и национальным чувством: триумфы французской армии и их генерала вызывали у меня неудовольствие; и все же их поражение унизило бы меня. Наконец чудеса Ульма и великолепие Аустерлица положили конец моему смущению. Я был побежден славой.— Я восхищался, я признавал, я любил Наполеона; и с этого момента я стал французом с энтузиазмом. С тех пор у меня не было других мыслей, я не говорил на другом языке, не испытывал других чувств; и вот я здесь, рядом с тобой”.

Затем император задал множество вопросов относительно эмигрантов, их численности и расположения. Я рассказал много любопытных фактов, касающихся наших принцев, герцога Брауншвейгского и короля Пруссии. Я заставил его посмеяться над нашей экстравагантностью, нашей безграничной уверенностью в успехе, беспорядком в наших делах, неспособностью наших лидеров. “Люди, - сказал я, - действительно не были в то время такими, какими они стали с тех пор. К счастью, те, с кем нам приходилось бороться, поначалу были равны нам только по силе. Прежде всего, мы думали и повторяли друг другу, что огромное большинство французской нации на нашей стороне; и, со своей стороны, я твердо верил в это. Однако вскоре у меня появилась возможность разувериться; когда наши отряды прибыли в Верден и за его пределы,

ни один человек не присоединился к нам; напротив, все разбежались при нашем приближении. Тем не менее я все еще верил в это, даже после моего возвращения из Англии; так сильно мы обманывали себя впоследствии нелепостями, которые рассказывали друг другу. Мы сказали, что правительство принадлежало горстке людей; что оно поддерживалось только силой; что нация ненавидела его; и, должно быть, есть те, кто никогда не переставал так думать. Я убежден, что среди тех, кто сейчас рассуждает подобным образом в Законодательном корпусе, есть такие, кто говорит то, что они думают; настолько прекрасно я узнаю дух, идеи и выражения Кобленца”. — “Но в какой период вы не были обмануты?” сказал император. — “Очень поздно, сир. Даже когда я собрался с силами и прибыл к вашему Двору, мною руководили гораздо больше восхищение и сентиментальность, чем убежденность в вашей силе и стабильности. Однако, когда я вошел в ваш Государственный совет, видя свободу, с которой принимались самые решительные декреты, без единой мысли о малейшем сопротивлении; видя вокруг себя только убежденность и полную убежденность, мне тогда показалось, что ваша власть и положение дел набирали силу с быстротой, которую я не мог объяснить. Размышляя о причине этой перемены, я, наконец, сделал великое и важное открытие, а именно, что дела долгое время обстояли таким образом, но я не знал и не желал замечать этого; я спрятал голову под бушель, чтобы свет не достиг моих глаз. Теперь, когда я оказался в центре его яркости, я был ослеплен им. С этого момента все мои предрассудки рухнули наземь; с моих глаз сняли пленку.

“Будучи впоследствии послан вашим Величеством с миссией и объехав более шестидесяти департаментов, я проявил самое скрупулезное внимание и самую совершенную искренность, чтобы установить истину, в которой я так долго сомневался. Я допрашивал префектов, низшие органы власти; я требовал, чтобы мне предъявили документы и реестры; я допрашивал частных лиц, не будучи им известным; я использовал все возможные средства, чтобы проверить истинность моих выводов, и я оставался полностью убежденным, что правительство было полностью национальным и основано на воле народа; что Франция ни в какой период своей истории не была более могущественной, более процветающей, лучше управляемой или более счастливой; дороги никогда не содержались в лучшем состоянии; производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на десятую, девятую, возможно, восьмую часть.<sup>[4]</sup> Беспокойство, общий пыл побуждали все умы к напряжению и вдохновляли их стремиться к ежедневному личному совершенствованию. Был получен индиго; таким же неизбежно будет и сахар. Никогда, ни в какой период, внутренняя торговля и промышленность всех видов не были доведены до такого уровня; вместо четырех миллионов ливров хлопка, которые были израсходованы во время революции, теперь производилось более тридцати миллионов ливров, хотя мы не могли получить ничего морским путем и получали его по суше из Константинополя. Руан стал настоящим вундеркиндом в производстве. Повсюду были уплачены налоги; воинская повинность была национализирована; Франция, вместо того чтобы истощиться, содержала более многочисленное население, чем раньше, и с каждым днем увеличивалась.

“Когда я снова появился среди моих прежних знакомых с этими данными, против меня поднялся настоящий бунт. Они смеялись мне в лицо и чуть ли не улюлюкали. И все же среди них были разумные люди, и теперь у меня были веские аргументы; я многих ошеломил и немногих убедил; таким образом, у меня тоже были свои победы”.

Император сказал, что следует согласиться с тем, что то, что мы собрались на острове Святой Елены по политическим причинам, было, безусловно, в высшей степени экстраординарным

обстоятельством: мы прибыли в общий центр дорогами, изначально ведущими в совершенно разных направлениях [directions](#). Однако мы прошли через них с искренностью. Ничто так ясно не доказывало случайность, неопределенность и фатальность, которые обычно в лабиринте революций направляют честные сердца.

Ничто не может более ясно доказать, продолжал он, насколько необходимы снисходительность и разумные взгляды для переустройства общества после долгих беспорядков. Именно эти склонности и принципы сделали его, по его словам, наиболее подходящим человеком для обстоятельств месяца *Брюмера*; и именно они до сих пор делают его, без сомнения, наиболее подходящим для реального положения дел во Франции. В этом вопросе у него не было ни недоверия, ни предубеждения, ни страсти; он постоянно нанимал людей всех классов, всех партий, никогда не оглядываясь назад, не спрашивая, что они сделали, что они сказали, что они подумали; только требуя, по его словам, чтобы они в будущем искренне стремились к общей цели — всеобщему благополучию и славе — чтобы они показали себя настоящими и хорошими французами. Прежде всего, он никогда не заигрывал с лидерами, чтобы завоевать власть над партиями; но, напротив, он нападал на массу партий, чтобы оказаться в ситуации, когда он мог бы презирать их лидеров. Такова всегда была единая система его внутренней политики; и, несмотря на последние события, он был далек от раскаяния в этом; если бы ему пришлось начать все сначала, он должен был бы следовать тем же курсом. “Совершенно безосновательно,” сказал он, - меня упрекали в том, что я нанимаю дворян и эмигрантов — совершенно банальное и вульгарное обвинение! Дело в том, что при мне существовали только отдельные мнения и настроения. Не дворяне и эмигранты привели к реставрации, а скорее реставрация снова возвысила дворян и эмигрантов. Они не внесли большего вклада в наше разорение, чем другие: те, кто действительно виноват, являются интриганами всех партий и всех мнений. Фуше не был дворянином; Талейран не был эмигрантом; Ожеро и Мармон не были ни тем, ни другим. В заключение, желаете ли вы окончательного доказательства несправедливости обвинения целых классов, когда революция, подобная нашей, произошла среди них? Посчитайте сами: среди четверых вы найдете двух дворян, один из которых был даже эмигрантом. Превосходный господин де Сегюр, несмотря на свой возраст, при моем отъезде вызвался последовать за мной. Я мог бы без конца приводить примеры. — Столь же мало оснований, - продолжал он, - имеют обвинения в том, что я пренебрег некоторыми влиятельными лицами; я был слишком могуществен, чтобы безнаказанно не презирать интриги и заведомую безнравственность большей части из них. Таким образом, ни одна из этих причин не способствовала моему падению; но только непредвиденные и неслыханные катастрофы; вынужденные обстоятельства; 500 000 человек у ворот столицы; революция, еще недавняя; кризис, слишком сильный для французских голов; и, прежде всего, недостаточно древняя династия. Я бы снова поднялся даже с подножия Пиренеев, если бы только не был моим собственным внуком.

И, более того, какое очарование вызывает уважение к прошлым временам! Совершенно очевидно, что меня выбрали французы: их новый культ был их собственным делом. Что ж! сразу же после возвращения к своим старым формам посмотрите, с какой легкостью они вернулись к своим кумирам.

"И, в конце концов, как другая линия политики могла предотвратить то, что погубило меня? Меня предал М., которого я мог бы назвать своим сыном, своим детищем, моим собственным творением; тот, кому я вверил свою судьбу, отправив его в Париж в тот самый момент, когда он



## ВЕРОЯТНОСТЬ ОПАСНОСТИ В БОЮ И С.—БЮЛЛЕТЕНИ

ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО.

28-е число. Император во время обеда говорил о вероятности опасности на китайских кораблях, из которых один из тридцати погиб, согласно отчетам, которые он получил от некоторых капитанов. Это привело его к тому, что шансы на опасность в бою, по его словам, были меньше. Ему указали на Ваграм как на разрушительное сражение; он оценил число убитых не более чем в 3000 человек, что составляло всего лишь пятидесятую часть: нас было там 160 000. При Эсслинге их было около 4000, нас - 40 000: это была десятая часть; но это было одно из самых жестоких сражений. Остальных было несравненно меньше.

Это вызвало разговор о бюллетенях. Император объявил их очень правильными; заверил нас, что, за исключением того, что близость врага вынуждала его скрывать, что, когда они попадут к ним в руки, они не смогут получить от них никакой информации, наносящей ему ущерб, все остальное было очень точным. В Вене и по всей Германии к ним относились более справедливо, чем у нас. Если они приобрели дурную репутацию в наших армиях — если это была расхожая поговорка, *такая же лживая, как бюллетень*, - то это было личное соперничество, партийный дух, которые утвердили ее: это было уязвленное самолюбие тех, кто в них не упоминался и кто имел или воображал, что имел, право на место там: и все же более всего наш нелепый национальный недостаток - не иметь больших врагов для наших успехов и нашей славы, чем мы сами.

Император после ужина сыграл несколько партий в шахматы. День был очень дождливый: ему нездоровилось, и он рано лег спать.

## НЕЗДОРОВОСТЬ ОСТРОВА.

26-го. Погода по-прежнему была плохой; невозможно было ступить на улицу. Дождь и сырость вторглись в наши картонные квартиры. В результате пострадало здоровье каждого из нас. Температура здесь, безусловно, мягкая, но климат один из самых неблагоприятных. На острове установлено, что немногие там доживают до пятидесяти лет; вряд ли кому-то из них исполнилось шестьдесят. Добавьте к этому изоляцию от остального мира, физические лишения, плохое моральное обращение, и получится, что тюрьмы в Европе намного предпочтительнее свободы на острове Святой Елены.

Около четырех часов ко мне привели нескольких капитанов из Китая, которых должны были представить императору. У них была возможность увидеть тесноту, сырость и плохое состояние моего жилища. Они поинтересовались, как чувствует себя император в плане здоровья. Я сказал им, что оно заметно ухудшилось. Мы никогда не слышали от него жалоб: его великая душа ничего не перенесла, чтобы преодолеть это, и даже способствовала обману его относительно его собственного состояния; но мы могли видеть, как он очень ощутимо разлагался. Вскоре после этого я привел их к императору, который прогуливался по саду. В тот момент он показался мне более растерянным, чем обычно. Он отпустил их через полчаса. Он снова вошел в дом и принял ванну.

До и после ужина он казался подавленным и испытывал боль. Он начал читать нам "Ученых женщин", но во втором акте передал книгу главному маршалу и задремал на диване, пока читали остаток.

## ЗАМЕЧАНИЯ ИМПЕРАТОРА О ЕГО ПОХОДЕ На ВОСТОК.

30-31-е число. В этот день погода оставалась очень плохой; мы все страдали от этого; кроме того, мы совершенно объединены крысами, блохами и клопами: они нарушают наш сон, так что ночные неприятности совершенно гармонируют с дневными.

31-го числа погода полностью изменилась на хорошую; мы отправились в путь в экипаже. Император в ходе беседы заметил, говоря о Египте и Сирии, что если бы он захватил Сен-Жан-д'Акр, как и должно было быть, он произвел бы революцию на Востоке. "Самые тривиальные обстоятельства," сказал он, - приводят к величайшим событиям. Слабость капитана фрегата, который вышел в море вместо того, чтобы проложить проход в гавань, некоторые пустяковые препятствия в отношении некоторых шлюпов или легких судов помешали изменить облик мира. Овладев Сен-Жан д'Акром, французская армия устремилась бы к Дамаску и Алеппо; в мгновение ока она оказалась бы на Евфрате; христиане Сирии, друзья, христиане Армении присоединились бы к ней: народы были на грани потрясения". Один из нас сказал, что они быстро были бы усилены 100 000 человек — "Скажем, 600 000, - ответил император. - Кто может подсчитать, сколько бы это могло быть? Я бы добрался до Константинополя и Индии; я бы изменил лицо мира".

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ За ПОСЛЕДНИЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ.

Прошло уже девять месяцев с начала моего Дневника; и я боюсь, что среди разнородных вопросов, которые беспорядочно сменяют друг друга в нем, я, возможно, часто упускал из виду свою главную, единственную цель — то, что касается Наполеона и может послужить его характеристикой. Именно для того, чтобы компенсировать это, где это необходимо, я здесь попытаюсь резюмировать в нескольких словах; резюме, которое я предлагаю, более того, по тому же поводу, повторять в будущем с интервалом в три месяца.

Покинув Францию, мы в течение месяца оставались в распоряжении жестокого английского министерства; затем наш переход на остров Святой Елены занял три месяца.

Во время нашей высадки мы занимали Брайарз почти два месяца.

Наконец, мы пробыли в Лонгвуде три месяца.

Итак, эти девять месяцев составили бы четыре совершенно разные эпохи, если бы кто-нибудь взял на себя труд понаблюдать за Наполеоном.

Все время нашего пребывания в Плимуте Наполеон оставался задумчивым и просто пассивным, не проявляя никакой силы, кроме терпения. Его несчастья были так велики и так непоправимы, что он со стоическим безразличием позволил событиям идти своим чередом.

В течение всего нашего путешествия он постоянно сохранял совершенную невозмутимость и, прежде всего, полнейшее безразличие; он не выразил ни малейшего желания, не выказал разочарования. Это правда, ему оказывали величайшее уважение; он принимал его, сам того не замечая; он говорил мало, и тема разговора всегда была ему чужда. Любой, кто, внезапно

оказавшись на борту, стал свидетелем его разговора, несомненно, был бы далек от того, чтобы догадаться, с кем они находятся в компании: это был не император. Я не могу лучше представить его в этой ситуации, чем сравнив с теми высокопоставленными пассажирами, которых с большим уважением доставляют к месту назначения.

Наше жилище в Брайарсе отличалось еще одним оттенком. Наполеон, предоставленный почти полностью самому себе, никого не принимавший, постоянно занятый, казалось, забывший события и людей, наслаждался, по-видимому, спокойствием и умиротворением глубокого одиночества; то ли из рассеянности, то ли из презрения, не снисходя до того, чтобы замечать неудобства или лишения, которыми он был окружен. Если он время от времени и ронял какое-нибудь выражение по отношению к ним, то только тогда, когда его будила назойливость какого-нибудь англичанина или возбуждал рассказ о бесчинствах, которым подвергались его слуги. Весь его день был занят диктовкой; остальное время он посвящал расслаблению в привычной беседе. Он никогда не упоминал о делах Европы; редко говорил об Империи, очень мало о консульстве; но много о своем положении генерала в Италии; еще больше, и почти постоянно, о мельчайших подробностях своего детства и ранней юности. Последние сюжеты, особенно, казалось, в то время имели для него особое очарование. Можно было бы сказать, что они позволяли ему совершенно забыться; они возбуждали его даже до веселости. Почти исключительно этим предметам он посвящал долгие часы своих ночных прогулок при лунном свете.

Наконец, наше пребывание в Лонгвуде стало четвертой и последней переменной. Все наши ситуации до сих пор были короткими и преходящими. Это было решено и грозило стать прочным. Там, в действительности, должно было начаться наше изгнание и наши новые судьбы. История перенесет их туда; туда должны были быть обращены взоры мира, чтобы рассмотреть нас. Император, по-видимому, исходя из этого расчета, регулирует все вокруг себя и занимает позицию достоинства, угнетаемого властью; он очерчивает вокруг себя моральную границу, за которой он дюйм за дюймом защищает себя от унижения и оскорблений. Он больше ни в чем не уступает своим преследователям; он проявляет себя разумно ревнивым в отношении форм и враждебным ко всякому посягательству. Англичане никогда не сомневались, что привычка в конце концов приведет к соблюдению формальностей. Император приучает их к этому с первого дня, и это вызывает глубочайшее уважение.

Для нас было немалым сюрпризом и немалым удовлетворением констатировать, что, хотя мы и не знали, как и почему, тем не менее стало заметно, что император теперь стоит во мнении и уважении англичан выше, чем до сих пор; мы могли даже заметить, что это чувство с каждым днем росло. С нами император в своих беседах полностью возобновил рассмотрение дел Европы. Он анализировал проекты и поведение государей: он сравнивал их со своими собственными; взвешивал, принимал решения, говорил о своем правлении, о своих деяниях; одним словом, мы снова увидели в нем Императора *ивсего* Наполеона. Не то чтобы он когда-либо переставал быть таким хоть на мгновение, учитывая нашу преданность и наше внимание; да и нам, со своей стороны, нечего было терпеть от него в каком-либо отношении.

Никогда мы не испытывали более ровного характера, более постоянной доброты, более неизменной привязанности. Фактически, именно среди нас, как и среди своей семьи, он согласовывал свои атаки на общего врага; и те из них, которые кажутся наиболее энергичными

и, по-видимому, продиктованы гневом, однако, почти всегда сопровождались смехом или шутками.

Здоровье императора в течение шести месяцев, предшествовавших нашему пребыванию в Лонгвуде, казалось, не претерпело никаких изменений, хотя его режим полностью изменился. Его часы работы, его пища больше не были прежними; его привычки были совершенно ненормальными. Он, привыкший к таким большим физическим нагрузкам, все это время был прикован к комнате. Купание стало частью его существования, и он постоянно был лишен его. Только после его прибытия в Лонгвуд, когда он снова был снабжен некоторыми из этих вещей, когда он ездил верхом и снова пользовался ванной, мы начали замечать заметную перемену.

Станным обстоятельством является то, что до тех пор, пока он находился в неудобном положении, он ничего не страдал; только когда ему стало лучше, стало видно, что он испытывает боль. Не может ли быть так, что в моральной системе, как и в физической, часто существует длительный интервал между причинами и их следствиями?

## ОПИСАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ ИМПЕРАТОРА.—МЕЛЬЧАЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ ЕГО ТУАЛЕТА И ОДЕЖДЫ.—АБСУРДНЫЕ СООБЩЕНИЯ О НЕМ.—ЗАГОВОРЫ ЖОРЖА И ЧЕРАЧИ.—ПОКУШЕНИЕ ФАНАТИКА ШЕНБРУННА.

1-2 апреля. Все, что так или иначе связано с императором Наполеоном, должно быть достойно внимания и будет цениться тысячами людей. С этим убеждением я продолжу подробно описывать его квартиру, ее обстановку, детали его туалета и т. Д. И, может быть, со временем его сын однажды получит удовольствие от воспроизведения этих деталей, представляя себе внешний вид отдаленных предметов и улавливая мимолетные тени, которые, возможно, заменят ему реальность?

Личные апартаменты императора состоят из двух комнат *A* и *B*,<sup>[6]</sup> каждая 45 футов в длину, 42 в ширину и около 7 футов в высоту. Пол устлан очень невзрачным ковром, а стены обеих комнат увешаны кусками нанкина вместо бумаги.

В спальне *A* есть маленькая походная кровать *a*, на которой спит император, и кушетка *b*, на которой он проводит большую часть дня. Этот диван завален книгами, которые, кажется, оспаривают у императора право владения им. Рядом с этим ложем стоит небольшой столик, на котором император завтракает и ужинает, когда принимает пищу в своих покоях, и на котором вечером стоит подсвечник с тремя ветвями, увенчанный большим орнаментом. Между двумя окнами, напротив двери, стоит комод *d*, в котором хранится белье императора, а на крышке - его большой несессер.

Над камином висит очень маленькое стекло вместе с несколькими картинами. Справа - портрет короля Рима, сидящего на овце, работы Эме Тибо, а слева, в качестве подвески к нему, висит еще один портрет юного принца, сидящего на подушке и надевающего туфельку. Эта картина также является работой Тибо. Ниже расположен небольшой мраморный бюст короля Рима. Два подсвечника, два флакона для благовоний и две серебряные позолоченные чаши, взятые из кабинета императора, завершают расположение и убранство камина. Наконец, в изножье дивана и прямо на виду у императора, когда он возлежит на нем, чем он занимается большую часть дня, висит портрет Марии Луизы, изображающий Марию Луизу, держащую на руках своего сына. Таким образом, этот жалкий чуланчик стал семейным убежищем. Я не могу

не упомянуть большие серебряные часы Фридриха Великого, которые являются своего рода памятником. Снимок сделан в Потсдаме и висит слева от камина, за портретами. Собственные часы императора, которые висят справа от камина, - те же самые, которыми он пользовался в походах в Италию; они заключены в золотой корпус, помеченный его шифром В:<sup>[7]</sup> Это содержимое первой камеры.

Во второй комнате В, которая служит чем-то вроде кабинета, вдоль стен рядом с окнами расположены несколько грубых досок, поддерживаемых козлами, на которых разбросано большое количество книг и рукописей, которые были написаны под диктовку императора. Между двумя окнами - книжный шкаф g; а с противоположной стороны стоит еще одна раскладушка h, похожая на уже упомянутую. На этой кровати император иногда отдыхает днем; и он иногда ложится на нее, когда встает с другой кровати во время своих частых бессонных ночей, или когда устает от диктовки, или когда ходит в одиночестве по своим покоям. Наконец, посреди комнаты стоит письменный стол i с пометками, указывающими места, которые обычно занимал император и каждый из нас во время своих диктовок.

Император одевается в своей спальне. Когда он снимает свою одежду, что он делает без посторонней помощи, он бросает ее всю на пол, если одного из его камердинеров случайно нет под рукой, чтобы забрать ее у него. Сколько раз я наклонялся, чтобы поднять орден Почетного легиона, и видел, как он небрежно валяется на земле!

К бритью, которое является почти последним этапом туалета императора, приступают только после того, как он наденет чулки, туфли и т. Д. Он бреется сам: сначала снимает рубашку и остается только во фланелевом жилете, который он отложил во время чрезмерной жары, которую мы испытали, пересекая Линию Фронта, но который он был вынужден надеть в Лонгвуде из-за сильного приступа холецистита; от этого, однако, использование фланелевого жилета быстро избавило его.

Император бреется в нише ближайшего к камину окна. Первый камердинер подает ему мыло и бритву, а второй держит перед ним зеркало в его туалетном столике, чтобы император мог повернуть его к свету той стороной, которой он бреется. Дело второго камердинера сообщать ему, чисто он бреется или нет. Побрив одну сторону, он полностью поворачивается, чтобы побрить другую, и камердинеры меняются сторонами.

Затем император моет лицо, а очень часто и голову, в большом серебряном тазу f, который установлен в углу комнаты и который принесли из Елисейского дворца. Император очень похотлив; его кожа белая, с небольшим количеством волосков; и у него есть определенная полнота, которая необычна для мужского пола и на которую он иногда в шутку намекает. Он потирает грудь и руки довольно жесткой щеткой. После этого он отдает щетку своему камердинеру, который трет ему спину и плечи, а когда находится в хорошем настроении, часто говорит: "Ну же, расчесывай изо всех сил — так сильно, как если бы ты драил задницу".

Раньше он чуть ли не топился в одеколоне, по крайней мере, до тех пор, пока он имелся в его распоряжении: но его запасы этого средства быстро истощались, а поскольку на острове ничего нельзя было достать, он был вынужден пользоваться лавандовой водой; отсутствие одеколоне он воспринимал как тяжелое лишение.

После того, как ему потерли спину или после того, как он закончил брить бороду с обеих сторон, он иногда добродушно смотрит своему камердинеру в лицо в течение нескольких секунд, а

затем отвешивает ему пощечину, сопровождая это какими-нибудь шутливыми выражениями. Это было истолковано клеветниками и памфлетистами как привычка жестоко избивать тех, кто был рядом с ним. Время от времени мы все по очереди получали щипок или затрещину за ухо; но, судя по выражениям лиц, которые всегда сопровождали это действие, мы считали себя очень счастливыми, получая такие милости в период его власти.

Это напоминает мне о некоторых наблюдениях, которые я однажды услышал от герцога Декре, одного из министров императора. Герцог, находясь на пике своей славы и могущества, пожелал добиться определенной милости от императора. Он беседовал со мной на эту тему и, оценив все свои шансы на успех, сказал: "В конце концов, я получу это при первом же грубом обращении". И, заметив, что мое лицо выразило удивление, он добавил с многозначительной улыбкой: "Но, мой дорогой друг, в конце концов, это не так страшно, как вы себе представляете; уверяю вас, многие были бы счастливы получить такое обращение".

Император не покидает своих покоев, пока полностью не оденется. Утром он надевает обувь и не надевает сапоги до тех пор, пока не выедет верхом. Когда он впервые приехал в Лонгвуд, он снял свою зеленую форму гвардейца и надел охотничий камзол, с которого был снят шнурок. Это пальто вскоре стало выглядеть потрепанным, и его слуги были в растерянности, чем его заменить. Это, однако, было не единственным неудобством того рода, которому он подвергался. Например, мы были очень огорчены, увидев, что он вынужден носить одну пару шелковых чулок несколько дней подряд; но он смеялся всякий раз, когда мы выражали свое сожаление по этому поводу, или замечал, что легко подсчитать, сколько дней носили чулки, по следам, которые на них оставили туфли. В остальном он сохранил свою обычную одежду, а именно жилет и короткую рубашку из белого керсеймера и черный галстук. Когда он выходил, кто-нибудь из джентльменов, случайно оказавшихся в комнате, протягивал ему его шляпу; ту маленькую шляпу, которая в какой-то мере стала отождествляться с его личностью. С тех пор как мы были на острове, с императора сняли несколько шляп, потому что каждый, кто приближается к нему, стремится заполучить какой-нибудь знак памяти о нем. Как часто нас мучили даже люди выдающегося положения, добывая для них хотя бы пуговицу от его сюртука или любую другую принадлежащую ему безделушку.

Я почти всегда присутствовал при туалете императора: иногда я оставался, закончив писать, а иногда император желал, чтобы я пришел и побеседовал с ним. Однажды я пристально смотрел на него, когда он надевал свой фланелевый жилет. Мое лицо, я полагаю, выразило что-то особенное, потому что он сказал в своей добродушной манере обращения ко мне: "Ну, чему *ваше превосходительство* улыбается? О чем вы думаете в этот момент?" — "Сир, в брошюре, которую я недавно прочитал, я обнаружил, что ваше величество было защищено кольчугой для безопасности вашей персоны. Слух того же рода был распространен среди определенных слоев населения Парижа; и в подтверждение этого утверждения был сделан намек на внезапную *вспышку* вашего величества, которая, как было сказано, была совершенно неестественной. Я только сейчас подумал, что могу привести убедительные доказательства обратного и что, по крайней мере, на острове Святой Елены все меры предосторожности для личной безопасности были отброшены в сторону". — "Это одна из тысячи нелепостей, которые были опубликованы в отношении меня", - сказал он. "Но история, которую вы только что упомянули, тем более нелепа, что каждый человек вокруг меня хорошо знает, насколько я беспечен в отношении самосохранения. Привыкший с восемнадцати лет подвергаться воздействию пушечных ядер и знающий бесполезность предосторожностей, я предоставил

себя своей судьбе. Когда я встал во главе дела, я, возможно, все еще воображал, что окружен опасностями поля битвы, и я мог бы рассматривать заговоры, которые были составлены против меня, как множество разорвавшихся снарядов. Но я последовал своим старым путем; я доверился своей счастливой звезде; и предоставил все меры предосторожности полиции. Я был, возможно, единственным монархом в Европе, который обошелся без личной охраны. Каждый мог свободно приблизиться ко мне, не проходя, так сказать, через военные казармы; когда часовые у внешних ворот были пройдены, все имели свободный доступ в любую часть моего дворца. Мария Луиза была очень удивлена, увидев, что меня так плохо охраняют; и она часто замечала, что ее отец был окружен штыками. Что касается меня, то в Тюильри у меня не было лучшей защиты, чем здесь: я даже не знаю, где найти свою шпагу; вы видите ее? - сказал он, оглядываясь в поисках.... "Я, безусловно, подвергся большой опасности, - продолжал он, -. Против меня было организовано более тридцати заговоров: они были подтверждены подлинными свидетельскими показаниями, без упоминания многих, которые так и не были раскрыты. Некоторые монархи выдумывают заговоры против самих себя; я, со своей стороны, взял за правило тщательно скрывать их, когда только мог. Наиболее серьезный кризис для меня произошел в промежуток между битвой при Маренго, покушением на Жоржа и делом герцога Энгиенского".

Наполеон рассказал, что примерно за неделю до ареста Жоржа один из самых решительных заговорщиков вручил ему в собственные руки петицию на параде. Другие проникли в домовладение в Сен-Клу или Мальмезоне; наконец, сам Жорж, по-видимому, был настолько близок к его персоне, что находился с ним в одной квартире.

Независимо от удачи, император в значительной степени приписывает свою безопасность определенным обстоятельствам, которые были характерны только для него. Что, несомненно, по его словам, способствовало его сохранению, так это то, что он жил по своему усмотрению, без каких-либо постоянных привычек или четкого плана. Из-за тесных занятий он часто оставался дома и почти постоянно запирался в своем шкафу. Он никогда не обедал за границей, редко посещал театры и появлялся только в то время и в тех местах, где его не ждали.

Когда мы спускались в сад после того, как император закончил одеваться, он заметил мне, что два замысла относительно его жизни, которые подвергли его самой непосредственной опасности, были замыслами скульптора Черачи и фанатика Шенбрунна. Черачи и несколько других отчаявшихся негодяев разработали план убийства Первого консула. Они согласились привести свой замысел в исполнение в тот момент, когда он выйдет из своей ложи в театре. Наполеон, получивший известие о заговоре, тем не менее проследовал в театр и бесстрашно прошел мимо заговорщиков, которые проявили величайшее желание занять свои посты. Их арестовали примерно в середине или ближе к закрытию представления.

Черачи, сказал император, прежде обожал Первого консула; но он поклялся принести его в жертву, когда тот, как он утверждал, проявил себя тираном. Этот художник был осыпан милостями генерала Бонапарта, чей бюст он выполнил; и когда он вступил в заговор против своего благодетеля, он всеми возможными способами пытался добиться еще одного места под предлогом внесения существенных улучшений в бюст. К счастью, в то время у консула не было ни минуты свободного времени, и, решив, что истинной причиной настойчивых просьб скульптора была нужда, он послал ему шесть тысяч франков. Но как же он ошибся! Настоящим мотивом Черачи было нанести ему удар ножом во время заседания.

Заговор был раскрыт линейным капитаном, который сам был соучастником. “Это, ” сказал Наполеон, “ было доказательством странных изменений, которым подвержен человеческий разум, и показывает, до каких пределов могут доходить сочетания безумия и тупости! Этот офицер с ужасом смотрел на меня как на первого консула, хотя он обожал меня как генерала. Он хотел, чтобы меня прогнали с моего поста, но отверг саму мысль о каком-либо покушении на мою жизнь. Он желал, чтобы я был в безопасности, но не хотел, чтобы я каким-либо образом пострадал; и он предложил отправить меня обратно в армию, чтобы я встретился лицом к лицу с врагом и защищал славу Франции. Остальные заговорщики смеялись над этими предположениями; но когда он обнаружил, что они раздают кинжалы и выходят далеко за рамки его намерений, он пришел и рассказал обо всем консулу”.

Пока мы рассуждали на эту тему, кто-то из присутствующих упомянул, что был свидетелем в театре Фейдо события, повергшего часть публики в величайший ужас. Император вошел в ложу императрицы Жозефины и едва успел занять свое место, как молодой человек поспешно вскочил на скамью непосредственно под Ложей и положил руку на грудь императора. Зрители на противоположной стороне были встревожены. К счастью, однако, молодой человек всего лишь представил петицию, которую император принял и прочитал с величайшим хладнокровием.

Император описал *фанатика Шенбрунна* как сына протестантского священника из Эрфурта, который примерно во время битвы при Ваграме разработал план убийства Наполеона со всей подобающей торжественностью. Он прошел мимо часовых на некотором расстоянии от императора, и его дважды или трижды оттесняли назад, когда генерал Рапп, отталкивая его рукой, почувствовал, что у него что-то спрятано под пальто. Это оказался нож длиной около полутора футов, заостренный с обоих краев. “Я содрогнулся, взглянув на это, - сказал император. - оно было просто завернуто в кусок газеты”.

Наполеон приказал отвести убийцу в его кабинет. Он вызвал Корвизара и велел ему пощупать пульс преступника, пока тот разговаривал с ним. Убийца стоял неподвижно, сознаваясь в своем предполагаемом преступлении и часто цитируя Библию. “Какова была ваша цель здесь?” - спросил император. “ Чтобы убить тебя. - “Что я такого сделал, что оскорбило тебя?” Чьей властью вы назначаете себя моим Судьей?” — “Я хочу положить конец войне”. “А почему бы вам не обратиться к императору Франциску?” “К нему!” “ сказал убийца. “и почему? он всего лишь шифр. И кроме того, если бы он умер, ему наследовал бы другой; но когда вас не станет, французы немедленно уйдут из Германии ”. Император тщетно пытался сдвинуть его с места. “Вы рассказываете?” - спросил он. “Нет”. “Попытались бы вы снова совершить задуманное вами преступление?” “Да”. “Что, если бы я простил вас?” “Здесь, - сказал император, - природа на мгновение восстановила свое господство; выражение лица и голос человека на мгновение изменились. “Даже если ты это сделаешь, “ сказал он, ” Бог не простит меня”. Но к нему тут же вернулось свирепое выражение лица. Его держали в одиночной камере без еды двадцать четыре часа. Врач осмотрел его еще раз. Его снова допрашивали, но все было напрасно; он по-прежнему оставался тем же человеком, или, правильнее сказать, тем же свирепым зверем. В конце концов его бросили на произвол судьбы.

## МЕРЫ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ ВАТЕРЛОО.

3—й.-Утром император диктовал в тенистой части сада. День был восхитительно ясным и безмятежным. Он читал отчет об экспедиции Александра в “Истории Роллина”; и перед ним

было разложено несколько карт. Он пожаловался, что повествование лишено вкуса и не имеет какого-либо надлежащего плана. Он заметил, что это не дает точного представления о грандиозных замыслах Александра; и он выразил желание сам написать отчет об экспедиции.

Около пяти часов я присоединился к нему в саду, где он прогуливался в сопровождении всех джентльменов. Как только он увидел меня, он сказал: "Пойдемте, мы должны узнать ваше мнение по вопросу, который мы обсуждали в течение последнего часа. Как вы думаете, мог ли я по возвращении из Ватерлоо распустить Законодательный корпус и спасти Францию без него?" — "Нет, - ответил я, - он не был бы распущен добровольно. Вы сочли бы необходимым применить силу; это вызвало бы протесты и было бы расценено как скандальное. Недовольство, вызванное в Законодательном органе, распространилось бы по всей стране. Тем временем враг прибыл бы; и ваше величество, должно быть, пали бы жертвой, обвиняемые всей Европой, обвиняемые иностранцами и даже французами; возможно, обремененные всеобщими проклятиями, рассматриваемые просто как авантюрист, добивающийся всего насильем. Но как бы то ни было, ваше Величество вышли чистыми и незапятнанными из конфликта, и память о вас будет вечно храниться в сердцах тех, кто уважает дело народа. Ваше величество своей умеренностью обеспечили себе самую яркую репутацию в истории, в то время как при иной линии поведения вы могли бы подвергнуться риску порицания. Ты потерял свою силу, это правда; но ты достиг вершины своей славы".

"Что ж, отчасти это мое собственное мнение", - сказал император. "Но, в конце концов, уверен ли я, что французский народ воздаст мне должное?" Не обвинят ли они меня в том, что я бросил их? История решит! Вместо того, чтобы бояться, я взываю к ее решению!— Я часто спрашивал себя, сделал ли я для французского народа все, чего он мог от меня ожидать; ведь этот народ многое сделал для меня. Узнают ли они когда-нибудь обо всем, что я выстрадал в ту ночь, которая предшествовала моему окончательному решению?

"В ту ночь тоски и неопределенности мне пришлось выбирать между двумя великими путями: первый заключался в попытке спасти Францию насильем; и второй заключался в том, чтобы поддаться общему порыву. Мера, которой я придерживался, была, я думаю, наиболее разумной. Друзья и враги, добрые и злонамеренные, все были против меня, и я остался один. Я не мог не уступить, и мое решение, однажды принятое, не могло быть отменено. Я не из тех, кто принимает полумеры; и, кроме того, суверенитет нельзя сбрасывать с себя, как плащ. Другой путь требовал чрезвычайной суровости. Необходимо было бы привлечь к ответственности великих преступников и назначить суровые наказания. Должно быть, пролилась кровь; и тогда кто может сказать, где нам следовало остановиться! Какие сцены ужаса не могли бы возобновиться! Придерживаясь такой линии поведения, разве я не должен был утопить свою память в потоке крови, преступлений и мерзостей всякого рода, которыми клеветники уже захлестнули меня? Разве я не должен был таким образом оправдать все, что им было угодно изобрести? Потомство и История рассматривали бы меня как второго Нерона или Тиберия. Если бы, в конце концов, я мог спасти Францию такой ценой!... У меня было достаточно энергии, чтобы пройти через все трудности!... Но точно ли я добился бы успеха? Все наши опасности не исходили извне; худшее заключалось в нашем внутреннем разладе. Разве группа безумных дураков не спорила об оттенках, прежде чем они обеспечили торжество цвета? Как можно было убедить их, что я работаю не только для себя, ради своей личной выгоды? Как я мог убедить их в своей бескорыстности или доказать, что все мои усилия были направлены на спасение страны? Кому я мог указать на опасности и невзгоды, от которых я стремился спасти французский народ?

Они были очевидны для меня, но вульгарная масса всегда будет оставаться в неведении о них, пока они не будут раздавлены их тяжестью.

Что можно было ответить тем, кто восклицал: “Вот деспот, тиран! снова нарушающий клятвы, которые он дал только вчера!” и кто знает, не погиб ли бы я среди этой суматохи, этого неразрешимого нагромождения трудностей от руки француза в гражданском конфликте! Тогда как бы выглядела Франция в глазах вселенной, в оценке будущих поколений? Слава Франции в том, чтобы отождествлять себя со мной. Я не смог бы совершить стольких великих подвигов ради ее чести и славы без нации и вопреки нации. Франция была склонна возносить меня слишком высоко!... Как я уже говорил, решать будет история!..”

Затем он перешел к плану и деталям Кампании, с удовольствием рассказав о ее славном начале и с сожалением об ужасной катастрофе, ознаменовавшей ее завершение.

“И все же, ” продолжал он, - я бы счел положение дел отнюдь не отчаянным, если бы получил помощь, на которую рассчитывал. Все наши ресурсы находились в Камерах. Я поспешил убедить их в этом; но они немедленно восстали против меня под предлогом, что я пришел их разогнать. Какой абсурд! С этого момента все было потеряно.<sup>[8]</sup>

“Возможно, было бы несправедливо, ” добавил император, - обвинять большинство членов Палат; но такова природа всех многочисленных организаций, что они должны погибнуть, если будут разобщены. Как и у армий, у них должны быть лидеры. Главнокомандующие армиями назначаются; но в официальных органах люди выдающегося таланта и гениальности возвышаются и управляют ими. Мы хотели всего этого, и, поэтомупоэтому, несмотря на хорошее настроение, которое могло бы воодушевить большинство, все были в одно мгновение погружены в смятение и суматохусмятение. У дверей Законодательного органа царили вероломство и коррупция, в то время как в его недрах царили неспособность, беспорядок и извращенность; и таким образом Франция стала добычей иностранцев.

На мгновение меня посетила мысль о сопротивлении. Я был близок к тому, чтобы объявить о своем постоянном пребывании в Тюильри вместе со своими министрами и государственными советниками. У меня были мысли сплотить вокруг себя шесть тысяч гвардейцев, находившихся в Париже, дополнить их наиболее подготовленной частью Национальной гвардии, которая была очень многочисленна, и федеральными войсками предместий; перенести Законодательный корпус в Тур или Блуа; реорганизовать у стен Парижа остатки армии и, таким образом, приложить свои усилия в одиночку, как диктатор, для блага страны. Но подчинился бы ли Законодательный корпус? Я мог бы добиться повиновения, это правда; но это стало бы новой причиной скандала и новым источником трудностей. Стали бы люди заодно со мной? Осталась бы ли бы даже армия постоянно верной мне? Не могли ли бы при развитии событий и народ, и армия быть отделены от меня? Разве планы не были составлены с учетом моего предубеждения? Мысль о том, что столько опасностей было вызвано мной одним, могла бы послужить благовидным предлогом, а удобства, которые каждый испытал в течение предыдущего года в завоевании благосклонности бурбонов, могли бы для многих стать решающими стимулами.

“Да, ” продолжал император, - я долго колебался, я взвесил все доводы обеих сторон; и в конце концов я пришел к выводу, что не смогу противостоять внешней коалиции и внутренним роялистам; что я был бы неспособен противостоять многочисленным сектам, которые возникли бы в результате насилия, совершенного над Законодательным органом, контролировать ту

часть толпы, которая должна управляться силой, или противостоять тому моральному осуждению, которое вменяет несчастному всякое зло, которое последует за этим. Следовательно, отречение было абсолютно единственным шагом, который я мог предпринять. Все было потеряно вопреки мне. Я предвидел и предсказал это, но все равно у меня не было другого выхода.

“Союзники всегда применяли против меня одну и ту же систему. Они начали это в Праге, продолжили во Франкфурте, в Шатийоне, Париже и Фонтенбло. В их поведении проявилась значительная рассудительность. Французы могли быть обмануты в 1814 году; но трудно представить, как они могли быть обмануты в 1815 году. История навсегда запятнает память о тех, кто позволил ввести себя в заблуждение. Я предсказал их судьбу, когда уезжал, чтобы присоединиться к армии: *Давайте не будем уподобляться, сказал я, грекам Нижней Империи, которые развлекались спорами, пока таран ровнял стены их города.* И когда меня вынудили отречься от престола, я сказал: *наши враги хотят отделить меня от армии; когда им это удастся, они отделят армию от вас. Тогда вы станете всего лишь жалким стадом, добычей диких зверей.*”

Мы спросили императора, думает ли он, что с согласия Законодательного органа он мог бы спасти Францию? Он без колебаний ответил, что с уверенностью взялся бы за это и что ответил бы за свой успех.

“Менее чем за две недели, ” продолжал он, - то есть до того, как какая-либо значительная масса союзных войск смогла бы собраться перед Парижем, я завершил бы свои укрепления и собрал бы под стенами города из остатков армии свыше восьмидесяти тысяч отборных солдат и триста орудий конной артиллерии. После нескольких дней обстрелов национальной гвардии, федеральных войск и жителей Парижа было бы достаточно для защиты укреплений. В моем распоряжении было бы восемьдесят тысяч солдат. Хорошо известно, с какой выгодой я мог использовать эту силу.—Достижения 1814 года были еще свежи в памяти. Шампобер, Монмираиль, Краон, Монтеро все еще присутствовали в воображении наших врагов; те же сцены воскресили бы в памяти чудеса предыдущего года. Тогда меня прозвали *сто тысяч человек.*

Быстрота и решительность наших успехов дали основание для этого названия. Поведение французских войск было в высшей степени достойным восхищения. Никогда горстка храбрецов не совершала столько чудес. Если их высокие достижения никогда не были публично известны из-за обстоятельств, сопровождавших наши бедствия, они, по крайней мере, были должным образом оценены нашими врагами, которые подсчитывали количество наших атак по нашим победам. Мы были настоящими героями сказки!

“Париж, - сказал он, - через несколько дней стал бы неприступным. Обращение к нации, масштаб опасности, возбуждение общественного сознания, грандиозность зрелища привлекли бы в столицу множество людей. Я, несомненно, мог бы собрать более четырехсот тысяч человек, и я полагаю, что силы союзников не превышали пятисот тысяч. Таким образом, дело дошло бы до единоборства, в котором врагу было бы чего опасаться не меньше, чем нам самим. Он бы заколебался, и таким образом я вернул бы себе доверие большинства.

“Тем временем я должен был окружить себя национальным сенатом или хунтой, избранными из числа членов Законодательного органа — людей, известных по национальным именам и

достойных всеобщего доверия. Я бы укрепил свою военную диктатуру всей силой гражданского мнения. У меня был бы свой трибун, который провозгласил бы талисман моих принципов по всей Европе. Монархи содрогнулись бы, увидев, как зараза распространяется среди их подданных. Они, должно быть, договорились со мной или сдались ....”

“Но, сир, - воскликнули мы, - почему вы не попытались сделать то, что безошибочно увенчалось бы успехом?— Зачем мы здесь?”

“ Итак, ” продолжал император, “ вы обвиняете и осуждаете меня! Но если бы вы приняли во внимание противоположные шансы, вы бы изменили свой тон. Кроме того, вы забываете, что мы исходили из гипотезы, что Законодательный корпус присоединился бы ко мне; но вы знаете, какой линии поведения он придерживался. Я, конечно, мог бы его распустить. Франция и Европа, возможно, обвиняют меня, и потомки, несомненно, осудят мою слабость в том, что я не разогнал Законодательный орган после его восстания. Скажут, что мне не следовало отрывать себя от судеб народа, который все сделал для меня. Но, распустив Собрание, я мог бы в лучшем случае добиться от врага только капитуляции. В таком случае, я еще раз повторяю, должна была пролиться кровь, и я, должно быть, показал себя тираном. Однако вечером 20-го я составил план, а 21-го должны были быть приняты меры самой суровой строгости; но еще до наступления дня веления человеколюбия и благоразумия предупредили меня, что о подобном курсе не следует и думать, что я упущу свою цель и что каждый просто слепо стремится приспособиться к обстоятельствам. Но я не должен начинать сначала. Я уже сказал слишком много на тему, которая всегда вызывает болезненные воспоминания. Я еще раз повторяю, что все решит история”. Император вернулся в свои покои, желая, чтобы я последовал за ним. ....

4. В 5 часов я пошел встречать императора в саду. Он принял слишком теплую ванну и вследствие этого почувствовал себя плохо. Мы выехали в коляске, погода была восхитительная: в течение нескольких дней было очень тепло и сухо. Перед обедом император продиктовал великому маршалу. Мадам Бертран обедала у адмирала. Император удалился в свои покои сразу после обеда.

## ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ.

5-8—й. В течение этих четырех дней император неизменно выезжал верхом около шести или семи утра в сопровождении только меня и моего сына.

Я могу утверждать, что никогда не видел, чтобы Наполеон находился под влиянием страсти или предубеждения, то есть я никогда не видел, чтобы он вынес суждение о людях и вещах, которое не было продиктовано разумом. Даже когда он проявляет то, что, возможно, можно назвать гневом, это всего лишь эффект преходящего чувства и никогда не влияет на его поступки; но я могу с уверенностью сказать, что за восемнадцать лет, в течение которых у меня была возможность наблюдать за его характером, я никогда не видел, чтобы он действовал вопреки разуму.

Еще один факт, который стал мне известен и который я отмечаю здесь, потому что он всплывает в моей памяти в этот момент, заключается в том, что либо по природе, расчету, либо по привычке сохранять достоинство, он по большей части подавляет и скрывает болезненные ощущения, которые он испытывает, и еще больше, возможно, добрые эмоции своего сердца. Я

часто наблюдал, как он подавлял чувства чувствительности, как будто считал, что они компрометируют его характер. Позже я приведу доказательства этого. Между тем, следующая характерная черта настолько идеально соответствует цели этого дневника, а именно показать человека таким, какой он есть на самом деле, и запечатлеть природу в этом факте, что я не могу удержаться от упоминания о ней.

В течение нескольких прошедших дней у Наполеона, казалось, было что-то глубоко на сердце. Произошедшее домашнее обстоятельство чрезвычайно раздосадовало и взъерошило его. В течение последних трех дней, во время наших прогулок по парку, он несколько раз с большой теплотой упоминал об этом обстоятельстве, желая, чтобы я держался рядом с ним, и приказывая моему сыну ехать впереди. В один из таких случаев у него вырвалось следующее замечание: "Я знаю, что я падший. Но чувствовать это среди вас!"... Эти слова, жест, тон, которыми они сопровождались, пронзили мое сердце. Я был готов броситься к его ногам и обнять его колени. "Я знаю, - продолжал он, - что этот человек часто бывает неразумным и впечатлительным. Таким образом, когда я не доверяю самому себе, я спрашиваю, стоило ли так обращаться со мной в Тюильри? Это мой верный тест".

Затем он рассказал о себе, о нас, о наших взаимоотношениях, о нашем положении на острове и о влиянии, которое могли бы оказать на нас наши индивидуальные обстоятельства. Его размышления на эти темы были многочисленными, сильными и справедливыми. В волнении, которое вызвал у меня этот разговор, я воскликнул: "Сир, позвольте мне взять это дело на себя. Это, конечно, никогда нельзя было рассматривать в таком свете. Если бы этот вопрос был объяснен, я уверен, это вызвало бы глубокую скорбь и раскаяние! Я прошу разрешения сказать только одно слово ". Император с достоинством ответил: "Нет, господин, я запрещаю это. Я открыл тебе свое сердце. Природа сделала свое дело. Я забуду об этом, а вы, должно быть, никогда об этом не знали".

По возвращении мы позавтракали все вместе в саду, и император был более чем обычно весел. Вечером он ужинал в своей собственной квартире.

## ПОЛИТИКА.—СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЫ.—НЕПРЕОДОЛИМОЕ ГОСПОДСТВО ЛИБЕРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ.

9-10-е число. 9-го числа прибыл корабль из Англии с документами на 21 января. Император продолжил свои утренние прогулки верхом и провел остаток дня за изучением газет в своей комнате. Содержание этих последних бумаг было не менее интересным, чем те, которые мы уже изучали. Волнения во Франции продолжали усиливаться; король Пруссии издал прокламации, касающиеся тайных обществ; между Австрией и Баварией возникло недоразумение; в Англии преследование французских протестантов и насилие партии, которая набирала силу, взволновали общественное мнение и дали оружие Оппозиции. Европа никогда не представляла более бурного брожения.

Прочитав отчет о потопе зол и кровавых событий, охвативших все департаменты Франции, император поднялся со своего ложа и, яростно топнув ногой, воскликнул! "Как мне не повезло, что я не поехал в Америку! Находясь в другом полушарии, я мог бы защитить Францию от ответных действий! Страх моего повторного появления стал бы сдерживающим фактором для их насилия и безумия. Моего имени было бы достаточно, чтобы обуздать их бесчинства и вселить в них ужас".

Затем, продолжая ту же тему, он сказал с некоторой теплотой, граничащей с вдохновением: "контрреволюция, даже если бы ей позволили продолжаться, неизбежно потерпела бы поражение в великой революции. Атмосферы современных идей достаточно, чтобы задушить старых феодалов; ибо отныне ничто не сможет разрушить или стереть из памяти великие принципы нашей революции. Эти великие и превосходнейшие истины никогда не перестанут существовать, настолько полно они сочетаются с нашей славой, нашими памятниками и нашими чудесами. Мы смыли их первые пятна потоком славы, и отныне они будут бессмертны. Созданные французской трибуной, скрепленные кровью сражений, украшенные лаврами победы, приветствуемые одобрительными возгласами народа, одобренные договорами и союзами государей и ставшие привычными как для ушей, так и для уст королей, эти принципы никогда больше не смогут отступить!

“Либеральные идеи процветают в Великобритании, они просвещают Америку, и они национализированы во Франции; и это можно назвать треножником, откуда исходит свет миру! Либеральные мнения будут править вселенной. Они станут верой, религией, моралью всех народов; и, несмотря на все, что может быть выдвинуто против этого, эта достопамятная эпоха будет неразрывно связана с моим именем; ибо, в конце концов, нельзя отрицать, что я зажег факел и освятил принципы; и теперь преследования делают меня вполне их Мессией. Друзья и враги, все должны признать меня своим первым солдатом, своим великим представителем. Таким образом, даже когда меня больше не будет, я все равно останусь ведущей звездой наций....” [наций....”](#)

## МНЕНИЕ ИМПЕРАТОРА О НЕСКОЛЬКИХ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЯХ.—ПОЦЦО ДИ БОРГО—МЕТТЕРНИХ—БАССАНО—КЛАРК—КАМБАСЕРЕС—ЛЕБРЕН—ФУШЕ И Др.

11-12. Император пользовался каждым погожим утром, чтобы покататься верхом. Он позавтракал в саду, и после этого беседа велась с большой свободой и интересом о событиях его личной жизни, об общественных делах, о людях, которые его окружали, и о тех, кто играл заметную роль при других дворах Европы.

Об уроках английского больше не думали; они продолжались только во время наших поездок верхом или прогулок в дневное время. То, что император, таким образом, потерял в грамматической точности, он приобрел в легкости выражения.

Около пяти часов 11-го мы, как обычно, вышли проветриться в коляске. Вечером мы возобновили наши министерские анекдоты и беседы о знаменитых личностях. Наполеон рассказал нам историю месье Поццо ди Борго, своего соотечественника, который был членом Законодательного органа. Говорят, именно он посоветовал императору Александру выступить в поход на Париж, хотя Наполеону следовало атаковать его с тыла. “И таким образом, - сказал император, - он“ решил судьбу Франции, европейской цивилизации и судьбы всего мира. Он приобрел большое влияние в российском кабинете министров”.

Он также рассказал нам историю месье Капо д'Истрия. Затем он рассказал о месье де Меттернихе.

Затем император заговорил о своих собственных министрах; о Бассано, который, по его мнению, был искренне привязан к нему; о Кларке, время, по его словам, воздаст должное его характеру; О С., последние события показали, что он мало чего стоил. Император

последовательно назначал его послом в Вене, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Талейран, заметив, что в двух словах описал его характер, сказав о нем со своей обычной резкостью и недоброжелательностью, что он был человеком, который мог приспособиться к любому месту за день до своего назначения на него.

Затем разговор зашел о г-не Камбасересе, которого Наполеон назвал человеком злоупотреблений, заметив, что он питает явную склонность к старому режиму. Лебрен, напротив, имел склонность к противоположной крайности. Он, по словам императора, был человеком идеализма. Эти два человека, по его словам, были противовесом, между которыми расположился Первый консул, а его, в свою очередь, в шутку называли *объединенным третьим*.

Следующими заговорили о господах де Т. .... и Фуше. Высказав много уважительного об обоих, император перешел к энергичным замечаниям о нравственности лиц, связанных с министерством во Франции, и вообще обо всех должностных лицах; об их недостатке политической веры или национальных чувств, которые заставляют их безразлично служить одному человеку сегодня, а завтра - другому. "Это легкомыслие, эта непоследовательность," сказал он, - перешли к нам из древности. Мы все еще остаемся галлами, и наш характер никогда не станет совершенным, пока мы не научимся заменять непокорность принципами, гордость тщеславием и, прежде всего, любовь к институтам любовью к месту".

Император пришел к выводу, что в конце описываемых нами последних событий монархи Европы неизбежно должны были сохранять ретроспективное чувство презрения к великим людям, которые таким образом щеголяли Суверенитетом. "Но, - сказал он, - оправдание, возможно, можно найти в природе вещей и во власти обстоятельств. Демократия возвышает Суверенитет, аристократия сохраняет его. Моя не пустила ни достаточно глубоких корней, ни приобрела достаточный дух. В момент кризиса она все еще была связана с демократией; и она смешалась с толпой, вместо того чтобы стать якорем, защищающим людей от ярости бури и направляющим их в их слепоте".

Ниже приводятся некоторые свежие сведения о г-не де Т. и г-не Фуше, чьи имена так часто упоминались. Я стараюсь, насколько это возможно, избегать повторений.

"Господин де Т., - сказал император, - два дня и ночь ждал в Вене, когда все силы будут направлены на заключение мира от моего имени; но мне было бы стыдно так проституировать свою политику; и все же, возможно, мое поведение в данном случае послужило причиной моего изгнания на остров Святой Елены; ибо я не могу не признать, что Т. - человек исключительного таланта, способный в любое время бросить большую гирию на чашу весов.

"Т... - продолжал он, - всегда был замешан в государственной измене; но это было в партнерстве с фортуной. Его осмотрительность была чрезвычайной; он обращался со своими друзьями так, как будто они могли в будущем стать его врагами; и он вел себя со своими врагами так, как будто они могли когда-нибудь стать его друзьями. Господин де Т., по моему мнению, всегда был враждебен Сен-Жерменскому предместью. В деле о разводе он был на стороне императрицы Жозефины. Именно он настаивал на войне с Испанией, хотя на публике у него хватало искусства демонстрировать отвращение к ней". Таким образом, Наполеон выбрал Валансье в качестве резиденции Фердинанда из своего рода злобы. "Короче говоря, - сказал император, - Т..был главным орудием и активной причиной смерти герцога Энгиенского".



Ч. Морис де Талейран

Гравюра Томсона по оригинальной картине Ф. Жерара

Наполеон заметил, что знаменитая актриса (мадемуазель Рокур) описала его очень правдиво. “Если вы зададите ему вопрос, — сказала она, - он превратится в железный сундук, из которого вы не сможете извлечь ни звука; но если вы его ни о чем не спросите, вы скоро не сможете заткнуть ему рот - он станет завзятым сплетником”.

Это был недостаток, который с самого начала подорвал доверие императора и заставил его колебаться в своем мнении о Т... “Я доверил ему, ” сказал Наполеон, - очень важное дело, и через несколько часов Жозефина пересказала мне его слово в слово. Я немедленно послал за министром, чтобы сообщить ему, что мне только что стало известно от императрицы обстоятельство, о котором я рассказал по секрету ему одному. История уже прошла через четыре или пять промежуточных каналов.

“Выражение лица Т..., - добавил император, - настолько неподвижно, что по нему никогда ничего нельзя прочесть. Ланн и Мюрат в шутку говорили о нем, что если во время разговора с вами кто-нибудь подойдет к нему сзади и даст пинка, на его лице не отразится никакого оскорбления ”.

Мсье де Т. мягок и даже обаятелен в своих домашних привычках. Его слуги и лица, у него работающие, привязаны к нему и преданы. Среди своих близких друзей он охотно и добродушно рассказывает о своей церковной профессии. Однажды он выразил свою неприязнь к мелодии, которую напевали в его присутствии. Он сказал, что это приводит его в ужас; это напомнило ему о том времени, когда он был вынужден заниматься церковной музыкой и петь за письменным столом. В другой раз один из его близких друзей рассказывал историю во время ужина, в то время как г-н де Т. был погружен в свои мысли и, казалось, не обращал внимания на разговор. По ходу рассказа рассказчик случайно сказал в оживленной манере о ком-то, кого он назвал по имени: “Этот парень - забавный негодяй; он женатый священник”. Т., возбужденный этими словами, схватил ложку, поспешно погрузил ее в стоявшее перед ним блюдо и сугрожающим видом крикнул ему: “Мистер Такая-то, не хочешь ли немного шпината?” Человек, рассказывавший эту историю, был сбит с толку, и вся компания разразилась приступом смеха, мсье де Т., а также остальные.

Император во время Конкордата пожелал сделать г-на де Т.... кардиналом и поставить его во главе церковных дел. Он сказал ему, что его истинное предназначение - вернуться в лоно Церкви, освежить свою память и заткнуть рты декламаторам. Т., однако, никогда не согласился бы на это; его отвращение к церковной профессии было непреодолимым.

Наполеон был очень близок к назначению его послом в Варшаву - звание, которым он впоследствии наградил аббата де Прадта; но его грязные уловки с биржевыми спекуляциями, как называл их император, заставили отказаться от этого намерения. Император был вынужден по тем же причинам и по просьбе нескольких государей Германии лишить его поста министра иностранных дел.

Император заметил, что Фуше был Т-в клубах, а Т - был Фуше в гостиных. “Интрига, ” сказал он, - была для Фуше жизненной необходимостью. Он интриговал во все времена, во всех местах, всеми способами и со всеми людьми. Ничего так и не всплыло на свет, но было установлено, что он приложил к этому руку. Он сделал своим единственным занятием высматривать то, во что он мог вмешиваться. Его манией было желать быть заинтересованным во всем ...! Всегда быть на месте каждого”. Это часто повторял император.

Во время заговора Жоржа, когда Моро был арестован, Фуше уже не возглавлял полицию, и он постарался вызвать о себе самые сильные сожаления. “Какая глупость! ” сказал он. - Они арестовали Моро, когда он возвращался в Париж из своей загородной резиденции, - обстоятельство, которое, по крайней мере, выглядело как уверенность в невинности.

Напротив, его следовало схватить, когда он направлялся в Гро-Буа, потому что тогда он, очевидно, убежал”.

Замечание, которое он сделал или которое ему приписывают по поводу дела герцога Энгиенского, хорошо известно: “Это больше, чем преступление, это ошибка”, - сказал он. Подобные черты рисуют характер человека лучше, чем целые тома.

Император хорошо знал Фуше и никогда не становился его жертвой. Его часто обвиняли в том, что он нанял его в 1815 году, когда Фуше действительно подло предал его. Наполеон не был в неведении относительно своего характера; но он также знал, что опасность зависела больше от обстоятельств, чем от отдельного человека. “Если бы я победил, - сказал он, ” Фуше был бы верен. Правда, он очень заботился о том, чтобы быть готовым ко всему, что могло случиться. Я должен был победить!”

Император, однако, был знаком с его закулисными делишками и не пощадил его. После возвращения Наполеона в 1815 году один из первых банкиров Парижа явился в Елисейский дворец, чтобы сообщить ему, что несколькими днями ранее человек, только что прибывший из Вены, явился к нему с аккредитивами и поинтересовался, каким образом он может встретиться с Фуше. То ли из размышлений, то ли из предчувствия, у банкира возникли некоторые сомнения относительно этого человека, и, соответственно, он пришел, чтобы сообщить о них лично императору, который был удивлен, что Фуше скрыл это от него. В течение нескольких часов Реаль нашел человека, о котором шла речь, и немедленно доставил его в Елисейский дворец, где его заперли в маленькой комнате одного. Император приказал отвести его в сад. “Ты узнаешь меня?” - спросил он мужчину. Это начало и чувства, которые вызывало присутствие императора, сильно поразили незнакомца. “Я знаком со всеми вашими действиями, ” продолжал Наполеон суровым тоном. “ Если вы сию минуту признаетесь во всем, что знаете, я могу простить вас; если нет, вас выведут из этого сада и расстреляют”. — “Я все расскажу”, - сказал этот человек. “Господин де Меттерних послал меня сюда к герцогу Отранто, чтобы предложить ему отправить гонца в Бале, который встретит там гонца, посланного господином де Меттернихом из Вены. Это, ” продолжал он, протягивая какие-то бумаги, - знаки отличия, которыми они должны обладать.” — “Выполнили ли вы свое поручение Фуше?” — спросил император. - “Да”. — “Отправил ли он своего гонца?” — “Я не знаю”. Мужчина был заключен под стражу, и в течение часа доверенное лицо (М.Ф.) было на пути в Бале. Он представился австрийскому посланнику и даже провел с ним четыре конференции.

Тем временем Фуше, обеспокоенный неявкой своего венского посланника, однажды нанес визит императору и попытался с напускной веселостью скрыть свое крайнее смущение. “Впокоях было несколько зеркал, - сказал император, — и я очень забавлялся, разглядывая его украдкой; выражение его лица было отвратительным; он не знал, как приступить к предмету, который его так глубоко интересовал”. - “Сир, - сказал он наконец, ”четыре или пять дней назад мне пришло в голову одно обстоятельство, о котором, боюсь, я был неправ, не сообщив вашему величеству.... Но у меня так много дел - я окружен таким количеством отчетов, таким количеством интриг ... Человек приехал ко мне из Вены с самыми нелепыми предложениями, и теперь его нигде не найти!” — “М. - Фуше, - сказал император, - ты можешь навредить себе, если будешь держать меня за дурака. Я заполучил человека, о котором ты говоришь, и уже несколько дней знаю всю интригу. Вы посылали в Бале?” — “Нет, сир”. — “Это к счастью для вас. Если все обстоит иначе, и я получу доказательства этого, это может стоить вам жизни.

Последующие события доказали, что это было бы справедливо. Однако, похоже, что Фуше не прислал, и на этом дело закончилось.

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ГАЗЕТЫ.—ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.

13—е. Император завтракал в саду и послал за всеми нами, чтобы мы присутствовали при нем. Он возобновил чтение газет, которые мы просматривали утром, а затем перешел к рассуждениям о политических делах. Следующие наблюдения - это те, которые наиболее сильно поразили меня.

“13 вандемьера жители Парижа испытывали полное отвращение к правительству, - сказал император, - но вся армия, подавляющее большинство населения департаментов, низший класс граждан и крестьянство оставались верны ему. Таким образом, Революция одержала победу над этим грандиозным наступлением контрреволюции, хотя прошло всего четыре или пять лет с тех пор, как были провозглашены новые принципы. Они были свидетелями самых страшных и пагубных сцен, и их ожидало более счастливое будущее.

"Но теперь все изменилось!... Если солдат в своей казарме пытается скоротать утомительные часы в разговорах о битвах, он не может говорить о Фонтенуа или Праге, свидетелем которых он не был; он должен говорить о победах при Маренго, Аустерлице и Йене; о том, кто их одержал; короче говоря, обо мне, чья слава наполняет все уста и живет в каждом сердце.

"Подобная ситуация не имеет аналогов в истории. С какой бы стороны на нее ни посмотреть, ничего, кроме несчастий, не предвидится. Каков будет результат этого?... Два класса людей, обитающих на одной и той же земле, станут смертельными, непримиримыми врагами, будут непрестанно ссориться и, быть может, окончательно истребят друг друга.

“Такая же ярость вскоре распространится и по Европе. Весь Континент будет состоять из двух враждебных партий; он будет разделен больше не нациями и территориями, а партийными цветами и мнениями. Кто может предвидеть кризис, продолжительность, детали стольких неприятностей! Событие не подлежит сомнению. Нынешний просвещенный век не отступит в знаниях!... Каким неудачным было мое падение!... Я заключил ветры в тюрьму, но штыки освободили их. Я мог бы спокойно продолжать всеобщее возрождение, которое отныне может осуществляться только среди бурь! Моей целью было объединение; другие, возможно, уничтожат!”

## ПРИБЫТИЕ ГУБЕРНАТОРА.

14—го. - Вернулась дождливая погода; в течение двух дней было ужасно сыро. В поле зрения появилось несколько судов, и по сигналам мы узнали, что они доставили нового губернатора, сэра Хадсона Лоу.

Император был молчалив и меланхоличен во время обеда. Ему нездоровилось, и он очень рано лег спать.

## УСПЕХИ ИМПЕРАТОРА В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

15—го.—Сегодня около 12 часов ночи я получил четыре письма из Европы, которые сделали меня настолько счастливым, насколько это вообще возможно в этом месте.

Я видел императора в пять часов в саду. Он воспользовался перерывом в хорошей погоде; дождь лил весь день. Я сообщил ему содержание моих писем. Вся наша группа получила сообщения из Европы. Они были доставлены нам открытыми и не содержали никаких новостей; но они доказывали, что наши друзья все еще помнят нас, и в нашей ситуации такое заверение было особенно отрадным.

Во время обеда император описал нам содержание некоторых французских бумаг, которые были при нем и в которых, по его словам, рассказывалось о кораблекрушении Лаперуза, его различных приключениях, его смерти и его дневнике. Повествование состояло из самых любопытных, поразительных и романтических подробностей и чрезвычайно заинтересовало нас. Император заметил, как сильно возбуждено наше любопытство, и затем разразился приступом смеха. Эта история была не чем иным, как его собственным экспромтом, который, по его словам, он придумал просто для того, чтобы показать нам прогресс, которого он добился в английском языке.

## ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА.—ОТ НАС ТРЕБУЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИЯ.

16—го. Новый губернатор прибыл в Лонгвуд около десяти часов, несмотря на дождь, который все еще продолжался. Его сопровождал адмирал, который должен был представить его и который, без сомнения, сказал ему, что это самое подходящее время для его визита. Император не принял его; он был нездоров, и даже если бы он был здоров, он не принял бы его. Своим внезапным визитом губернатор пренебрег обычными правилами приличия. Нетрудно было догадаться, что это уловка адмирала. Губернатор, который, вероятно, вовсе не собирался быть неприятным, казался очень смущенным. Мы смеялись сквозь рукава. Что касается адмирала, то он торжествовал.

Губернатор, после долгих колебаний и весьма явных признаков дурного настроения, довольно резко отклонялся. Мы не сомневались, что этот визит был спланирован адмиралом с целью с самого начала настроить нас друг против друга. Но имел ли сам губернатор какое-либо отношение к этому или питал какие-либо подозрения относительно его замысла, это вопрос, который решит время.

Около половины шестого император послал за мной, чтобы я сопровождал его в сад. Он был один. Он сказал мне, что возникли обстоятельства, касающиеся каждого из нас по отдельности. Было решено потребовать от каждого из нас заявления о том, что мы предпочитаем: соединить свою судьбу с судьбой императора или быть вывезенными с острова Святой Елены и отпущенными на свободу.

Мы не могли догадаться о мотивах такого решения. Было ли оно принято английским министерством для получения обычных документов? Но во время нашего отъезда из Плимута это предварительное условие было прекрасно понято. Надеялись ли мы таким образом более полно отделить Императора от мира? Но можно ли было когда-либо предположить, что мы оставим его?

Он спросил, каким будет мое решение по этому вопросу. Я ответил, что в этом ни на минуту нельзя сомневаться; что если я когда-либо и испытывал острую боль, то, должно быть, в момент моего первого решения; что с этого момента моя судьба была решена безвозвратно. Сначала я подчинялся только велениям славы и почестей, но в каждый последующий день я потакал своим естественным привязанностям и чувствам. Голос императора зазвучал мягче; таким тоном он выразил свою благодарность. Я знал его сердце и всю степень его благодарности.

Я добавил, что в моем решении было мало достоинств. В нашей ситуации не может произойти никаких изменений. На следующий день после подписания документа мы должны быть такими же, какими были накануне. Наша судьба зависела не от человеческих комбинаций, а от хода событий. Было бы очень неразумно усугублять наши проблемы расчетами, недоступными человеческому предвидению. Наш долг - спокойно покориться таинственным указаниям Судьбы и, несмотря на глубину нашего несчастья, утешать себя мыслью о том, что наш разум свободен от самобичевания. Это утешение, которое человеку не под силу ослабить или уничтожить.

### ХАРАКТЕРНЫЙ РАЗГОВОР.—ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМПЕРАТОРА С ЭЛЬБЫ, ПРЕДСКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО ОТЪЕЗДА ИЗ ФОНТЕНБЛО.—ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА.—УНИЖЕНИЕ, ИСПЫТАННОЕ АДМИРАЛОМ.—ПРИЧИНЫ НАШИХ ЖАЛОБ На НЕГО.—ХАРАКТЕРИСТИКА СЭРА ХАДСОНА ЛОУ.

17—го. - Император послал за мной в девять часов. Он прочитал мне статью в "Портсмутском курьере", в которой давалось очень длинное и точное описание его проживания в Брайарсе.

Он снова послал за мной в середине дня, чтобы я побеседовал с ним. Одна часть беседы дает столь ценное представление о характере Наполеона, что я не могу удержаться от того, чтобы записать некоторые ее отрывки.

Между нами время от времени возникали временные недоразумения и споры, которые раздражали императора. Он обратился к этой теме. Он проанализировал нашу ситуацию с помощью своего обычного хода рассуждений. Он подсчитал все невзгоды и ужасы нашего изгнания и указал наилучший способ облегчить их. Он сказал, что мы должны идти на взаимные жертвы и не обращать внимания на многие обиды; что человек может наслаждаться жизнью, только контролируя характер, данный ему природой, или создавая себе новый с помощью образования и учась изменять его в соответствии с препятствиями, с которыми он может столкнуться.

“Вам следовало бы попытаться создать единую семью”, - сказал он. “Вы последовали за мной только для того, чтобы облегчить мою печаль. Не должно ли это чувство подавить все остальные соображения? Если одной симпатии недостаточно, позвольте разуму быть вашим проводником. Вы должны научиться подсчитывать свои печали, свои жертвы и свои радости, чтобы прийти к результату, точно так же, как мы делаем прибавления или вычитания при любом виде расчетов. Все обстоятельства нашей жизни должны подчиняться этому правилу.... Мы должны научиться побеждать дурной характер. Вполне естественно, что между вами возникают небольшие недоразумения; но за ними должно последовать объяснение, а не неприязнь; первое приведет к результату, второе только усложнит дело. Разум и логический вывод должны быть нашими постоянными проводниками в этом мире”. Затем он продолжил показывать, как он иногда

действовал в соответствии с этими принципами, а иногда отступал от них. Он добавил, что мы должны научиться прощать и избегать той враждебности и язвительности, которые должны быть оскорбительными для наших соседей и наносить ущерб нашему собственному счастью; что мы должны принимать во внимание человеческие слабости и потакать им, а не противостоять им.

“Что было бы со мной, ” сказал он, - если бы я не следовал этим принципам? Часто говорили, что я был слишком добродушен и недостаточно осторожен; но для меня было бы гораздо хуже, если бы мой нрав был обратным тому, что есть. Меня дважды предавали, это правда; и я могу быть предан в третий раз. Но именно мое знание человеческого характера и дух разумной снисходительности, который я перенял, позволили мне управлять Францией; и которые до сих пор, возможно, делают меня наиболее подходящим человеком для управления этой нацией при существующих обстоятельствах. Уезжая из Фонтенбло, разве я не сказал всем, кто просил меня указать им линию поведения, которой они должны придерживаться: ‘Идите и служите королю!’ Я хотел предоставить им законные полномочия делать то, что многие без колебаний сделали бы по собственной воле. Я бы не допустил, чтобы верность некоторых стала причиной их разорения;и, наконец, прежде всего, я не хотел, чтобы по возвращении мне было кого порицать”.

Здесь я рискнул, вопреки своему постоянному обыкновению, призвать императора в какой-то мере к ответу. “Как, сир, - воскликнул я, - у вашего величества возникла мысль вернуться, когда вы покидали Фонтенбло?” — “Да, конечно, и по самым простым соображениям. Если бурбоны, сказал я, намерены основать пятую династию, то мне здесь больше нечего делать; я выполнил свою роль. Но если они будут упрямо пытаться возобновить третью, я вскоре появлюсь снова. Можно сказать, что тогда бурбоны имели мою славу и поведение в своем распоряжении. В их власти все еще было представить меня в глазах основной массы человечества выскочкой, тираном, подстрекателем и бичом. Сколько здравого смысла и спокойного размышления потребовалось бы, чтобы оценить мой настоящий характер и воздать мне должное!... Но люди, которыми были окружены бурбоны, и ошибочная линия поведения, которой они придерживались, сделали мое присутствие желанным; они восстановили мою популярность и объявили о моем возвращении. В противном случае я закончил бы свои дни на острове Эльба, и это, несомненно, в наибольшей степени отвечало бы интересам всех сторон. Я вернулся, чтобы отдать большой долг, а не ради возобновления владения тронem. Возможно, немногие поймут мотив, которым я руководствовался; не важно. Я взял на себя тяжелую ответственность, но это был мой долг перед французским народом. Их жалобы доходили до меня; и как я мог оставаться к ним глух?

В целом мое положение на острове Эльба было достаточно завидным и приятным. Вскоре я должен был создать для себя новый вид суверенитета. Все, что было наиболее выдающегося в Европе, начало проходить передо мной в обозрении. Я бы представил невиданное в истории зрелище: монарха, сошедшего со своего трона и наблюдающего, как цивилизованный мир толпится, чтобы расступиться перед ним.

“Действительно, можно возразить, что союзники выслали бы меня с моего острова; и я признаю, что это обстоятельство ускорило мое возвращение. Но если бы Францией управляли мудро, если бы французский народ был доволен , моему влиянию пришел бы конец; отныне я принадлежал бы только истории, и венский кабинет министров не помышлял бы о моем

смещении. Именно агитация, созданная и поддерживаемая во Франции, впервые породила мысль о моем смещении”.

Тут великий маршал вошел в апартаменты императора. Он пришел сообщить о прибытии губернатора, которого сопровождал адмирал, а за ним следовал весь его штаб.

После еще некоторого разговора Бертран остался наедине с императором, а я проследовал в прихожую; здесь была собрана вся свита. Мы попытались перекинуться друг с другом несколькими словами, но были скорее сосредоточены на наблюдении, чем на беседе.

Примерно через полчаса император вошел в гостиную. Дежурный камердинер, стоявший у двери в апартаменты, затем вызвал губернатора, и тот был представлен. Адмирал следовал за ним по пятам. Камердинер, услышавший только упоминание имени губернатора, внезапно закрыл дверь, не впуская адмирала, которого не впустили, несмотря на его протесты; и он в полном замешательстве удалился в нишу одного из окон. Камердинером, ставшим причиной этого оскорбления, был Новерраз, швейцарец, хороший и верный слуга, о котором император часто говорил, что все его понимание было поглощено привязанностью к своему господину.

Мы были поражены этим неожиданным происшествием и сначала пришли к выводу, что Новерраз действовал, повинаясь воле императора. Хотя у нас было достаточно оснований жаловаться на адмирала, все же мы сделали все, что было в наших силах, чтобы вывести его из затруднительного положения; его неловкое положение огорчало нас. Тем временем был созван и представлен штаб губернатора; и это обстоятельство только усилило замешательство адмирала. Примерно через четверть часа император простился со своими посетителями. Губернатор вышел из гостиной, и адмирал нетерпеливо двинулся ему навстречу. Они сказали друг другу несколько слов с некоторой долей теплоты, затем попрощались с нами и ушли.

Мы присоединились к императору в саду, и наш разговор зашел о замешательстве адмирала. Император ничего не знал об этом. Все обстоятельства были исключительно результатом случая. Император заявил, что шутка прилась ему по вкусу. Он расхохотался, потер руки и изобразил радость ребенка, школьника, который удачно подшутил над своим учителем. “Ах! мой добрый Новерраз,” сказал он, “ты хоть раз в жизни совершил умный поступок. Он слышал, как я сказал, что больше не увижу адмирала, и подумал, что обязан захлопнуть дверь у него перед носом. Но этот честный швейцарец, возможно, зашел в своей шутке слишком далеко; если бы я, к несчастью, сказал, что мы должны избавиться от губернатора, он был бы за то, чтобы убить его на моих глазах. В конце концов,” сказал Император, принимая более серьезный тон, - это была полностью вина губернатора. Он должен был попросить, чтобы адмирал был допущен, тем более что он сообщил мне, что может быть представлен только им. Почему, опять же, он не потребовал допуска адмирала, когда представлял мне своих офицеров? Виноват исключительно он. Но, - продолжал он, “адмирал ничего не потерял из-за этой ошибки. Я бы без колебаний обратился к нему с апострофией в присутствии его соотечественников. Я должен был сказать ему, что из-за чувства, связанного с почетной униформой, которую мы оба носили сорок лет, я обвинил его в том, что в глазах всего мира он унизил свою нацию и своего Суверена, бессмысленно и глупо проявив неуважение к одному из старейших солдат Европы. Я должен был бы упрекнуть его в том, что он высадил меня на острове Святой Елены точно так же, как он высадил бы каторжника в Ботани-Бей. Я должен был заверить его, что человек истинной чести окажет мне больше уважения на моей скале, чем если бы я все еще сидел на своем троне

и был окружен своими армиями. Сила и дух этих замечаний положили конец нашему веселью и положили конец разговору.

Поскольку я таким образом упомянул адмирала и поскольку он сейчас собирается покинуть нас, я раз и навсегда подведу итог оскорблениям, в которых мы можем его упрекнуть, со всей беспристрастностью, какую позволяет наше положение и состояние наших чувств.

Мы не можем простить ему наигранную фамильярность, с которой он обращался с нами, хотя наше поведение ее мало поощряло. Еще меньше мы можем простить его за то, что он попытался распространить эту фамильярность на императора. Мы никогда не сможем забыть надменный и самодовольный вид, с которым он обращался к Наполеону, называя его *генералом*. Император, это правда, увековечил этот титул; но тон и намерение, с которыми он был применен, были достаточно оскорбительными.

По прибытии на остров Святой Елены он поселил императора в маленькой комнате площадью в несколько квадратных футов, где продержал его два месяца, хотя можно было бы найти и другое жилье, и адмирал сам выбрал одно. Он косвенно запретил императору ездить верхом даже на территории, прилегающей к Шиповнику; и люди из свиты императора испытывали смущение и унижения, когда приходили наносить ему ежедневные визиты в его маленькую келью.

Когда мы переехали в Лонгвуд, он расставил часовых под самыми окнами императора; а затем, в уклончивой форме, отдававшей горьчайшей иронией, он заявил, что этот шаг был предпринят только с целью обеспечения собственной выгоды и защиты *генерала*. Он никому не позволял приближаться к нам без записки от него и, поместив нас таким образом в тесное заточение, заявил, что эти меры были приняты исключительно для того, чтобы обезопасить императора от назойливости, и что он (адмирал) просто исполнял роль *великого маршала*. Он дал бал и отправил письменное приглашение *генералу Бонапарту* таким же образом, как и всем членам свиты. Он ответил самыми неподобающими насмешками на записки Великого маршала, который использовал титул *императора*, сказав, что он не знает ни *императора* на острове Святой Елены, ни какого-либо подобного Государя в Европе или где-либо еще, который не находился бы в своих владениях. Он отказался переслать письмо императора принцу-регенту, если только оно не будет доставлено ему открытым или ему не будет разрешено прочитать его. Он даже подавлял чувства и выражения уважения, которые другие люди проявляли к Наполеону. Нас заверили, что он подвергал аресту лиц, находившихся в низшем положении, только за то, что они использовали титул императора или другие подобные выражения; которые, однако, часто использовались в 53-м полку, несомненно, как заметил император, из-за непреодолимого чувства, которым были вдохновлены эти храбрые люди.

Адмирал, руководствуясь своим личным капризом, ограничил наши поездки верхом. По этому поводу он даже нарушил свое слово, данное императору. В тот момент, когда он, казалось, был несколько склонен пойти на уступки, он заверил Наполеона, что может свободно передвигаться по всем частям острова, не испытывая раздражения даже при виде английского офицера, назначенного его охранять. Но через несколько дней после этого, как раз когда Наполеон собирался сесть на лошадь, чтобы отправиться завтракать в тенистое местечко на некотором расстоянии от нашей резиденции, он оказался перед необходимостью отказаться от этого маленького удовольствия. Офицер заявил, что отныне он должен быть одним из отряда и ехать рядом с ним. С этого момента император отказался видеть адмирала. Более того, последний пренебрегал самыми обычными формами этикета, всегда устанавливая неподходящие часы для

своих визитов и предписывая незнакомцам, прибывавшим на Остров, выбирать такие же неподходящие периоды для посещения императора. Это, без сомнения, было сделано с целью воспрепятствовать людям получить доступ к Наполеону, который постоянно отказывался показываться на глаза в подобных случаях. Уже говорилось, что адмирал действовал таким образом, когда губернатор нанес свой первый визит в Лонгвуд; и удовлетворение, которое он выказал по поводу плохого приема губернатора, слишком явно выдавало его замысел.

Однако, если бы от нас потребовали высказать о нем беспристрастное мнение, принимая во внимание раздражительность наших собственных чувств и деликатность его положения, мы должны были бы без колебаний заявить, что наши претензии основывались на формах, а не на фактах. Мы должны были бы сказать вместе с императором, который, в конце концов, питал к нему естественную склонность, что адмирал Кокберн далек от того, чтобы быть человеком недоброжелательным, что он даже восприимчив к великодушным и деликатным чувствам; но что он капризен, вспыльчив, тщеславен и властолюбив: что это человек, который привык к власти и пользуется ею нелюбезно, часто заменяя достоинство энергией. Чтобы выразить в нескольких слов характер наших отношений по отношению к нему, мы должны сказать, что как тюремщик он был мягким, гуманным и щедрым, и что у нас есть основания быть благодарными ему; но как хозяин он обычно был невежлив, часто даже хуже, и что за этот характер у нас есть причины быть им недовольными.

Около двух или трех часов дня император вышел на свой обычный проветривание. Во время нашей прогулки по саду и поездки в коляске он много рассказывал о событиях утра, и разговор на эту тему возобновился после обеда. Кто-то в шутку заметил, что два первых дня приезда губернатора были похожи на дни сражений и были рассчитаны на то, чтобы выставить нас в крайне неприветливом свете, хотя мы, естественно, были очень терпеливы и сговорчивы. При этих последних словах император улыбнулся и ущипнул за ухо человека, сделавшего это замечание.

Затем разговор зашел о сэре Хадсоне Лоу. Его описали как мужчину примерно сорока пяти лет, обычного роста, худощавого телосложения, с рыжими волосами, румяным лицом и веснушками. Говорили, что у его глаз было косое выражение; они смотрели искоса, редко полностью останавливаясь на лице человека; их венчали светлые, кустистые и очень выпуклые брови. "Он отвратителен," сказал император, - у него самое злодейское выражение лица. Но мы не должны принимать слишком поспешных решений; расположение духа этого человека, возможно, компенсирует неблагоприятное впечатление, производимое его лицом; в этом нет ничего невозможного".

## КОНВЕНЦИЯ МОНАРХОВ В ОТНОШЕНИИ НАПОЛЕОНА. — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.

18-е число. Несколько дней назад погода была ужасной, но сегодня немного прояснилось. Император рано вышел прогуляться по саду; около 4 часов он сел в коляску и проветрился дольше обычного. Перед обедом император пожелал, чтобы я перевел ему Соглашение союзных государей относительно его пленения. Оно было следующим:—

## КОНВЕНЦИЯ Между ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ, АВСТРИЕЙ, ПРУССИЕЙ И РОССИЕЙ. — *Подписана в Париже 20 августа 1815 г.*

"Наполеон Бонапарт, находясь во власти союзных Государей, их Величеств короля Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, императора Австрии, Императора России и короля Пруссии, договорились, в силу положений мирного договора от 25 марта 1815 года, о мерах, наилучшим образом рассчитанных для предотвращения возможности его каких-либо попыток нарушить мир в Европе.

"Статья I.—Державы, подписавшие мирный договор 20 марта прошлого года, считают Наполеона Бонапарта своим пленником.

"Статья II. — Его охрана особо поручена британскому правительству.

"Выбор места и меры, которые могут наилучшим образом обеспечить достижение цели настоящего соглашения, принадлежат его Британскому Величеству.

"Статья III. Императорские дворы Австрии и России и Королевский двор Пруссии назначат уполномоченных для проживания в месте, которое правительство его Британского Величества назначит резиденцией Наполеона Бонапарта, и которые, не отвечая за его безопасность, будут сами обеспечивать его присутствие.

"Статья IV. Его Христианнейшему Величеству предлагается от имени четырех вышеупомянутых судов также направить французского комиссара к месту заключения Наполеона Бонапарта.

"Статья V.Его—Его Величество король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии обязуется выполнять обязательства, возложенные на него настоящей конвенцией.

"Статья VI. Настоящая конвенция подлежит ратификации, и обмен ратификационными грамотами производится в течение двух недель или, по возможности, раньше.

"В силу чего соответствующие Полномочные представители подписали настоящую конвенцию и скрепили ее своими печатями.

“Дано в Париже 20 августа 1815 года от рождества Христова”.

Когда я закончил перевод этого документа, император спросил меня, что я о нем думаю.

“Сир, ” ответил я, - в той ситуации, в которой мы оказались, я предпочел бы зависеть от интересов одного человека, чем от сложного решения четырех. Англия, очевидно, продиктовала этот договор. Вы видите, как тщательно она оговаривает, что она одна несет ответственность за заключенного и распоряжается им. Она трудилась над тем, чтобы снабдить себя рычагом Архимеда, и поэтому маловероятно, что у нее возникнет какая-либо мысль сломать его ”.

Император, не объясняя своих мыслей по этому поводу, сослался на различные шансы, которые могли бы привести к его освобождению с острова Святой Елены, и сделал следующие замечательные замечания: “Если государи Европы будут действовать мудро и преуспеют в полном восстановлении порядка, мы не будем стоить тех денег и хлопот, которых должно стоить наше пребывание здесь, и они избавятся от нас. Но наш плен все еще может затянуться на несколько лет, возможно, на три, четыре или пять. В противном случае, оставляя в стороне

случайные события, которые находятся за пределами человеческого предвидения, я рассчитываю только на два неопределенных шанса на наше освобождение: во-первых, монархам может понадобиться моя помощь в подавлении восстания среди их подданных; и, во-вторых, народам Европы может потребоваться моя помощь в борьбе, которая может возникнуть между ними и их монархами. Я прирожденный арбитр и посредник в огромном конфликте между настоящим и прошлым. Я всегда стремился быть высшим судьей в этом деле. Моя администрация дома и моя дипломатия за границей - все это вело к этой великой цели. Решение вопроса могло быть принято более легко и быстро; но судьба распорядилась иначе. Наконец, есть последний шанс, который, возможно, наиболее вероятен из всех; возможно, от меня потребуют сдерживания могущества русских; ибо менее чем через десять лет вся Европа может быть наводнена казаками или подчинена республиканскому правительству. Однако таковы государственные деятели, которые привели к моему свержению". Затем, возвращаясь к решению монархов в отношении него, он заметил, что трудно объяснить стиль документа и злобный дух, который им пронизан.

"Император Франциск, - сказал он, " благочестивый государь, а я его зять. Что касается Александра, то мы когда-то любили друг друга. Что касается короля Пруссии, то я, несомненно, причинил ему много вреда, но я мог бы причинить ему гораздо больше; и в конце концов, разве он не мог обрести настоящую славу и самодовольство, отличившись великодушием? Что касается Англии, то всем этим я обязан враждебности ее министров. Но принцу-регенту оставалось наблюдать и вмешиваться, иначе его заклеили бы как дурака и покровителя вульгарной злобы. Однако одно несомненно, а именно: своим обращением со мной союзные монархи скомпрометировали, унизили и потеряли самих себя".

## ДЕКЛАРАЦИЯ, КОТОРУЮ ОТ НАС ПОТРЕБОВАЛ ГУБЕРНАТОР.

19. Этим утром великий маршал и мадам Бертран вышли в сад, поскольку император выразил намерение позавтракать там; но поскольку он провел очень беспокойную ночь и не спал, он позавтракал в своей комнате.

Губернатор официально уведомил нас, что каждый из нас должен отправить ему заявление, выражающее нашу добровольную решимость остаться в Лонгвуде и подчиниться всем ограничениям, которых может потребовать плен Наполеона. Мой был следующим: —

*Заявление.* — "Я, нижеподписавшийся, повторяю заявление, которое я сделал, находясь в Плимут-роудс; а именно, что я желаю посвятить себя судьбе императора Наполеона, сопровождать его, следовать за ним и смягчать, насколько это в моих силах, несправедливое обращение, которому он подвергается, посредством самого неслыханного нарушения международного права, в котором я особенно остро ощущаю, поскольку именно я передал ему предложение и заверения капитана Мейтленда с "Беллерофонта", утверждающего, что у него есть приказ получить императора и его свиту под защитой британского флага, если он того пожелает, и доставить его в Англию.

"Письмо императора Наполеона принцу-регенту, которое известно всей Англии и которое я ранее передал капитану Мейтленду, не сделав по этому поводу ни малейшего замечания, объясняет миру гораздо лучше, чем что-либо, что я могу сказать, насколько откровенно император встретил это предложение гостеприимства и, следовательно, насколько он был одурачен его искренностью и доверием.

"Несмотря на то, что я испытал ужасы пребывания на острове Святой Елены, столь пагубные для здоровья императора и каждого европейца, и хотя в течение шести месяцев, которые мы провели на острове, я подвергался всевозможным лишениям, которые я сам ежедневно умножаю, чтобы избежать, насколько это возможно, нарушения того уважения, которого требуют мое положение и привычки, все же, оставаясь верным своим первоначальным чувствам и решив, что в будущем ни страх перед несчастьем, ни надежда на выгоду не должны разлучать меня с семьей". Император Наполеон, я повторяю свое желание остаться с ним и подчиниться любым ограничениям, которые могут быть произвольно наложены на него".

## ПРОЩАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПОКОЙНОГО ГУБЕРНАТОРА.—ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР.— ЗАМЕЧАНИЕ СТАРОГО АНГЛИЙСКОГО СОЛДАТА.

20—го.-Полковник Уилкс, накануне своего отъезда в Европу, зашел со своей дочерью проститься с императором. Юную леди представила мадам Бертран. Я уже упоминал, что полковник Уилкс ранее был губернатором колонии от Ост-Индской компании; его сменил адмирал от имени короля, когда вследствие нашего переезда на остров Святой Елены остров был передан из владения Компании в собственность правительства.

Император был в удивительно веселом расположении духа. Некоторое время он беседовал с дамами, а затем отвел полковника Уилкса в сторону, к нише у одного из окон, куда я последовал в качестве переводчика.

Полковник. Уилкс, как я, вероятно, упоминал ранее, долгое время был дипломатическим агентом Компании на Индийском полуострове; он написал историю этой страны. Он человек обширной информации и обладает большими познаниями в химии. Таким образом, он был одновременно солдатом, писателем, дипломатом и химиком. Император задавал ему вопросы по всем этим предметам и сам излагал их с большой беглостью и воодушевлением. Беседа была оживленной и разнообразной; она продолжалась более двух часов. Ниже приведены основные детали, которые я записал. Вероятно, я в какой-то мере повторяю то, что говорил раньше, поскольку император и полковник Уилкс несколько месяцев назад долго беседовали точно на те же темы; но это не имеет значения; эти темы настолько интересны, что я скорее рискну повторить, чем потерять что-либо, связанное с ними.

Император начал с рассказа об английской армии, ее организации и, в частности, о системе продвижения по службе. Он сравнил ее с французской армией и повторил то, что я уже говорил ранее относительно превосходного состава наших вооруженных сил, преимущества воинской повинности и храбрости наших войск. Затем, перейдя к теме политики, он сказал: "Вы потеряли Америку из-за освобождения: вы потеряете Индию из-за вторжения. Первая потеря была совершенно естественной; по мере взросления дети разрывают родительские узы. Но для индусов они вообще не продвигаются вперед. Они все еще остаются детьми. Следовательно, катастрофа может произойти только извне. Вы не осознаете всех опасностей, которым вам угрожало мое оружие или мои переговоры. Что касается моей континентальной системы, вы, возможно, смеялись над ней?" "Сир, " ответил полковник, - мы делали вид, что поступаем так, но все здравомыслящие люди почувствовали всю силу этого". — "Что ж, - продолжал император, - я был одинок в своем мнении на Континенте; и я был вынужден в данный момент повсюду прибегать к насилию. Наконец мой план начал проясняться. Дерево уже приносит свои плоды. Я положил начало; остальное сделает время.... Если бы я сохранил свою власть, я бы

изменил ход торговли и направление промышленности. У меня были натурализованные сахар и индиго во Франции, и я должен был натурализовать хлопок и многие другие товары иностранного производства. Я бы разорил Колонии, если бы нам по-прежнему отказывали в их доле.

“У нас импульс был самым мощным. Национальное процветание и наука достигли невероятных высот. И все же ваши министры провозгласили по всей Европе, что французы охвачены нищетой и скатываются к состоянию варварства. Таким образом, вид нашего внутреннего процветания странным образом удивил простолюдинскую массу и даже привел в замешательство более мыслящую часть европейской общественности. Успехи в области знаний во Франции были гигантскими. Идеи французского народа повсюду были должным образом направлены и расширены. Мы приложили все усилия, чтобы популяризировать науку. Мне сообщили, что ваши соотечественники отличались своими познаниями в химии, и все же я не берусь решать, по чью сторону баррикад можно найти самого способного химика”. - Во Франции, - немедленно ответил полковник.

“Это не имеет большого значения, - продолжал император, “ но я утверждаю, что в массе французского народа в десять, а может быть, и в сто раз больше химических знаний, чем в Англии; потому что промышленные классы теперь используют эту науку в своем повседневном труде. Это было одной из отличительных черт моей школы. Если бы мне дали достаточно времени, вскоре во Франции не существовало бы такого понятия, как ремесло; все они были бы превращены в искусство”.

В заключение император сделал следующие замечательные замечания: "Англия и Франция держали в своих руках судьбу мира; и особенно судьбу европейской цивилизации. Какой вред мы только не причинили друг другу!—Чего только хорошего мы не могли бы сделать! При системе Питта мы опустошили мир; и каков результат? Вы обложили Францию налогом в полторы тысячи миллионов франков и собрали его с помощью казаков. Я наложил на вас налог в размере семи тысяч миллионов и заставил вас поднять его своими собственными руками, вашим парламентом. Даже сейчас, после одержанной вами победы, кто может сказать, не падете ли вы рано или поздно под тяжестью такого бремени? - С системой Фокса мы бы поняли друг друга; мы бы достигли и сохранили освобождение наций, господство принципов. Европа была бы представлена лишь единым флотом и единой армией. Мы могли бы править миром. Мы могли бы повсюду установить мир и процветание либо силой, либо убеждением. Да, я повторяю это, какого зла мы только не натворили! Чего хорошего мы могли бы не совершить!"

Никогда еще Наполеон не был в более разговорчивом настроении. Он не раз смеялся над моими попытками не отставать от многословия, с которым он излагал свои наблюдения. Что касается полковника, то он удалился, пораженный и сбитый с толку тем, что услышал.

Когда он ушел, император еще долго продолжал беседовать в гостиной. После этого он вышел в сад, несмотря на плохую погоду, и послал за всеми нами, чтобы мы присоединились к нему. Он пожелал прочесть сделанные нами заявления; они стали предметом разговора.

Сегодня сюда прибыли четыре корабля из Европы. На борту у них был 66-й полк, и они покинули Англию раньше Фаэтона, который привез нового губернатора сэра Хадсона Лоу.

После обеда император добродушно рассказал о замечании, сделанном старым солдатом 53-го полка, который, впервые увидев его вчера, вернулся к своим товарищам и сказал: "Какую ложь

они мне наговорили о возрасте Наполеона; он совсем не стар; этот парень все еще достаточно молод, по крайней мере, для шестидесяти кампаний". Нам показалось, что это выражение очень похоже на французское, и мы утверждали, что оно исходило от одного из наших гренадеров. Затем мы рассказали ему о ряде *любезностей*, сделанных нашими солдатами во время его отсутствия и по его возвращении, которые его очень позабавили. Но что особенно взволновало его, так это смехотворный ответ, сделанный гренадером в Лионе. Сразу после того, как император высадился на берег, возвращаясь с Эльбы, там состоялся грандиозный смотр. Командир заметил своим солдатам, что они хорошо одеты и хорошо накормлены, что их жалование можно увидеть на их лицах: "Да, конечно", - ответил гренадер, к которому он обратился. — "Ну! - продолжал офицер с уверенным видом. - При Бонапарте все было не так. Вы просрочили жалование, он был у вас в долгу?" — "И что бы это значило, - бойко спросил гренадер, - если бы мы решили отдать ему должное?"

## ПОСЛАНИЕ ИМПЕРАТОРА ПРИНЦУ—РЕГЕНТУ.—ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.— ПОРТФЕЛЬ, ПОТЕРЯННЫЙ ПРИ ВАТЕРЛОО.—О ПОСЛАХ.—М. ДЕ НАРБОНН.— НАПОЛЕОН НА ГРАНИ ВЗЯТИЯ В ПЛЕН В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ БИТВЫ Под МОСКВОЙ.—РАСХОДЫ НА ТУАЛЕТ ИМПЕРАТОРА.—РАСХОДЫ НА СЕМЕЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО В РАЗНЫХ СТОЛИЦАХ ЕВРОПЫ.—МЕБЛИРОВКА ДОМА НАПОЛЕОНА На УЛИЦЕ ВИКТУАР.—ОБУСТРОЙСТВО ИМПЕРАТОРСКИХ ДВОРЦОВ.-МЕТОД ИМПЕРАТОРА ПРОВЕРЯТЬ СВОИ СЧЕТА.

21-го. Около четырех часов император послал за мной, чтобы я присутствовал при нем в саду в качестве переводчика. Капитан Гамильтон, командир фрегата "Гаванна", должен был на следующий день отплыть в Европу и вместе со своими офицерами пришел проститься с императором. Капитан Гамильтон говорил по-французски. Когда я присоединился к компании в саду, император выражал свои чувства с теплотой.

“ Они хотят знать, чего я желаю? - спросил он. “ Я требую свободы или смерти. Передайте эти слова вашему принцу-регенту. Я больше не прошу известий о моем сыне, поскольку у них хватило варварства оставить мою первую просьбу без ответа.... Я не был вашим пленником. Дикари отнеслись бы к моему положению с большим уважением. Ваши министры в моем лице подло нарушили священные права гостеприимства; они навсегда опозорили Англию!”

Капитан Гамильтон осмелился заметить, что Наполеон был пленником не только Англии, но и всех союзных держав, и император тепло продолжил; “Я не сдавался России, там меня, несомненно, хорошо приняли бы; я не сдавался Австрии, там со мной обошлись бы так же хорошо; но я сдался Англии по своей собственной воле и выбору, потому что я доверял ее законам и общественной морали. Я был жестоко обманут! Но Небеса отомстят за мои обиды, и рано или поздно вы понесете наказание за поступок, в котором человечество уже упрекает вас! - Повторите все это принцу-регенту, сэр. Последние слова он сопровождал движением руки и отпустил капитана.

Мы погуляли несколько минут, и по возвращении великого маршала, который сопровождал капитана Гамильтона на небольшом расстоянии, мы подумали, что будет уместно оставить его наедине с императором; но едва я вошел в свою комнату, как он послал за мной. Он был один в своей квартире; он спросил меня, не надоело ли мне уединяться в течение дня. Я сказал ему, что только чувство уважения и осмотрительности побудили меня покинуть его. На это он

ответил, что для этого не было никакого повода, поскольку не произошло ничего такого, из чего он хотел бы сделать тайну. “Кроме того, - добавил он, - определенная степень свободы и непринужденности не лишена своего очарования”. Эти слова, небрежно сорвавшиеся с губ Наполеона, могут лучше показать его характер, чем сотни страниц.

Затем мы просмотрели английскую публикацию, содержащую официальные документы, найденные в его портфеле, который был сделан при Ватерлоо. Император сам был поражен количеством приказов, которые он отдал почти в один и тот же момент, и бесчисленными деталями, которыми он распоряжался во всех частях империи. “В конце концов, эта публикация, - сказал он, - не может причинить мне вреда. По крайней мере, она убедит каждого в том, что ее содержание не является плодом лени. Они будут сравнивать меня с законными Монархами, и я не пострадаю от этого сравнения”.

После обеда император беседовал на несколько несвязанных тем. Говоря о своих посланцах, он сказал, что считает г-на де Нарбонна единственным, кто полностью заслужил этот титул и действительно выполнил свои служебные обязанности. “И это, ” сказал он, “ благодаря особым преимуществам не только его талантов, но и его старомодной морали, его манерам и его имени. Когда посол должен просто предписывать, любой может занять этот пост; один человек ничем не хуже другого; возможно, адъютант - лучший человек, которого можно выбрать. выбрали. Но когда необходимо вести переговоры, дело обстоит совершенно иначе. В таком случае необходимо представить старой аристократии Дворов Европы только элементы той аристократии, которая, по сути, представляет собой своего рода вольное масонство. Если бы Отто или Андреосси вошли в венские салоны, обмен мнениями прекратился бы; привычные манеры прекратились бы. На них смотрели бы как на незваных гостей и профанаторов, и тайны дипломатии были бы приостановлены. Но насколько иначе все было бы с Нарбоннами, обладающими преимуществами родства, симпатии и самобытности! Дама из старой знати, возможно, уступила бы свою особу плебею, хотя и не открыла бы ему секретов аристократии”.

Император был очень привязан к господину де Нарбонну и глубоко сожалел о нем. Он заметил, что сделал его своим адъютантом только потому, что Мария Луиза из-за интриг лиц, составлявших ее свиту, отказалась назначить его своим кавалером чести - должности, для которой он был идеально приспособлен. “До периода его посольства, - продолжал император, - Австрия обманывала нас. Менее чем за две недели г-н де Нарбонн проник во все секреты венского кабинета министров, и г-н де Меттерних был глубоко огорчен этим назначением. Однако, возможно, по странной случайности, даже успех господина де Нарбонна опроверг мои взгляды. Я обнаружил, что его талант был не менее фатальным, чем полезным. Австрия, полагая, что ее замыслы разгаданы, сбросила маску и предприняла опрометчивые шаги. Если бы с нашей стороны было проявлено меньше проницательности, она действовала бы с большей сдержанностью и обдуманностью. Она бы продлила свою естественную нерешительность, а тем временем могли бы появиться другие шансы”.

Кто-то из присутствующих упомянул посольства Дрездена и Берлина и, по-видимому, был склонен возложить вину на наших дипломатических агентов при этих дворах во время возвращения из Москвы, император ответил, что в то время вину следовало приписывать не людям, а вещам; что с первого взгляда любой мог предвидеть, что произойдет; и что, со своей стороны, он ни на минуту не обманулся. Он добавил, что если он лично не повел армию обратно в Вильну и в Германию, то только из-за страха, что не сможет сам добраться до Франции. По его

словам, он хотел бы избежать этой неминуемой опасности смелостью своих передвижений, быстро и в одиночку пересекая Германию. Однако он был на грани того, чтобы быть схваченным в Силезии: “но, к счастью, - сказал он, - пруссаки раздумывали в тот момент, когда им следовало действовать. Их поведение в этом отношении было похоже на то, которое саксонцы наблюдали по отношению к Карлу XII, который сказал, покидая Дрезден по аналогичному случаю: ””Вы” увидите, что завтра они проведут совещание о целесообразности моего задержания сегодня”.”

Перед обедом император позвал меня к себе в кабинет, чтобы повторить с ним несколько упражнений по английскому языку. Он сказал мне, что только что подсчитывал расходы на свой туалет и что это обходилось ему примерно в четыре наполеона в месяц. Мы посмеялись над необъятностью бюджета. Он говорил о том, чтобы заказать кое-какую одежду, обувь, ботфорты и т. Д. У европейских торговцев, у которых были его мерки. Я думал, что это будет сопряжено с серьезными неудобствами, и, поразмыслив, мы пришли к убеждению, что это никогда не будет разрешено.

“Однако, - заметил император, “ крайне досадно быть таким образом лишенным денег; и я хотел бы прийти к какому-нибудь соглашению по этому вопросу. Как только мне будет представлен законопроект, который должен определить наше положение здесь, я намерен принять меры для получения ежегодного займа в размере семи-восьми миллионов наполеонов от Эжена. Он не может мне отказать. Он получил от меня, возможно, свыше сорока миллионов; и было бы оскорблением для его чувств усомниться в его готовности служить мне. Кроме того, у нас с ним давние счета, которые нужно свести вместе. Я уверен, что если бы я назначил комитет из моих государственных советников для составления отчета по этому вопросу, они представили бы мне баланс по меньшей мере в десять или двенадцать миллионов против Юджина”.

За обедом император задал нам несколько вопросов относительно суммы, необходимой холостяку для проживания в европейской столице, или для содержания простого семейного хозяйства, или для поддержания семьи в элегантном стиле. Ему нравятся эти вопросы и расчеты; он обращается с ними с большой проницательностью и вникает в самые любопытные детали.

Каждый из нас представил свои бюджеты и согласился, что проживание в Париже обойдется в 15 000, 40 000 и 100 000 франков. Император много останавливался на ценах на различные предметы и даже на ценах на одни и те же предметы, поскольку они назначаются разным лицам и при разных обстоятельствах.

“Когда я собирался покинуть итальянскую армию, - сказал он, - чтобы вернуться в Париж, мадам Бонапарт написала мне, чтобы сообщить, что она обставила в лучшем стиле маленький домик, который у нас был на *улице Виктуар*. Дом стоил не больше 40 000 франков. Каково же было мое удивление и досада, когда я обнаружил, что за мебель для гостиной, которая, в конце концов, не показалась мне чем-то необычным, была заплачена огромная сумма - от 120 до 130 000 франков. Напрасно я протестовал; я был вынужден заплатить эту сумму. Обойщик показал мне инструкции, которые он получил и которые требовали, чтобы каждая вещь была самой лучшей в своем роде. Каждая вещь была изготовлена по новому дизайну, а сами дизайны были изобретены специально для обустройства моего дома. Любой судья, рассматривавший это дело, наверняка осудил бы меня ”.

Затем император упомянул о непомерных расходах, потраченных на обустройство императорских дворцов, и об огромной экономии, которую он сэкономил на этом вопросе. Он назвал нам цену трона, императорских украшений и т. Д. Нет ничего более любопытного, чем услышать, как он подробно описывает эти расходы вместе с его собственными планами экономии. Как сильно я сожалею, что не записал их в то время! Следующие сведения помогут показать некоторые методы, которые он использовал для подтверждения правильности представленных ему отчетов: —

Однажды, когда он вернулся в Тюильри, который был великолепно обставлен за время его отсутствия, окружающие стремились привлечь его внимание ко всей новой мебели и украшениям. Выразив свое удовлетворение всем, что он увидел, он подошел к окну, завешенному богатой занавеской, и, попросив ножницы, срезал великолепный золотой желудь, который был подвешен к портьеру, и, хладнокровно положив его в карман, продолжил осмотр, к великому изумлению всех присутствующих, которые не могли догадаться о его мотивах. Несколько дней спустя, на приеме, он достал из кармана желудь и отдал его человеку, который следил за обстановкой дворца. “Вот, - сказал он, - Боже упаси меня подумать, что вы меня обкрадываете; но кто-то, несомненно, обокрал вас. Вы заплатили за это на треть выше его стоимости. Они обошлись с тобой так, словно ты был управляющим у знатного вельможи. Ты заключил бы более выгодную сделку, если бы тебя не знали. Дело в том, что Наполеон, выйдя однажды утром переодетым (что у него часто входило в привычку), зашел в несколько магазинов на улице Сен-Дени, где поинтересовался ценой украшений, подобных тем, которые он вырезал из занавески, и стоимостью различных предметов мебели, подобных тем, что были поставлены для дворца, и таким образом, как он сказал, пришел к результату в простейшей форме. Каждый знал его привычки в этом отношении. Таковы, по его словам, были его грандиозные планы по обеспечению внутренней экономики, которые, несмотря на его чрезвычайное величие, были выполнены с предельной степенью точности и регулярности.

Несмотря на свои многочисленные занятия, он сам пересматривал все свои отчеты; но у него был свой собственный метод делать это, и они всегда представлялись ему во всех подробностях. Он бросал взгляд на первую статью, например, сахар, и, обнаружив несколько тысяч фунтов, он брал ручку и спрашивал человека, составлявшего счета: “Сколько человек в моем доме?” — “Сир, столько—то” (и нужно было немедленно давать ответ.) — “И сколько, по—вашему, фунтов сахара они потребляют в среднем в день?” - “Сир, столько-то”. - Он немедленно производил подсчет и, удовлетворившись, возвращал бумагу со словами: “Сэр, я удвоил вашу оценку ежедневного потребления, и все же вы сильно превысили планку. Ваш отчет ошибочен. Перескажите это еще раз и позвольте мне быть более корректным”. Этого упрека было бы достаточно, чтобы установить строжайшую регулярность. Так, он иногда говорил о своей частной, как и общественной, администрации: “Я ввел такой порядок и применил столько сдержек, что на меня нельзя сильно давить. Если со мной вообще поступят несправедливо, я оставляю виновного человека решать этот вопрос с его собственной совестью. Он не утонет под тяжестью своего преступления, потому что оно не может быть очень тяжелым”.

## ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА В МОЮ КВАРТИРУ.—КРИТИКА "МАГОМЕТА" ВОЛЬТЕРА.— ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МАГОМЕТЕ.—ГРЭТРИ.

22-25. Вот уже несколько дней погода была очень плохой. Император прекратил свои утренние прогулки и с большей регулярностью занялся различными делами. Каждое утро он диктовал рассказ о событиях 1814 года.

Сэр Хадсон Лоу посетил наше заведение. Он вошел в мою квартиру и оставался там четверть часа. Он выразил сожаление по поводу неудобств, которым мы подвергались, и заметил, что нас разместили на бивуаках, а не в квартирах. Он был прав: гофрированная бумага, которой были отделаны комнаты, уже начала поддаваться воздействию жаркого климата; когда светило солнце, я задыхался, а когда шел дождь, меня заливало водой. Сэр Хадсон Лоу сказал, что он даст указания, как устранить это зло, насколько это возможно, и вежливо добавил, что он привез с собой около 1500 или 2000 французских томов, которые, как только они будут разложены, он с большим удовольствием предоставит к нашим услугам.

Расин и Вольтер занимали нас в течение этих двух или трех вечеров. Федра и Аталия, которые читал нам император, доставили нам восхитительное развлечение, поскольку его наблюдения и комментарии придавали двойственный интерес тому, что он читал.

Магомет был предметом острой критики. “Вольтер, - сказал император, - в характере и поведении своего героя отошел как от природы, так и от истории. Он унизил Магомета, заставив его опуститься до самых низких интриг. Он олицетворял великого человека, который изменил облик мира, действуя как негодяй, достойный виселицы. Не менее абсурдно он пародировал характер Омара, которого изобразил как головореза в мелодраме.

“Вольтер совершил фундаментальную ошибку, приписав интриге то, что было исключительно результатом общественного мнения. Те, кто произвел великие перемены в мире, никогда не преуспевали в завоевании власти над вождями, но всегда возбуждали толпу. Первое является источником интриги и дает лишь второстепенные результаты: второе - это проявление гения, преображающее облик вселенной!”

Император, обратившись к исторической правде, выразил свое неверие всему, что приписывалось Магомету. “Он, несомненно, был таким же, как все главы сект”, - сказал он. “Коран, написанный через тридцать лет после его смерти, возможно, содержал много лжи. Империя Пророка, его учение и его миссия были установлены и выполнены, и люди могли и должны были говорить соответственно. И все же остается объяснить, каким образом могущественное событие, в котором мы уверены, действительно имело место, а именно завоевание мира, могло быть осуществлено за короткий промежуток в пятьдесят или шестьдесят лет. Кем оно было осуществлено? Ордами пустыни, которые, как нам сообщили, были немногочисленны, невежественны, невоинственны, недисциплинированы и лишены системы. И все же они противостояли цивилизованному миру, изобилующему ресурсами. Фанатизм не мог совершить этого чуда, ибо у фанатизма должно было быть время установить свое господство, а карьера Магомета длилась всего тринадцать лет”. — Император полагал, что, независимо от случайных событий, благодаря которым иногда совершаются чудеса, в этом случае должно было быть какое-то скрытое обстоятельство, которое не дошло до нашего сведения. Он придерживался мнения, что Европа, несомненно, утонула под воздействием какой-то первопричины, о которой мы ничего не знаем; что различные расы людей, внезапно

вышедшие из пустынь, возможно, были вовлечены в длительные гражданские войны, в которых могли восстать люди героического характера и большого таланта и были созданы непреодолимые импульсы.

Во всем, что касается восточных дел, Наполеон существенно отходил от общепринятых мнений, почерпнутых из книг, которые обычно считаются авторитетными. Он сказал, что по этому поводу у него были особые идеи, хотя, возможно, они были не очень четко сформулированы; и что его экспедиция в Египет привела к такому результату в его сознании.

“Но вернемся к Вольтеру, - сказал он, - удивительно, насколько плохо его драмы приспособлены для чтения.— Когда критика и хороший вкус не обманываются великолепием дикции и сценической иллюзией, он сразу теряет тысячу процентов. Едва ли можно поверить, ” продолжал он, “ что во время Революции Вольтер вытеснил Корнеля и Расина. Красота этих двух великих драматургов дремала до тех пор, пока Первый консул снова не обратил на них внимания”.

Император говорил правду. Совершенно очевидно, что, вернув нас к цивилизации, он в то же время вернул нам хороший вкус. Он возродил наши национальные драматические и лирические шедевры - даже те, которые были запрещены по политическим причинам. Таким образом, Ричард Львиный крест снова появился на сцене, хотя нежный интерес как бы посвятил его бурбонам.

“Бедняга Гретри, - сказал император, - долго уговаривал меня разрешить постановку оперы. Это был довольно опасный эксперимент, и было предсказано бурное возмущение. Представление, однако, прошло без каких-либо неприятных обстоятельств, и я приказал повторять его неделю или две подряд, пока публика полностью не устанет от него. Очарование было нарушено, и “Ричарда” продолжали разыгрывать, как любую обычную пьесу, до тех пор, пока бурбоны, в свою очередь, не запретили ее, потому что она возбудила интерес в мою пользу”.

Говорят, что с тех пор эта странная перипетия возобновилась в связи с драмой принца Эдуарда Самозванца. Император запретил это произведение из-за бурбонов, а бурбоны недавно запретили его из-за императора.

## МОЙ ВИЗИТ В ПЛАНТЕЙШН—ХАУС.—ИНСИНУАЦИИ СЭРА ХАДСОНА ЛОУ.-ЕГО ПЕРВАЯ ЗЛАЯ ВЫХОДКА.—ПРОКЛАМАЦИИ НАПОЛЕОНА.—ЕГО ПОЛИТИКА В ЕГИПТЕ.—ЕГО ПРИЗНАНИЕ В НЕЗАКОННОМ ДЕЯНИИ.

26—го. - Я нанесла свой первый визит в Плантейшн-Хаус. Я подумала, что леди Лоу симпатичная и обходительная женщина, хотя в ней было что-то от актрисы. Сэр Хадсон Лоу женился незадолго до своего отъезда из Европы с явной целью, как говорят, заполучить жену, которая помогала бы ему приносить пользу колонии. Насколько я понимаю, эта леди была вдовой офицера полка, которым раньше командовал сэр Хадсон Лоу, и сестрой полковника, убитого при Ватерлоо.

Губернатор проявил ко мне самую подчеркнутую вежливость и внимание. Он заметил, что мы старые знакомые, хотя я и не знал об этом факте. Он сказал, что был очень польщен прочтением Атласа месье Лесажа, хотя и не мечтал, что когда-нибудь будет представлен автору. Впервые он увидел эту работу на Сицилии, куда привез ее контрабандой из Неаполя, и был неистощим в

своих похвалах ей. Он часто читал отчет о битве при Йене вместе с генералом Блюхером в штаб-квартире, где тот был английским комиссаром, во время кампании 1814 года. Он сказал, что всегда восхищался либеральными выражениями и духом умеренности и беспристрастности, которые наблюдались по отношению к Англии; но что в тот период, когда он впервые ознакомился с работой, его поразили некоторые двусмысленные пассажи, которые, казалось, дышали враждебностью или порицанием того, кто тогда руководил нами. Он добавил, что в свое время объяснял эти отрывки моим характером и доктринами эмигранта; но теперь он считает странным противоречием то, что я нахожусь здесь в окружении этого человека.

Итак, нам только что сообщили, что сэр Хадсон Лоу, находясь в Италии, был кем-то вроде начальника полиции и активным агентом системы *шпионажа*. Я не мог отделаться от подозрения, что в этих замечаниях содержался определенный намек. Если это действительно было так (а император в этом не сомневался), то, по крайней мере, с его стороны дело было организовано умно; и если бы я чувствовал меньше самоуважения, чем сейчас, я мог бы дать умный отпор, и дело могло бы затянуться. Я, однако, просто ответил, что он совершенно неправильно понял применение двусмысленных пассажей, о которых идет речь, и что они не могли иметь никакого отношения к Наполеону, поскольку я теперь был привязан к его персоне.

Вернувшись домой, я нашел две французские работы, которые сэр Х. Лоу прислал мне утром, сопроводив запиской, в которой он выражал надежду, что их прочтение доставит удовольствие императору. Будет ли это засчитано? Одна из этих работ принадлежала посольству аббата де Прадта в Варшаве. Это я могу записать как *первую злонамеренную выходку сэра Хадсона Лоу*. Работа была новинкой, это правда; но это была клевета, направленная исключительно против Наполеона.

Что касается другой книги, то, когда я впервые увидел ее, я подумал, что нашел сокровище. Я полагал, что это возместит нам недостаток "Монитор" и снабдит нас материалами, в которых мы так нуждались. В названии говорилось, что это собрание всех прокламаций и официальных документов Наполеона как генерала, первого консула и императора. Но она была опубликована клеветником Голдсмитом и была очень неполной, самые яркие бюллетени были изъяты, обращения к Законодательному органу искалечены и т.д. Но даже в таком несовершенном состоянии коллекция по-прежнему остается самым благородным памятником, который когда-либо оставил после себя человек.

После обеда император развлекся, прочитав в издательстве Голдсмита несколько своих собственных воззваний к итальянской армии. Они произвели на него сильное впечатление; они заинтересовали и взволновали его. "И все же, - сказал он, - у них хватило наглости заявить, что я не умею писать!"

Затем он обратился к своему воззванию к египетской армии и много шутил по поводу того, в котором он представлял себя вдохновленным и посланным Богом. "Это было шарлатанство, - сказал он, - но это было шарлатанство высшего порядка. Кроме того, воззвание было составлено только для того, чтобы один из самых умных шейхов перевел его высокопарными арабскими стихами. Мои французские войска, - продолжал он, - просто посмеялись над этим; и таково было их расположение в этом отношении, что, чтобы заставить их прислушаться к простому упоминанию религии, я сам был вынужден очень легкомысленно отзываться об этом предмете, ставить евреев рядом с христианами, а раввинов - рядом с епископами и т. Д."

Утверждение Голдсмита о том, что Наполеон переоделся в мусульманское платье, абсолютно ложно. По его словам, если он когда-либо и входил в мечеть, то всегда как завоеватель, а не как верующий. Он был слишком серьезен и слишком уважал себя, чтобы действовать двусмысленно в этом вопросе.

“В конце концов, - весело продолжал он, - это было бы не так уж и необычно, даже если бы обстоятельства побудили меня принять исламизм; и, как однажды сказала добрая королева Франции: *”Вы будете так много говорить со мной об этом!”*... Но у меня, должно быть, были веские причины для моего обращения. Я должен был владеть всем, по крайней мере, до Евфрата. Смена религии в личных интересах непростительна, но это можно простить, принимая во внимание огромные политические результаты. Генрих IV сказал: *”Париж вполне стоит мессы”*. Скажут ли тогда, что господство на Востоке и, возможно, покорение всей Азии не стоили тюрбана и пары штанов? И, по правде говоря, все дело сводилось к этому, ибо великие шейхи изучили, как облегчить нам задачу. Они устранили величайшие препятствия; разрешили нам пить вино и обошлись без всех телесных формальностей. Следовательно, мы должны были лишиться только нашей скромной одежды и шляп. Я говорю “мы”, ибо армия в том расположении, в котором она тогда находилась, не испытывала бы особых угрызений совести по этому поводу и превратила бы это просто в предмет шуток и смеха. Но каковы были бы последствия? Я должен был повернуться спиной к Европе, и старая цивилизация континента была бы уничтожена. И кто бы тогда беспокоился о ходе судьбы Франции или о возрождении эпохи!... Кто бы попытался это сделать! Кто мог бы преуспеть!”

Продолжая изучать книгу Голдсмита, император случайно обратил внимание на Акт консулов, которым генерал Латур Фуассак был отправлен в отставку за сдачу Мантуи. “Это, ” сказал император, “ было, без сомнения, незаконным и тираническим актом, но это было неизбежное зло; в этом виноваты законы. Генерал был сто и тысячу раз виновен, и все же было сомнительно, следовало ли нам осуждать его. Его оправдание произвело бы самый роковой эффект. Поэтому мы нанесли удар, объединив усилия чести и общественного мнения. Но я повторяю, это был тиранический акт, один из тех жестоких ударов, которые иногда просто необходимы великой нации и при важных обстоятельствах”.

## ПЕРВОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ И ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЖЕСТОКОСТИ СО СТОРОНЫ ГУБЕРНАТОРА.—ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ.

27—го. Около двух часов в Лонгвуд приехал губернатор и попросил позволения императора созвать к себе всю прислугу. Это было первое оскорбление, полученное от губернатора.

Вероятно, он хотел убедиться, были ли их заявления сделаны спонтанно. Месье де Монтолон, который руководил слугами, сообщил сэру Хадсону Лоу от имени императора, что его Величество не предполагал, что могли быть какие-либо основания для вмешательства в отношения между ним и его камердинером; что, если бы у него спросили разрешения, он решительно отказался; что, если инструкции губернатора требуют принятия этой меры, власть находится в его собственных руках, и он может ею воспользоваться: это только добавило бы еще больше возмущения. к тем, которые английские министры уже накопили у него.

В этот момент я присоединился к г-ну де Монтолону и губернатору. Я легко мог заметить, что оба собеседника были отнюдь не довольны друг другом. После нескольких минут молчания и явного недовольства губернатор повернулся ко мне и заметил, что, по-видимому, были предприняты усилия для создания трудностей и замешательства во всем, что касалось императора. Я заметил, что, поскольку прислуга Наполеона была назначена для него, а не по его выбору, было совершенно естественно, что он возражал против любого вмешательства в дела своих слуг; что, если у губернатора были какие-либо сомнения относительно прислуги, которые нужно было прояснить, перед ним были открыты два пути. Он мог бы прибегнуть к косвенным и закулисным средствам, которые, по крайней мере, не ранили бы наших чувств; или он мог бы применить силу и авторитет; он обладал ими, и ничто не могло удержать его от того, чтобы прибегнуть к ним. Но я добавил, что метод, которого он придерживался, был совершенно враждебен нашим привычкам. Я заверил его, что император желал быть как можно более сговорчивым в том новом положении, в котором он оказался; что он хотел замкнуться в себе, не прося ничего, кроме того, чтобы его не беспокоили; что удача действительно отняла у него власть, но ничто не могло лишить его самоуважения; и, наконец, что сознание и деликатность своего достоинства были единственными оставшимися у него вещами, хозяином которых он мог называть себя.

Тем временем слуги были собраны, и мы с господином де Монтолоном удалились, чтобы своим присутствием не санкционировать подобную меру. Губернатор поговорил с прислугой, а затем присоединился к нам, сказав: "Теперь я удовлетворен. Я могу сообщить английскому правительству, что все они подписали это свободно и добровольно".

Но его дурное настроение еще не полностью иссякло, потому что он начал весьма некстати превозносить прекрасное расположение Лонгвуда, заметив, что, в конце концов, мы не так уж бедствовали. И когда мы заметили, что особенно остро ощущаем недостаток тени в этом знойном климате и что на острове едва ли есть хоть одно дерево. "О! мы посадим несколько!" - сказал он. Могло ли что-то быть более резким?... Это можно записать как первую черту жестокости со стороны губернатора. После этого он откланялся.

Около пяти часов император сел в карету, чтобы проветриться. Когда мы выходили, он сказал: "Джентльмены, если бы не один человек, я был бы властелином мира! И кто, по-вашему, был этот человек?" Всем нам не терпелось узнать.... "[Аббатаббат](#) де Прадт, - продолжал император, - раздающий Милостыню Богу Войны". Услышав это, мы не смогли сдержать смех. "Я серьезно, " продолжал он, " аббат так выражается в своем посольстве в Варшаве; вы можете сами прочитать это. Эта работа в целом представляет собой злобную атаку на меня, абсолютную клевету, заваливающую меня оскорблениями и клеветой. Был ли я в то время в особенно хорошем настроении, или это было потому, что только правда оскорбляет, я не знаю; но, во всяком случае, я от души смеялся, когда читал это произведение, и оно доставило мне массу удовольствия".

Иногда между двумя лицами из свиты императора возникали недоразумения. Это обстоятельство не было бы упомянуто здесь, но оно служит для представления некоторых характерных черт ума и сердца того, кому мы преданы. Газеты того времени и возвращение одной из сторон в Европу вследствие этих недоразумений, однако, уже предали огласке это дело.

Когда я вошел в гостиную, чтобы дожидаться объявления о начале ужина, я застал императора говорящим с величайшей теплотой на эту тему, которая чрезвычайно его раздосадовала. Его речь была энергичной и трогательной.

“Вы последовали за мной, - сказал он, - чтобы порадоваться моему пленению! Тогда будьте братьями! иначе вы только досаждаете мне. Если вы хотите сделать меня счастливым, будьте братьями, или вы для меня всего лишь пытка! Вы говорите о борьбе, и это в моем присутствии. Таким образом, я больше не являюсь объектом вашего внимания. Вы забываете, что внимание иностранцев приковано к вам.... Я желаю, чтобы вы все были воодушевлены моим духом.... Я желаю, чтобы все вокруг меня были счастливы и разделяли те немногие радости, которые нам еще остались. Даже маленькому Эммануэлю я бы пожелал, чтобы вы все получили причитающуюся вам долю...”

Объявление об ужине положило конец выговору. Император был молчалив во время трапезы; за десертом он приказал принести ему Вольтера и начал читать некоторые из его драм; но вскоре отложил книги. Мы с каждым днем все больше и больше уставали от Вольтера.

Император удалился очень рано и вскоре после этого пожелал, чтобы я сопровождал его в его спальню, где я оставался с ним до позднего часа.

## АББАТ ДЕ ПРАДТ И ЕГО ПОСОЛЬСТВО В ВАРШАВЕ. ВОЙНА В РОССИИ. ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.

28-го. Император снова обратился к аббату де Прадту и его труду, который он сократил до первой и последней страниц. “В первом, ” сказал он, - он называет себя единственным человеком, который остановил карьеру Наполеона; в последнем он показывает, что император, возвращаясь из Москвы, уволил его из посольства, что является правдой; и этот факт его самолюбие стремилось бы исказить или отомстить. В этом вся работа....

“Но аббат, ” продолжал император, “ не выполнил в Варшаве ни одной из намеченных целей; напротив, он причинил много вреда. Доносы на него сыпались на меня со всех сторон. Даже молодые люди, клерки, прикрепленные к посольству, были удивлены его поведением и зашли так далеко, что обвинили его в том, что он поддерживает взаимопонимание с врагом; чему, однако, я ни в коем случае не верил. Но у него, конечно, был со мной долгий разговор, который он, как и следовало ожидать, искажает; и именно в тот момент, когда он произносил длинную прозаическую речь, которая показалась мне просто чередой нелепостей и дерзостей, я нацарапал на уголке камина приказ отозвать его из посольства и как можно скорее отправить во Францию; обстоятельство, которое было причиной большого веселья в то время и которое аббат, кажется, очень хотел скрыть ”.

Я не могу удержаться от того, чтобы не переписать из "Посольства в Варшаву" рассказ г-на де Прадта о дворе императора Наполеона в Дрездене. Его замечания по этому поводу поразительны и дают точное представление как о людях, так и о вещах того периода.

“Вы, - говорит он, - желающие составить справедливое представление о всемогуществе, которым пользовался в Европе император Наполеон, желающие постичь глубины ужаса, в которые впал почти каждый европейский монарх, перенеситесь в воображении в Дрезден и там созерцайте этого великолепного государя в период его наивысшей славы, столь близкий к его падению!

"Император занимал парадные апартаменты дворца, куда он перевел значительную часть своей семьи. Здесь он устраивал грандиозные званые обеды; и, за исключением первого воскресенья, когда король Саксонии устраивал торжественный прием, на приемах Наполеона всегда присутствовали монархи и различные члены их семей, согласно приглашениям, выданным главным маршалом Дворца. По этим поводам были допущены некоторые частные лица. Я удостоился этой чести в день моего назначения в посольство Варшавы.

Здесь, как и в Тюильри, в девять часов проходили торжественные приемы императора. Тогда с какой робкой покорностью толпа принцев, смешавшихся с придворными и часто едва заметных среди них, с нетерпением ожидала момента предстать перед новым вершителем их судеб!"

Эти отрывки и некоторые другие, не менее правдивые и красивые по изложению, теряются среди кучи деталей, полных искажения и злонамеренности. "Это искаженные факты и искаженные разговоры", - сказал император, обращаясь к рассказам австрийской императрицы, которые были полны лести, и к рассказам об императоре Александре, чьи приятные добродетели и блестящие качества превозносятся автором в ущерб Наполеону. "Конечно," воскликнул император, "это не французский епископ, а один из восточных магов, поклоняющийся восходящему солнцу". Я как сейчас, так и впредь из чувства справедливости не буду приводить несколько других статей и многие подробности. Однако можно записать следующие замечания в противовес попыткам аббата де Прадта доказать, что французы были несправедливыми агрессорами в противостоянии с Россией.

Император, говоря о войне в России, сказал: "Никакие события не являются пустяковыми по отношению к нациям и государям, ибо именно они управляют их судьбами. В течение некоторого времени между Францией и Россией возникло недопонимание. Франция упрекала Россию в нарушении континентальной системы, а Россия требовала возмещения ущерба герцогу Ольденбургскому и выдвигала другие претензии. Русские войска приближались к Варшавскому герцогству, а на севере Германии формировалась французская армия. И все же мы были далеки от решимости вступить в войну, когда совершенно неожиданно новая русская армия начала свой марш к герцогству; и в качестве ультиматума в Париже русским послом была вручена наглая нота, который, в случае ее непринятия, угрожал оставить Париж в течение восьми дней. Я расценил это как объявление войны. Прошло много времени с тех пор, как я привык к подобному тону. У меня не было привычки позволять опережать себя. Я мог бы отправиться в Россию во главе остальной Европы; предприятие было популярным; дело интересовало Европу. Это было последнее усилие, которое оставалось Франции. Ее судьба и судьба новой европейской системы зависели от борьбы. Россия была последним ресурсом Англии. Мир во всем мире зависел от России. В этом событии нельзя было сомневаться. Я начал свой поход; но когда я достиг границы, я, которому Россия объявила войну, отозвав своего посла, все еще считал своим долгом послать своего (Лористона) императору Александру в Вильну: он был отвергнут, и война началась!

- И все же, кто бы поверил в это? Мы с Александром оказались в положении двух хулиганов, которые, не желая драться, пытались запугать друг друга. Я бы охотнее всего сохранил мир; я был окружен и подавлен неблагоприятными обстоятельствами, и все, что я с тех пор узнал, убеждает меня, что Александр еще меньше стремился к войне, чем я.

"Г-н де Романцов, который поддерживал связь в Париже и с которым некоторое время спустя, когда русские потерпели неудачу, Александр очень сурово обошелся за курс, к которому он его

побудил, заверил русского императора, что настал момент, когда Наполеон в своем затруднительном положении с готовностью пойдет на некоторые жертвы, чтобы избежать войны; что благоприятная возможность не должна быть упущена; что необходимо только занять смелую позицию и говорить твердым тоном; что герцогу Ольденбургскому будет выплачено возмещение; что Данцик может быть заполучен, и тогда он сможет избежать войны". что Россия, таким образом, приобретет огромный вес в Европе.

Такова была причина передвижения русских войск и дерзкой записки принца Куракина, который, несомненно, не был посвящен в тайну и который был достаточно глуп, чтобы выполнить свои инструкции слишком буквально. Те же ошибочные представления и та же система послужили причиной отказа принять Лористона в Вильне. Это был пример ошибок и неудач, сопутствовавших моей новой дипломатии. Он стоял изолированный, без сродства или контакта, посреди объектов, которыми он должен был управлять. Если бы мой министр иностранных дел был представителем старой аристократии и человеком выдающихся способностей, он, без сомнения, заметил бы сгущающиеся тучи и, возможно, предотвратил бы наше вступление в войну.

“Талейран, “Талейран, возможно, и смог бы это сделать, но это было выше сил новой школы. Я не мог сделать это открытие сам; мое достоинство исключало личные объяснения. Я мог составить свое суждение только на основании документов, и напрасно я перелистывал их снова и снова, ибо был уверен, что в конце концов дойду до того момента, когда они не смогут дать ответа на мои запросы.

Едва я начал кампанию, как маска упала, и проявились истинные настроения врага. В течение двух или трех дней Александр, встревоженный нашими первыми успехами, отправил ко мне гонца с сообщением, что, если я оставлю захваченную территорию и отступлю до Немана, он вступит в переговоры. Но я, в свою очередь, принял это за военную хитрость. Я был в восторге от успеха; я захватил русскую армию в самом факте, в критический момент; я отрезал путь Багратиону, и у меня были основания надеяться, что я уничтожу его. Однако я думал, что враг просто хотел выиграть время для того, чтобы собрать свои силы. Если бы я был убежден в искренности Александра, я, несомненно, согласился бы на его предложение отступить к Неману. В этом случае он не перешел бы Двину; Вильна была бы нейтрализована, и там мы с Александром в сопровождении нескольких батальонов нашей гвардии лично вели бы переговоры. Сколько аранжирово~~каранжировок~~ я не должен был предлагать!... Александру оставалось бы только сделать свой выбор, и мы расстались бы хорошими друзьями.

"И все же, несмотря на последовавшие события, в результате которых мой враг восторжествовал, вполне ли очевидно, что меры, на которые я только что намекнул, были бы менее выгодными, чем те, которые были предприняты с тех пор? Александр двинулся на Париж, это правда, но его сопровождали войска всей Европы. Он завоевал Польшу: но каков будет результат потрясения, нанесенного всей европейской системе; волнения, в которое повергнута каждая нация; усиления европейского влияния на остальную Россию за счет накопления новых приобретений: экспедиций, в которых участвуют русские войска вотдаленных районах; и влияния несообразной массы людей и знаний, которые нашли убежище в России из-за рубежа?

“Будут ли российские государи довольны закреплением того, что они приобрели? Если, напротив, они окажутся под влиянием честолюбия, на какие экстравагантные предприятия они только не пойдут! И все же они потеряли Москву, ее богатства и ресурсы, а также ресурсы

многих других городов! Это раны, которые будут кровоточить в течение полувека. Но в Вильне мы могли бы заключить соглашения в интересах всех, как подданных, так и суверенов!"

В другой раз император сказал: "Я мог бы разделить с Россией владения турецкой империи. Мы не раз обдумывали эту идею, но Константинополь всегда был препятствием, мешавшим ее осуществлению. Столица Турции была главным камнем преткновения между нами. Россия хотела этого, и я не мог отказаться от этого. Константинополь сам по себе достоин империи. Это настоящий краеугольный камень власти, ибо тот, кто обладает им, может править миром.

"Что же тогда?" - спросил император, возвращаясь к прежнему вопросу: "Что приобрел Александр, чего он не мог бы добиться с большей выгодой в Вильне?" — Кто-то из присутствующих ответил: "Сир, он победил и остается триумфатором". — "Возможно, таково вульгарное мнение, - воскликнул император, - но ни один государь не должен допускать подобной мысли. Монарх, если он правит сам, или его советники, если они правят за него, должны в масштабных предприятиях такого рода придавать меньше значения победе, чем ее результатам. И хотя дело ограничивается вульгарными соображениями, я все же утверждаю, что желанная цель не достигнута. Даже здесь пальма первенства должна быть присуждена побежденной стороне. Кто станет утверждать, что мои победы в Германии были равны успехам союзников во Франции? Выскажет ли такое мнение какой-нибудь мыслящий человек, какой-нибудь историк?"

"Союзники наступали со всей Европой в своем обозе против сил, которые можно было считать почти ничем. У них было 600 000 человек в строю и почти столько же в резерве. Если бы они были разбиты, им нечего было бояться, они могли бы отступить. Напротив, у меня в Германии, в 500 лье от дома, едва ли были силы, равные силам моего врага. Я был окружен монархами и людьми, подавляемыми только страхом, и которые при первой же катастрофе были готовы восстать против меня. Но я торжествовал среди постоянно возрастающих опасностей; я был постоянно вынужден проявлять равную степень решительности и энергии. Во всех этих предприятиях счел необходимым проявлять странный характер, странные взгляды и странную уверенность в своих собственных планах, которые, возможно, не одобрялись всеми окружающими меня.

"Какие подвиги союзников можно сравнить с этими? Если бы я не победил при Аустерлице, вся Пруссия была бы на моей стороне. Если бы я не одержал победу при Йене, Австрия и Испания атаковали бы меня с тыла. Если бы я не одержал триумф при Ваграме, который, кстати, был менее решительной победой, я должен был опасаться, что Россия оставит меня, что Пруссия восстанет против меня; а тем временем англичане были уже у Антверпена.

"И все же, как я вел себя после победы? При Аустерлице я дал Александру свободу, хотя мог бы сделать его своим пленником.<sup>[9]</sup> После Йены я оставил Пруссский дом во владении тронем, который я завоевал: после Ваграма я пренебрег разделением австрийской монархии.

"Если" "Если" все это приписать просто великодушию, холодные и расчетливые политики, несомненно, обвинят меня. Но, не отвергая этого чувства, которому я не чужд, я имел в виду более высокие цели. Я хотел добиться объединения великих европейских интересов, таким же образом, как я добился объединения партий во Франции. Моим честолюбивым намерением было однажды стать арбитром в великом деле народов и королей; поэтому было необходимо, чтобы я обеспечил себе право на их благодарность и постарался стать популярным среди них. Я

не мог этого сделать, не потеряв что-то в глазах людей. Я осознавал это. Но я был сильным и бесстрашным. Я мало беспокоился о мимолетном народном ропоте, будучи совершенно уверен, что результат безошибочно перетянет людей на мою сторону.

“Я совершил большую ошибку после битвы при Ваграме, не уменьшив еще больше могущество Австрии. Она оставалась слишком сильной для нашей безопасности, и ей мы должны приписать наше крушение. На следующий день после битвы я должен был объявить прокламацией, что я буду вести переговоры с Австрией только при условии предварительного разделения трех корон - Австрии, Венгрии и Богемии. Будет ли это зачтено? Принц Австрийского дома несколько раз намекал мне на мысль передать одну из двух последних упомянутых корон себе или даже возвести его на трон, занимаемый его собственной семьей, под предлогом того, что только таким образом Австрию можно было побудить к искренним действиям по отношению ко мне. Он даже предложил предоставить меня в качестве заложника и, более того, все возможные гарантии”.

Император сказал, что он даже обдумывал эту идею в своем собственном уме. Он колебался по этому поводу некоторое время до своей женитьбы на Марии Луизе; но после этого события, продолжал он, это стало невыполнимым. Он заметил, что по поводу брака его представления были слишком гражданскими: “Австрия, “ сказал он, - стала частью моей собственной семьи; и все же мой брак погубил меня. Если бы я не считал себя в безопасности благодаря этому союзу, я бы отложил на три года возрождение Польши; я бы подождал, пока Испания не будет покорена и спокойна. Я ступил в пропасть, покрытую цветами”.

## ИМПЕРАТОРУ НЕЗДОРОВИТСЯ.—ЕГО ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЛНОГО УЕДИНЕНИЯ.— ПЕРСИДСКИЙ И ТУРЕЦКИЙ ПОСЛЫ.—АНЕКДОТЫ.

29—го.- Около пяти часов великий маршал посетил меня в моих покоях. Ему не разрешили увидеться с императором, который из-за недомогания весь день был заперт в своих апартаментах и отказывался кого-либо видеть. Ближе к вечеру я вышел прогуляться по тем дорожкам, по которым в это время обычно прогуливался император. Мне было скучно в одиночестве. Мы ужинали без императора.

Около девяти часов, как раз в тот момент, когда я сожалел, что день прошел так, что я его не увидел, он послал за мной. Я выразил беспокойство по поводу его недомогания. Он ответил, что чувствует себя совершенно хорошо, но ему захотелось побыть одному; что он весь день читал и что время пролетело быстро и приятно.

Однако он казался подавленным и вялым. Он взял мой Атлас, который случайно лежал рядом с ним, и, открыв его на карте мира, обратил свой взор на Персию. “У меня было несколько превосходных планов в отношении этой страны”, - сказал он. “Какой отличной точкой опоры это было бы для моего рычага, хотел ли я потревожить Россию или вторгнуться в Индию. Я наладил отношения с Персией и надеялся довести их до уровня близости, так же как и с Турцией. Можно было бы предположить, что животные достаточно хорошо понимали свои собственные интересы, чтобы согласиться с моими предложениями; но и персы, и турки ускользнули от меня в решающий момент. Английское золото оказалось сильнее моих планов.

Некоторые вероломные министры ради нескольких гиней пожертвовали процветанием своей страны, что обычно бывает при монархах сераля или королях-идиотах”.

Затем император, оставив политику, начал рассказывать некоторые анекдоты из сераля и обратился к персам Монтескью и его письмам, которые, по его словам, отличались остроумием, тонкими наблюдениями и, прежде всего, горькой сатирой на то время. Впоследствии он рассказал о турецких и персидских послах, которые были в Париже во время его правления. Он спросил меня, какое впечатление они произвели во французской столице, наносили ли визиты, принимали ли гостей и т. Д.

Я ответил, что во время их пребывания в Париже они привлекли всеобщее внимание и представляли собой своего рода редкое зрелище при дворе. Особенно любопытство вызывал перс. По прибытии он охотно принимал посетителей, а поскольку дарил духи и даже шали, то пользовался большим успехом у дам. Но огромное количество тех, кто за ним ухаживал, вскоре вынудило его ограничить свою щедрость, и с тех пор, когда гнев утих, о нем больше не думали. Я добавил, что при Дворе, когда императора не было, мы иногда отваживались, конечно, очень неосмотрительно, разыгрывать фокусы за счет восточных послов. Однажды на концерте, который давала императрица Жозефина, Аскер-Кан со своей длинной крашеной бородой был одним из присутствующих. Казалось, он смертельно устал от музыки и заснул, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги вперед и опираясь на кресло, стоявшее в углу у камина. Кто-то в шутку тихонько отодвинул стул, так что его превосходительство чуть не растянулся во весь рост на полу, и, пробудившись таким образом ото сна, он громко взревел. Аскер-Кан с большей готовностью пустился в шутку, чем турецкий посол; но в этот раз он был в сильном возбуждении, а так как мы могли понимать друг друга только по жестам, сцена была в высшей степени нелепой. Вечером императрица поинтересовалась причиной шума, который она слышала во время концерта; и когда ей объяснили это обстоятельство, она много смеялась и еще больше ругала нас. “Конечно, это было очень дурно, ” заметил император, “ но какое дело ему было на концерте?” — “Сир, - ответил я, - и он, и турецкий посол отправились туда с целью оказать вам любезность. Они надеялись, что ваше величество будет проинформировано об этом обстоятельстве, хотя вы в то время находились в пятистах лигах отсюда. Я добавил, что в других случаях они оба проявили себя опытными придворными и что их желание снискать расположение императора доводило их до самых экстравагантных пределов. “Мы часто видели, - сказал я, - как они по окончании больших дипломатических аудиенций в воскресенье следуют за вашим Величеством на мессу и занимают скамьи в часовне вместе с кардиналами Святой Католической церкви”. “Какое чудовищное зрелище!” - воскликнул император. “Какое ниспровержение их принципов и привычек!— Какие необыкновенные вещи я совершал; и все же все это не было ни упорядочено, ни воспринято”.

Продолжая разговор о двух выходцах с Востока, я упомянул, что мне сообщили, что эрц-канцлер Камбасерес однажды устроил для них грандиозный обед. Хотя оба были из одного квартала и исповедовали одну религию, тем не менее они проявляли совершенно разные черты характера. Турок, который был учеником Омара, был янсенистом, а перс, который был сектантом Али, был иезуитом. Говорили, что за ужином Камбасереса они скрупулезно следили друг за другом в том, что касается вина, подобно тому, как два католических епископа, сидящих за одним столом, должны бдительно следить, чтобы ни у кого из них не возникло соблазна съесть мясо в пятницу.

Турок был мрачен и невежественен, и на него смотрели немногим лучше, чем на животное; но перс обладал литературными познаниями, был очень разговорчив и слыл умным человеком. Было замечено, что он не пользовался ножом и вилкой ни при еде, ни при подаче себе какого-

либо блюда за столом; и он, вероятно, без колебаний помог бы своим соседям таким же бесцеремонным образом. Один из наших обычаев особенно привлек его внимание; это была наша практика есть хлеб с каждым блюдом. Он сказал, что не может понять, почему мы всегда должны есть одно и то же блюдо со всеми блюдами.

Мне кажется, я уже отмечал, что ничто так не забавляет императора, как рассказы о модном мире Парижа, анекдоты из наших гостиных и т. Д.

Эмигранты и Сен-Жерменское предместье были темами, на которые он всегда любил беседовать со мной, когда мы оставались наедине, и он объяснил это, сказав мне однажды: “Я был хорошо знаком со всем, что имело отношение ко мне, но я никогда ничего не знал об этих делах”. Он заметил, что, тем не менее, у него было естественное желание узнавать все, что происходило рядом с ним, слушать болтовню маленьких городков и т. Д. “Я много слышал об этих предметах, - добавил он, - в период моей власти; но всякий раз, когда говорилось что-либо благоприятное, я был настороже — я боялся инсинуаций; и если, напротив, мне сообщали что-либо неблагоприятное, я не доверял обвинениям, и у меня было достаточно дел, чтобы уберечься от чувства презрения. Здесь, мои дорогие Лас Кейсы, ни одного из этих недостатков не существует; мы с вами уже принадлежим к другому миру; мы беседуем на Елисейских полях: у вас нет заинтересованных взглядов, а у меня нет подозрений”. Поэтому я охотно пользовался любой представившейся возможностью, чтобы развлечь императора таким образом. Он понял это и отдал должное моим намерениям; ибо в конце одного из моих рассказов он ущипнул меня за ухо и сказал тоном, который меня восхитил: “Я прочитал в вашем Атласе историю о северном монархе, который был замурован в тюрьме, и один из его солдат попросил и получил разрешение быть заключенным вместе с ним, чтобы поднять ему настроение, либо побуждая его к беседе, либо рассказывая ему забавные истории. Мой дорогой Лас Кейс, ты и есть этот солдат”....

По данному случаю я рассказал императору о розыгрыше, который был разыгран над г-ном де Марбуа и о котором он раньше не слышал. Дело было так: однажды, как гласит история, Аскер-Кан, который был нездоров и устал от своего персидского лечения, приказал послать за господином Бурдуа, одним из первых врачей Парижа. Посыльный допустил ошибку и отправился к месье де Марбуа, бывшему министру финансов, а в то время председателю Счетной палаты. “Его превосходительство персидский посол, “ сказал он, - очень болен и желает вас видеть”. Г-н де Марбуа не мог себе представить, какое дело могло быть к нему у персидского посла; но Аскер-Кан был посланником великого князя, и нет ничего, с чем тщеславие не могло бы примириться. Он с большой помпой проследовал в резиденцию посла; и следует признать, что в его одежде, физиономии или манерах не было ничего, что могло бы ввести в заблуждение перса, который, как только увидел его, высунул язык и, вытянув руку, жестом предложил ему пощупать пульс. Эти необычные жесты поразили месье де Марбуа, но он подумал, что это, возможно, какая-то восточная мода. Он взял протянутую руку и сердечно пожал ее, когда с торжественностью вошли четверо сопровождающих и вручили бывшему министру сосуд весьма недвусмысленного характера для получения более подробной информации о состоянии пациента. При этом зрелище серьезный г-н де Марбуа пришел в неистовую ярость и спросил, что означает это необычное поведение. Ошибка была объяснена; разыскивался именно мсье Бурдуа, и только сходство в звучании двух имен стало причиной ошибки. Бедный г-н де Марбуа был посмешищем всего Парижа, и долгое время он нигде не мог показаться без того, чтобы не вызвать веселья.

“Парижские гостиные поистине поражают своими шутками!” сказал император, - ибо нельзя отрицать, что по большей части они остроумны. Они всегда атакуют врага при прорыве, и обычным следствием является полное поражение”. — “Это правда, - сказал я, “ никто не пощадил. Даже религия не считалась священной, и ваше величество вполне может предположить, что ни вы, ни императрица не спаслись”. — “Осмелюсь сказать, что нет, - ответил император, - но это неважно; что говорили о нас?” — “Об этом было сообщено. Сир, что однажды ваше величество, будучи очень недовольным прочтением депеши из Вены, в минуту дурного настроения сказали императрице: “Ваш отец - болван” (*votre père est une ganache*). Мария Луиза, не знавшая многих французских фраз, повернулась к ближайшему к ней человеку и, заметив, что император назвал ее Отца *ганашем*, спросила, что означает этот термин. Придворный, смущенный этим неожиданным вопросом, пробормотал, запинаясь, что это слово означает умного человека, человека рассудительного характера и необычайного таланта. Некоторое время спустя императрица, у которой в памяти был свеж только что выученный термин, присутствовала на Государственном совете, и дискуссия стала несколько жаркой, и, чтобы положить ей конец, она обратилась к г—ну Камбасересу, который зевал рядом с ней.... - “Вы должны разъяснить нам этот важный момент, - сказала она, - вы будете нашим оракулом; ибо я считаю вас величайшим *ганашем* в Империи’. При этих словах император схватился за бока от смеха. “Как жаль, ” сказал он, “ что этот анекдот не соответствует действительности! Только представьте себе эту сцену. Оскорбленное достоинство Камбасереса, веселье всего совета и смущение бедной Марии Луизы, встревоженной успехом своей бессознательной шутки”.

Беседа продолжалась в таком ключе довольно долго, и я провел с императором около двух часов; я старался говорить как можно больше, чтобы отвлечь его, и мне это удалось. Император почувствовал, что его настроение улучшилось, он даже от души посмеялся. Когда он отпустил меня, то почувствовал себя намного лучше, и я был рад перемене.

## ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАТВОРНИЧЕСТВА.—ИМПЕРАТОР ПРИНИМАЕТ ПРАВИТЕЛЯ В СВОИХ ПОКОЯХ.—ХАРАКТЕРНЫЙ РАЗГОВОР.

30—го.- Сегодня мы с сыном были приглашены на обед к мистеру Балькомбу в “Брайарз”. Около половины четвертого я пошел получить приказания императора: он был таким же, как вчера, и не собирался выходить.

Незадолго до того, как я добрался до ворот Хат, резиденции мадам Бертран, я встретил губернатора, направлявшегося в Лонгвуд. Он спросил меня, как поживает император. Я сказал ему, что мне за него неловко и что вчера он никого из нас не видел. Я добавил, что, хотя сегодня утром он сказал мне, что чувствует себя хорошо, все же, судя по выражению его лица, я ожидал другого ответа.

Около половины десятого мы выехали из Бриарса, возвращаясь в Лонгвуд; было очень темно. Начался сильный дождь, такой же резкий, как град. У нас была самая неприятная, хлопотливая и опасная поездка, мы каждую минуту были готовы сорваться в какую-нибудь пропасть, потому что были вынуждены скакать наугад, не видя, куда едем. Мы прибыли в Лонгвуд промокшие до нитки.

Император приказал, чтобы я посетил его по возвращении. С ним все было в порядке, но он, как и вчера, остался дома. Он сказал, что ждал меня и ему есть что мне сказать.

Узнав, что прибыл губернатор, он впустил его в свои покои, хотя тот был не одет и не мог подняться с ложа. Он сказал, что с совершенным хладнокровием обсудил с ним все вопросы, которые естественным образом пришли ему в голову. Он говорил о протесте против мирного договора от второго августа, по которому союзные монархи объявили его изгнанником и пленником. Он спросил, какое право имели эти Монархи распоряжаться им без его согласия, тем, кто был им равен, а иногда и их хозяином. Он сказал, что если бы он считал нужным удалиться в Россию, Александр, который называл себя его другом и у которого никогда не было с ним ничего, кроме политических споров, если бы не поддержал его как короля, то, по крайней мере, относился бы к нему как к таковому. Этому губернатор не мог отрицать. Он сказал, что если бы он считал нужным укрыться в Австрии, император Франциск не смог бы, не опозорив себя, отказать ему во въезде не только в свою империю, но даже в свой дом и свою семью, членом которой он, Наполеон, был. Это признал и губернатор.

“Наконец, ” сказал император, “ если бы, полагаясь на свои личные интересы, я продолжал отстаивать их во Франции силой оружия, нет сомнения, что союзники официально предоставили бы мне огромные преимущества, возможно, даже территорию”. Губернатор, который некоторое время колебался по этому поводу, в конце концов согласился, что, без сомнения, император мог бы с легкостью получить Суверенитет. “Я не желал этого, - продолжал император. - я решил оставить государственные дела; возмущенный тем, что ведущие люди Франции предадут свою страну или, по крайней мере, совершают грубейшие ошибки в отношении ее интересов; возмущенный тем, что масса представителей предпочла позор смерти и опустилась до торговли той священной независимостью, которая, как и честь, должна быть *скалистым и неприступным островом*. При таком положении вещей, на чем я остановился? Какую резолюцию я принял? Я искал убежища в стране, которая, как предполагалось, управлялась по законам: среди людей, злейшим врагом которых я был двадцать лет! Но что вы сделали?... Ваше поведение будет занесено в историю к вашему вечному позору. Но есть мстящее Провидение; рано или поздно вы понесете свое наказание! Пройдет совсем немного времени, и ваше потомство, ваши законы искупят ваше преступление!... Ваши министры своими инструкциями достаточно доказали, что они хотят избавиться от меня! Почему короли, которые объявили меня вне закона, открыто не постановили о моей смерти? Одно действие было бы столь же законным, как и другое! Быстрое прекращение моих страданий проявило бы больше энергии, чем медленная смерть, на которую они меня обрекали. Калабрийцы были более гуманны, более великодушны, чем союзные монархи или ваши министры. Я не умру от своих рук. Это было бы актом трусости. Преодолеть несчастье - доказательство благородного и отважного ума! Мы, смертные, обязаны исполнить свое предназначение. Но если бы вы намеревались оставить меня здесь, я чувствую, что вы оказали бы мне услугу, лишив меня жизни; ибо здесь я ежедневно испытываю предсмертные муки! Границы острова Святой Елены слишком узки для меня, привыкшего каждый день проезжать верхом десять, пятнадцать или двадцать лье. Климат здесь не похож на наш: ни солнце, ни времена года не похожи на то, к чему мы привыкли. Все здесь враждебно счастью и комфорту. Ситуация неприятная и нездоровая, и в ней нет воды. Эта часть острова совершенно бесплодна, и жители покинули ее”.

Губернатор заявил, что его инструкции требуют, чтобы император был ограничен в поездках определенными рамками и чтобы его всегда сопровождал офицер. “Если бы они были так исполнены, ” ответил император, “ я бы никогда не покинул своих покоев. Если ваши инструкции не допускают большей свободы действий, вы впредь ничего не можете для нас

сделать. Однако я ни о чем не прошу и не желаю. Передайте эти чувства английскому правительству”.

“Это, - сказал губернатор, - следствие передачи инструкций с такого большого расстояния и в отношении человека, о котором те, кто составляет инструкции, так мало знают”. Затем он попытался увести вопрос, намекнув, что по прибытии деревянного дома или дворца, который находился на пути к острову Святой Елены, возможно, можно было бы принять лучшие планы: что ожидается судно с мебелью и запасами провизии, которые, как предполагалось, понравятся императору; что английское правительство прилагает все усилия, чтобы облегчить его положение, и т.д.

Император ответил, что все их усилия ни к чему не привели; что он просил предоставить ему "Морнинг кроникл" и "Стейтсмен", чтобы он мог прочитать то, что касалось его самого, в наименее неприятных формах; но его просьба так и не была выполнена. Он просил книги, которые были его единственным утешением, но прошло девять месяцев, а он так ничего и не получил. Он желал получить сведения о своей жене и сыне, но от него это утаили.

“Что касается провизии, мебели и дома, которые предназначены для меня, - продолжал он, “ вы и я, сэр, солдаты; мы знаем, как ценить эти вещи. Вы были в моем родном городе, возможно, в том самом доме, который занимала моя семья. Хотя это было не самое худшее на острове - хотя у меня нет причин стыдиться своих семейных обстоятельств, все же вы знаете, какими они были. Но хотя я и занял трон и избавился от корон, я не забыл своего первого условия: как видите, мне по-прежнему достаточно моего ложа и походной кровати”.

Губернатор заметил, что деревянный дворец и все, что к нему прилагается, по крайней мере, привлекают внимание. “Для вашего собственного удовлетворения, в глазах Европы, - ответил император, - но для меня это совершенно безразлично. Мне следовало прислать не дом и не мебель, а палача и гроб. Первое - насмешка, второе было бы одолжением. Я повторяю, инструкции ваших министров ведут к такому результату, и я ссылаюсь на это. Адмирал, который не является недоброжелательным человеком, как мне кажется, смягчил эти инструкции; я не жалею на его действия: одни его формы оскорбляли меня”. Здесь губернатор спросил, не совершил ли он бессознательно каких-либо ошибок. “Нет, сэр, мы ни на что не жалуемся с момента вашего приезда. И все же один поступок оскорбил нас, и это ваша проверка нашей прислуги. Это было оскорбительно для месье де Монтолона, поскольку бросало тень на его честность; и это было мелочно, неприятно и оскорбительно по отношению ко мне и, возможно, унижительно для самого английского генерала, который таким образом встал между мной и моим камердинером”.

Губернатор сидел в кресле сбоку от императора, который все еще лежал, вытянувшись, на своем ложе. Было темно, сгустился вечер, и различать предметы было нелегко. “Следовательно, - заметил император, - напрасно я старался понаблюдать за игрой его черт и заметить впечатление, которое произвели на него мои слова”.

В ходе беседы император, который утром читал отчет Альфонса де Бошана о кампании 1814 года, в котором все английские бюллетени стояли за подписью Лоу, спросил губернатора, тот ли он человек, который их подписал. Сэр Хадсон Лоу с заметным смущением ответил утвердительно и добавил, что бюллетени отражают его взгляды. Губернатор, который несколько раз предлагал, чтобы императора осмотрел его врач, который, по его словам, был очень

опытным человеком, прощаясь, снова предложил послать своего Врача в Лонгвуд. Но император понимал его мотивы и постоянно сопротивлялся его предложению.

Сообщив мне все эти подробности, император несколько минут хранил молчание. Затем, продолжая, очевидно, после некоторого раздумья, он сказал: "Какое подлое и неприятное выражение лица у губернатора! Я никогда в жизни не видел ничего подобного!... Я бы не смогла пить свой кофе, если бы этого человека оставили на минутку рядом со мной наедине.... Мои дорогие Лас Касес, они прислали мне кого-то похуже тюремщика!.."

### ТРЕТИЙ ДЕНЬ УЕДИНЕНИЯ ИМПЕРАТОРА. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЕГО ИСТОРИИ.

1 мая. — Сегодня император сохранил свою комнату такой же, как и вчера. Я почувствовал себя плохо после поездки верхом из Бриарса; у меня была легкая лихорадка, сопровождавшаяся сильной усталостью. Император послал за мной около семи часов вечера. Я зашел в его комнату и застал его за чтением Роллина, которого он, как обычно, обвинил в излишней снисходительности к историкам. Он, по-видимому, не был недомогающим и даже сказал, что чувствует себя очень хорошо; но это только еще больше встревожило меня из-за его уединения и спокойствия манер. Он перенес ужин на более позднее время, чем обычно, и задержал меня у себя. Незадолго до ужина он заказал бокал "Констанции"; обычно он делает это, когда испытывает недостаток возбуждения.

После ужина он просмотрел несколько обращений, прокламаций или актов из несовершенной коллекции Голдсмита. Прочтение некоторых из этих документов, казалось, заинтересовало его; затем, отложив книгу, он начал расхаживать по комнате и сказал: "В конце концов, пусть они сколько угодно урезают, подавляют и калечат, им будет очень трудно полностью отбросить меня в тень. Историк Франции не может обойти стороной Империю, и если в нем есть хоть капля честности, он не преминет воздать мне должное. Его задача будет легкой, ибо факты говорят сами за себя: они сияют, как солнце.

"Я закрыл пропасть анархии и очистил хаос. Я очистил Революцию, возвысил нации и утвердил королей. Я возбуждал всевозможное соперничество, вознаграждал всевозможные заслуги и расширял границы славы! Это уже хоть что-то! И по какому пункту я могу подвергнуться нападкам, по которым историк не смог бы меня защитить? Может ли это быть связано с моими намерениями? Но даже здесь я могу найти отпущение грехов. Может ли это быть связано с моим деспотизмом? Можно продемонстрировать, что диктатура была абсолютно необходима. Скажут ли, что я ограничивал свободу? Можно доказать, что распущенность, анархия и величайшие нарушения все еще преследовали порог свободы. Обвинят ли меня в том, что я слишком любил войну? Можно показать, что я всегда принимал удар первым. Скажут ли, что я стремился к всеобщей монархии? Можно доказать, что, что это было просто результатом случайных обстоятельств, и что наши враги сами шаг за шагом подводили меня к этому решению. Наконец, можно ли обвинять меня в моих амбициях? Несомненно, следует признать, что я обладал этой страстью, и в немалой степени; но в то же время мое честолюбие было самого высокого и благородного рода, который, возможно, когда-либо существовал, - честолюбие установления и освящения империи разума и полного осуществления всех человеческих способностей! И здесь историк, вероятно, почувствует себя вынужденным пожалеть о том, что такое честолюбие не должно было быть реализовано и удовлетворено!" ... Затем, после нескольких минут молчаливого размышления: "Вот, - сказал император, - вся моя история в нескольких словах".

## ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ АБСОЛЮТНОГО УЕДИНЕНИЯ. —ЖУРНАЛ, БЛАГОСКЛОННЫЙ К ИМПЕРАТОРУ.

2—й.-Император по-прежнему оставался в своей комнате, как и в предыдущие дни. Он послал за мной около девяти часов вечера, после того как я пообедал. Он никого не видел в течение дня; я оставался с ним до одиннадцати часов; он был в хорошем настроении и казался здоровым. Я заверил его, что дни, которые мы проводили, не видя его, казались нам очень утомительными; и что мы опасаемся, что его здоровье пострадает от тесного заключения и недостатка свежего воздуха. Что касается меня, то это уединение причиняло мне большое беспокойство и огорчение. Он лег спать за полчаса до того, как отпустил меня: он сказал, что ноги отказывались его держать. Он чувствовал усталость от ходьбы, хотя всего несколько раз прошелся со мной по своей комнате.

Он много говорил об ордене Почетного легиона, коллекции Голдсмита и "Монитор". Относительно последнего он сказал, что это, безусловно, очень примечательное обстоятельство, которым мало кто, кроме него самого, может похвастаться, - то, что он прошел свой путь через Революцию в столь раннем возрасте и с такой большой известностью, не опасаясь "Монитор". "В нем нет ни одной фразы," сказал он, "которую я хотел бы вычеркнуть. Напротив, "Монитор" безошибочно послужит мне оправданием, когда у меня будет для этого повод".

## ПЯТЫЙ ДЕНЬ УЕДИНЕНИЯ.

3—й.-Император все еще оставался в дверях и никого не видел; это был его пятый день уединения. Разные люди из его окружения не знали, чем он занимался в своих покоях. Он послал за мной, так сказать, тайком, и я пришел к нему около шести часов вечера.

Я снова выразил ему тревогу и боль, которые мы испытывали, видя его таким уединенным. Он сказал мне, что очень хорошо переносил заключение, но дни казались ему длинными, а ночи еще длиннее. Весь день он был ничем не занят: он сказал, что чувствовал себя в духе; и действительно, он все еще оставался молчаливым и унылым. Он принял ванну, и я прислуживал ему. Он завершил вечер беседой на чрезвычайно важные темы.

## ШЕСТОЙ ДЕНЬ УЕДИНЕНИЯ.

4. Император все еще оставался в дверях. Он, однако, выразил намерение проехаться верхом около четырех часов; но дождь помешал ему выйти. Он принял великого маршала в своих покоях.

Он послал за мной около восьми часов, чтобы я пообедал с ним. Он сказал, что губернатор нанес визит главному маршалу и пробыл у него больше часа. Его разговоры часто были неприятными, а иногда даже оскорбительными. Он говорил на самые разные темы в дурном настроении и неуважении, а также в очень расплывчатой и неопределенной манере: упрекая нас, в частности, как оказалось, в том, что мы были очень громкими и необоснованными в наших жалобах. Он утверждал, что мы были очень хорошо обеспечены и должны быть довольны; что мы, по-видимому, странным образом заблуждались относительно того, что было связано с нашими личностями и нашим положением. Он добавил, по крайней мере, так, чтобы его поняли, что он хотел бы каждый день лично удостовериться в существовании Императора.

Нет никаких сомнений, что этот пункт был истинной причиной его плохого настроения и возбуждения. Прошло несколько дней, а он так и не смог получить никакого донесения от своего офицера или шпионов, поскольку император никуда не выходил и никого к нему не допускали.

Но какие меры он примет? Это соображение занимало всех нас по очереди. Император никогда бы не согласился, даже с риском для своей жизни, на регулярный визит, который мог быть по прихоти возобновлен в любое время дня и ночи. Стал бы губернатор применять силу, чтобы оспорить у императора последнее убежище в несколько квадратных футов и несколько часов отдыха? Его инструкции, должно быть, были составлены в ожидании случая, который произошел сейчас. Никакое возмущение, никакое отсутствие уважения, никакое варварство не могли удивить меня.

Что касается замечания губернатора о том, что у нас были ошибочные представления о самих себе и нашем положении, то мы прекрасно сознаем, что находимся не в Тюильри, а на острове Святой Елены, и что мы не хозяева, а пленники: как же тогда мы можем ошибаться?

## О КИТАЕ И РОССИИ.—СХОДСТВО Между ДВУМЯ ВЕЛИКИМИ РЕВОЛЮЦИЯМИ ВО ФРАНЦИИ И АНГЛИИ.

5—й. - Около десяти часов утра император впервые отправился кататься верхом. Когда он сел на лошадь, ему сообщили, что в Лонгвуд прибыл резидент Ост-Индской компании в Китае и просит оказать ему честь быть представленным. Он послал за ним и с большой снисходительностью задал ему несколько вопросов. Затем мы отправились навестить мадам Бертран. Император оставался там больше часа; он ослаб и изменился внешне: беседа его была вялой. Мы вернулись в Лонгвуд. Император пожелал позавтракать на свежем воздухе.

Он послал за нашим хозяином в Брайарсе, достойным мистером Балькомбом, и резидентом из Китая, который все еще находился в Лонгвуде. Все время завтрака было занято вопросами, касающимися Китая, его населения, законов, обычаев и торговли.

Резидент заявил, что несколько лет назад между русскими и китайцами произошло событие, которое могло бы привести к важным результатам, если бы Россия не была полностью поглощена делами Европы.

Русский путешественник Крузенштерн в своем кругосветном путешествии бросил якорь в Кантоне со своими двумя судами. Его приняли временно, и ему разрешили, пока не поступят распоряжения Двора, избавиться от мехов, которыми были нагружены его корабли, и принять на борт груз чая вместо них. Приказы китайского двора были отложены более чем на месяц, и г-н де Крузенштерн отплыл за два дня до их прибытия. Они предписали, чтобы два судна немедленно покинули порт: что вся торговля с русскими в этом квартале запрещена; что их императору было предоставлено достаточно земель на севере Империи; что с его стороны было чудовищно пытаться расширить свои связи на Юге морем; и что сильное неудовольствие он проявит к тем, кто предложил им такой курс. Далее орден постановил, что в случае отплытия кораблей до прибытия ответа из Пекина английской фабрике должно быть поручено передать его через Европу российскому императору.

Наполеон очень устал от своей короткой поездки верхом; до этого он не покидал своих покоев семь дней; это был первый раз, когда он снова появился среди нас. Мы заметили явную перемену в его выражении лица.

Он послал за мной около пяти часов; с ним был главный маршал. Император был раздет; он тщетно пытался насладиться небольшим отдыхом; он думал, что у него жар; это ощущение проистекало из крайней усталости. Император распорядился разжечь камин, но не захотел, чтобы в его комнате были свечи. Мы провели время в бессвязных разговорах в темноте до восьми часов, когда император отправил нас обедать.

В течение дня разговор зашел о сходстве двух великих революций в Англии и Франции. "Между этими двумя великими событиями есть много как сходства, так и различий, - сказал император. - они дают неисчерпаемые темы для размышлений". Затем он сделал несколько очень любопытных и примечательных наблюдений. Здесь я запишу его замечания по этому поводу, а также с другими интервалами в течение дня.

"И во Франции, и в Англии буря собралась во время двух слабых и ленивых царствований Якова I и Людовика XV и разразилась над головами несчастных Карла I и Людовика XVI.

"Оба этих монарха пали жертвами: оба погибли на эшафоте, а их семьи были объявлены вне закона и сосланы.

"Обе монархии стали республиками, и в течение этого периода обе нации предавались всем излишествах, которые могут унижить человеческое сердце и разум. Они были опозорены сценами безумия, крови и негодования. Все связи человечества были разорваны, и все принципы опрокинуты.

"И в Англии, и во Франции в этот период два человека энергично сдерживали этот поток и великолепно правили. После этого две наследственные семьи были восстановлены, но обе придерживались ошибочного курса. Они совершили ошибки; новая буря внезапно разразилась в обеих странах и изгнала две восстановленные династии, причем они были не в состоянии оказать ни малейшего сопротивления свергнувшим их противникам.

В соответствии с этой странной параллелью, Наполеон, по-видимому, был во Франции одновременно Кромвелем и Wm. III. Англии. Но поскольку любое сравнение с Кромвелем в какой-то степени отвратительно, я должен добавить, что, если эти два знаменитых человека совпадали в одном-единственном обстоятельстве своей жизни, вряд ли два существа могли больше отличаться друг от друга во всем остальном.

"Кромвель появился на сцене театра мира в зрелом возрасте. Он достиг высшего положения только благодаря своей ловкости, двуличию и лицемерию.

"Наполеон отличился на самой заре зрелости, и его первые шаги были окружены чистой славой.

"Кромвель достиг высшей власти, несмотря на сопротивление и ненависть всех партий, и наложив вечное пятно на английскую революцию.

"Наполеон, напротив, взошел на трон, смыв пятна французской революции и благодаря согласию всех партий, которые, в свою очередь, стремились заполучить его в качестве своего вождя.

"Вся слава Кромвеля была куплена английской кровью; все его триумфы были причиной национального траура; но победы Наполеона были одержаны над иностранным врагом, и они наполнили французскую нацию восторгом.

Наконец, смерть Кромвеля стала источником радости для всей Англии: это событие рассматривалось как общественное освобождение. То же самое нельзя в точности сказать о падении Наполеона.

"В Англии революция была восстанием всей нации против короля. Король нарушил законы и узурпировал абсолютную власть, и нация захотела восстановить свои права.

"Во Франции революция была восстанием одной части нации против другой; восстанием третьего сословия против знати; это была реакция галлов против франков. Король подвергся нападкам не столько из-за его характера монарха, сколько из-за его качеств главы феодальной системы. Его не упрекали в нарушении законов, но нация хотела эмансипироваться и перестроиться.

"В Англии, если бы Карл I сдался добровольно, если бы он обладал умеренным и нерешительным характером Людовика XVI. он бы выжил.

"Во Франции, напротив, если бы Людовик XVI. если бы он оказал открытое сопротивление, если бы у него были мужество, активность и пыл Карла I. он бы восторжествовал.

"На протяжении всего конфликта Карл I, изолированный в своем королевстве, был окружен только сторонниками и друзьями и никогда не был связан с какой-либо конституционной ветвью своих подданных.

"Louis XVI. его поддерживали регулярная армия, иностранная помощь и две конституционные части нации — дворянство и духовенство. Кроме того, Людовику XVI оставалось принять второе решающее решение, которое Карл I не в силах был принять, а именно: перестать быть *феодальным вождем*, чтобы стать *национальным вождем*. К сожалению, он не мог определиться ни с тем, ни с другим.

Следовательно, Карл I погиб, потому что сопротивлялся, а Людовик XVI. потому что он не сопротивлялся. Один был совершенно убежден в преимуществах своей прерогативы; но сомнительно, чтобы у другого была какая-либо такая убежденность, так же как и то, что он чувствовал необходимость пользоваться своими привилегиями.

"В Англии смерть Карла I. была результатом коварных и чудовищных амбиций одного человека.

"Во Франции это было делом рук слепой толпы, беспорядочного народного собрания.

"В Англии представители народа проявили легкий оттенок благопристойности, воздержавшись от того, чтобы быть судьями и исполнителями убийства, которое они совершили; они назначили трибунал для суда над королем.

"Во Франции представители народа считались одновременно обвинителями, судьями и палачами.

"В Англии этим делом руководила невидимая рука: оно принимало видимость размышлений и спокойствия. Во Франции этим управляла толпа, ярости которой не было предела.

"В Англии смерть короля породила Республику. Во Франции, напротив, рождение Республики привело к смерти короля.

"В Англии политический взрыв был вызван усилиями самого яркого религиозного фанатизма. Во Франции это произошло под одобрительные возгласы циничного нечестия; каждый в соответствии с разным возрастом и манерами.

"Английская революция была вызвана эксцессами мрачной школы Кальвина. Расплывчатые доктрины современной школы вызвали бурю во Франции.

"В Англии Революция была смешана с гражданской войной. Во Франции это сопровождалось иностранной войной; и усилиям и противодействию иностранцев французы могут справедливо приписать свои эксцессы. Англичане не могут привести такого оправдания своим действиям.

"В Англии армия доказала, что способна на любой акт возмущения и ярости; это был бич граждан.

"Во Франции, напротив, мы были обязаны всеми благами армии. Ее победы за границей либо уменьшили, либо заставили нас забыть о наших ужасах дома. Армия обеспечила независимость и славу Франции.

"В Англии Реставрация была делом рук английского народа, который приветствовал это событие с самым живым энтузиазмом. Нация избежала рабства и, казалось, вновь обрела свободу. Во Франции все было не совсем так.

"В Англии зять сверг своего тестя с трона. Его поддержала вся Европа, и память об этом поступке почитаема и нетленна.

Напротив, во Франции избранный народом государь, правивший в течение пятнадцати лет с согласия своих подданных и иностранцев, вновь появился на мировой арене, чтобы захватить скипетр, который он считал своим. Европа массово восстала и объявила его вне закона. Тысячи человек выступили против него; он сдался; его бросили в плен, и теперь предпринимаются попытки запятнать блеск его памяти!"

ОБЪЯСНЕНИЕ С ДОКТОРОМ О'МИРОЙ.—КОНСУЛЬСТВО.—МНЕНИЕ ЭМИГРАНТОВ  
ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСУЛА.—НАМЕРЕНИЯ ИМПЕРАТОРА В ОТНОШЕНИИ  
СОБСТВЕННОСТИ ЭМИГРАНТОВ.—УДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В  
КАРЬЕРЕ ИМПЕРАТОРА.—МНЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ ОТНОСИТЕЛЬНО НАПОЛЕОНА.—  
ЕГО КОРОНАЦИЯ ПАПОЙ РИМСКИМ.—ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ В  
ТИЛЬЗИТЕ.—ИСПАНСКИЕ БУРБОНЫ.—СТРОИТЕЛЬСТВО ЗНАМЕНИТОГО  
ДЕРЕВЯННОГО ДВОРЦА.

6. Император послал за мной в девять часов. Он был раздосадован поведением нового губернатора, и особенно тем, что тот, по-видимому, намеревался осквернить его последнее скромное убежище. Он предпочел смерть этому последнему оскорблению; и он был полон решимости пойти на любой риск, чтобы противостоять ему. Катастрофа казалась неизбежной. Император действительно пришел к выводу, что была решимость осуществить это, и что искался лишь какой-нибудь благовидный предлог. Он был полон решимости не уклоняться от этого. “Я готов ко всему”, - сказал он в определенный момент уверенности. “Они убьют меня здесь, это несомненно....”

Император послал за доктором О'Мира, чтобы узнать его личное мнение. Он просил меня передать ему по-английски, что до сих пор у него не было причин жаловаться на него: напротив, он считал его честным человеком и в качестве доказательства этого безоговорочно полагался бы на ответы, которые он мог бы получить на вопросы, которые собирался ему задать. По его словам, необходимо прийти к взаимопониманию. Должен ли он рассматривать его как своего личного врача или просто как тюремного врача, назначенного английским правительством? Был ли он его духовником или инспектором? Составлял ли он отчеты о себе, или это было его намерение сделать, если потребуется? В одном случае император сказал, что с готовностью продолжит принимать его посетителей, и был благодарен за услуги, которые он уже получил; в другом случае он поблагодарил его и попросил прекратить свои визиты.

Доктор ответил с большой твердостью и с чувством. Он сказал, что его назначение было исключительно профессиональным и не имело никакого отношения к политике; он считал себя личным врачом императора и был чужд всем другим соображениям; что он не делал никаких отчетов об императоре и что от него пока ничего не требовали; что он не может представить себе никаких обстоятельств, которые побудили бы его сделать отчет, за исключением случаев серьезной болезни, когда может потребоваться помощь других специалистов.

Около трех часов дня император вышел в сад с намерением сесть на лошадь. Он долгое время диктовал генералу Гурго и почти прошел через события 1815 года. Он был очень доволен результатом своего труда.

Затем я порекомендовал ему начать историю Консульства; тот блестящий период, когда нация, находившаяся в состоянии распада, была в несколько мгновений волшебным образом восстановлена в соответствии со своими законами, религией, моралью, истинными принципами и честными предрассудками; и все это под всеобщие аплодисменты и восхищение изумленной Европы.

В то время я был в Англии. Я сказал императору, что масса эмигрантов была насильственно поражена этими актами. Отзыв священников и эмигрантов был воспринят как благословение, и подавляющее большинство воспользовалось этим.

Император спросил меня, не были ли мы шокированы словом "амнистия"? — "Нет, - ответил я, - мы знали все трудности, с которыми столкнулся Первый консул в этом отношении. Мы знали, что всеми преимуществами этой меры были обязаны ему, что он один был нашим защитником и что все зло исходило от тех, с кем он был вынужден бороться в нашу пользу. Впоследствии, - добавил я, - по нашем возвращении во Францию мы действительно обнаружили, что консул мог бы лучше относиться к нам в отношении нашей собственности, и это без особых трудностей, просто заняв молчаливую и пассивную позицию. По нашему мнению, этого было бы достаточно в любом случае, чтобы добиться дружественных договоренностей между старыми владельцами и покупателями".

"Несомненно, я мог бы это сделать," сказал император, "но мог ли я в достаточной степени доверять эмигрантам?— Ответь мне на этот вопрос".

"Сир, " ответил я, "теперь, когда я лучше разбираюсь в государственных делах и имею более всеобъемлющий взгляд на вещи, я легко могу понять, что политика требовала от вас действовать так, как вы действовали. Недавние обстоятельства доказали, насколько мудрым был курс, которого вы придерживались. Было бы плохой политикой вызвать недовольство нации. Вопрос о национальной собственности является одним из первых оплотов общественного духа и национальной партии".

"Вы правы, - заметил император, - но, тем не менее, я мог бы исполнить все, что было пожелано. На мгновение я лелеял идею сделать это, и я совершил ошибку, не реализовав эту идею. Я намеревался сформировать массу, или *синдикат*, из всего непроданного имущества эмигрантов и, по их возвращении, распределить его между ними в пропорциональном соотношении. Но когда я начал раздавать собственность частным лицам, я вскоре обнаружил, что создал слишком много богатых людей, и что они платили мне за мои услуги дерзостью. Те, кто путем просьб и раболепия, возможно, получил годовой доход в 50 или 100 000 крон, больше не снимали передо мной шляпы; и, далекие от того, чтобы выражать ни малейшей благодарности, они имели наглость притворяться, что тайно платили за оказанные им услуги. Так вело себя все Сен-Жерменское предместье. Я восстановил благосостояние этих людей, и они по-прежнему оставались не менее враждебными и антинациональными. Затем, несмотря на закон об амнистии, я запретил возвращать непроданные леса, когда они превышают определенную стоимость. Это, несомненно, был акт несправедливости, согласно букве закона; но политика настоятельно требовала этого: ошибка заключалась в составлении закона и недальновидности, которая его продиктовала. Эта реакция с моей стороны разрушила весь положительный эффект от отзыва эмигрантов и лишила меня привязанности всех знатных семей. Я мог бы защититься от этого зла или нейтрализовать его воздействие с помощью моего синдиката. Ради одной великой семьи, оказавшейся в отчуждении, я мог бы заручиться привязанностью сотни провинциальных дворян и, таким образом, на самом деле строго подчинился бы правосудию, которое требовало, чтобы эмигранты, которые все подверглись одинаковому риску, совместно нажили свое состояние на борту одного корабля, потерпели одинаковое крушение и понесли одинаковое наказание, получили одинаковую компенсацию. Здесь я совершил ошибку, - ошибку, - сказал император, - которая *"which"* тем более

непростительна, что я имел представление о плане, о котором только что упомянул. Но я стоял один, и меня окружали противодействие и трудности. Все партии были враждебны к эмигрантам, а между тем на меня давили важные дела, время шло, и я был вынужден обратить свое внимание на другие дела.

“Даже после моего возвращения с Эльбы, - продолжал император, “ я был близок к осуществлению проекта того же рода. Если бы у меня было время, я бы обратил свое внимание на бедных эмигрантов из провинций, которыми пренебрегал Двор. Довольно странным обстоятельством является то, что эта идея была подсказана мне старым бывшим министром Людовика XVI, чьи услуги были весьма скверно вознаграждены принцами, и который указал мне на различные планы, с помощью которых можно было бы успешно устранить зло того же рода ”.

“Сир, ” заметил я, - разумная часть эмигрантов хорошо знала, что те немногие благородные и либеральные идеи, которые лелеялись в отношении них, исходили только от вас; они знали, что все, кто вас окружал, желали их уничтожения. Они знали, что сама идея благородства ненавистна им; и они отдавали должное вам за то, что вы не придерживались такого мнения. Поверите ли, их самолюбие иногда находило определенное утешение в мысли, что вы принадлежите к их собственному классу?”

Затем император спросил меня, каково мнение эмигрантов относительно его рождения, событий его жизни и т. Д. Я ответил, что мы впервые видели его во главе итальянской армии и что мы совершенно ничего не знаем о всей его предыдущей истории. Мы никогда не могли назвать его *де Бонапарте*. На это император рассмеялся. Затем поворот нашего разговора привел его к замечанию, что он часто размышлял о странном стечении второстепенных обстоятельств, которые привели к его замечательной карьере.

1-й: “Если бы, - сказал он, “ мой отец, умерший, не дожив до сорока лет, прожил еще немного, он был бы назначен депутатом Учредительного собрания от корсиканской знати. Он был очень привязан к дворянству и аристократии; с другой стороны, он был горячим приверженцем щедрых и либеральных идей. Следовательно, он был бы либо полностью на правой стороне, либо, по крайней мере, в меньшинстве знати. В любом случае, какими бы ни были мои личные взгляды, я должен был пойти по стопам своего отца, и таким образом моя карьера была бы полностью разрушена и потеряна.

2. “Если бы я был старше во время революции, я, возможно, сам был бы назначен депутатом. Будучи человеком восторженным, я безошибочно принял бы какое-нибудь мнение и горячо следовал бы ему. Но в любом случае я бы отказался от военной службы, и, таким образом, моя карьера снова изменилась бы.

3. “Если бы моя семья была более известной, более богатой или более выдающейся, мое дворянское звание, даже несмотря на то, что я следовал курсу революции, превратило бы меня в шифр и объявило вне закона. Я никогда не смог бы обрести уверенность; я никогда не смог бы командовать армией; или, если бы я получил такое командование, я не смог бы отважиться делать все, что я делал. Если бы обстоятельства моей семьи отличались от того, какими они

были на самом деле, я не смог бы, при всем моем успехе, следовать моим либеральным идеям в отношении священников и знати, и я никогда бы не стал главой правительства.

в-четвертых, “Количество моих сестер и братьев также является обстоятельством, которое оказалось для меня очень полезным, увеличив мои связи и средства влияния.

5 в-четвертых, “Мой брак с мадам де Богарнуа привел меня в соприкосновение с партией, помощь которой была необходима в моей системе слияний, которая была одним из главных принципов моего правления и которой оно особенно отличалось. Если бы не моя жена, у меня не было бы никакой естественной связи с этой партией.

в-шестых, “Даже мое иностранное происхождение, хотя во Франции были предприняты попытки поднять протест против него, не осталось без внимания благодаря преимуществам. Итальянцы считали меня своим соотечественником, и это обстоятельство в значительной степени способствовало моему успеху в Италии. После достижения этого успеха были начаты расследования относительно истории нашей семьи, которая долгое время была погружена в неизвестность. Итальянцы признали, что моя семья сыграла выдающуюся роль в событиях в их стране. Они считали меня итальянской семьей. Таким образом, когда обсуждался вопрос о браке моей сестры Полины с князем Боргезе, в Риме и Тоскане среди членов этой семьи и их приверженцев был только один голос: “Что ж, - сказали они, - союз заключен между нами; это наши собственные связи”. Впоследствии, когда было предложено, чтобы император был коронован папой в Париже, на пути этого важного события, как впоследствии показали обстоятельства, возникли большие препятствия. Австрийская партия в конклаве яростно выступила против этой меры; но итальянская партия приняла решение в ее пользу, добавив к политическим соображениям немного национального самолюбия.”“Мы are placing,” said they, ‘апиталийскую семью на трон, чтобы она управляла этими варварами: так мы отомстим галлам’.”“Галлы”..”

Эти замечания, естественно, побудили императора заговорить о папе, который, по его словам, был довольно благосклонно расположен к нему. Папа не обвинял Наполеона в том, что он отдал приказ о его высылке во Францию. Он был очень возмущен, прочитав в некоторых публикациях, что император относился к нему с неуважением. В Фонтенбло он получил все знаки внимания, какие только мог пожелать. Когда он узнал о возвращении императора с Эльбы во Францию, он сказал Люсьену тоном, выражавшим его уверенность и беспристрастность, *’E sbarcato e arrivato* (он высадился, он прибыл). Впоследствии он сказал: “Ты едешь в Париж; помирись со мной. Я в Риме; между нами не возникнет никаких разногласий”.

“Несомненно, ” сказал император, “ что Рим предоставит моей семье естественное и благоприятное убежище: там они смогут почувствовать себя как дома. Наконец, - добавил он, улыбаясь, - даже мое имя Наполеон, которое в Италии является необычным, поэтичным и звучным, внесло свою лепту в великие обстоятельства моей жизни”.

Я упомянул императору то, что я уже отмечал, а именно, что большая масса эмигрантов была далека от того, чтобы быть несправедливой к нему. Разумная часть старой аристократии недолго любила его, это правда, но только потому, что он оказался препятствием для их взглядов. Они знали, как оценить его достижения и таланты, которыми восхищались, несмотря на свои склонности. Даже фанатики признавали, что у него был только один недостаток: “Почему он не является законным?” - часто можно было услышать, как они говорили. Аустерлиц

ошеломил нас, хотя и не покори́л; но Тильзит поверг все ниц. “Ваше величество, - сказал я, - могли бы сами судить об этом и по возвращении насладиться единодушным почтением, одобрением и добрыми пожеланиями”.

“То есть, - заметил император, улыбаясь, - если бы в то время я мог или захотел предаваться отдыху и удовольствиям; если бы я смирился с ленью, если бы все вернулось на круги своя, вы бы обожали меня?” Но если бы таков был мой вкус и склонность, и, конечно, ничто так не противоречило бы моему естественному характеру, обстоятельства не позволили бы мне поступать так, как мне заблагорассудится”.

Затем император упомянул о многочисленных трудностях, с которыми он постоянно сталкивался в окружении и под контролем; и, ссылаясь на войну в Испании, он сказал: “Эта несчастливая война разори́ла меня; она разделила мои силы, вынудила меня умножить мои усилия и поставила под удар мои принципы; и все же было невозможно оставить полуостров добычей происков англичан, интриг, надежд и притязаний бурбонов. Кроме того, испанские бурбоны не были рассчитаны на то, чтобы внушать большой страх. На национальном уровне они были чужды, а мы им. В замке Маррах и в Байонне я наблюдал, как Карл IV. королева не видела разницы между мадам де Монморанси и новыми дамами: имена последних действительно стали для них более знакомыми из газет и публичных документов. Императрица Жозефина, обладавшая тончайшим тактом в вопросах подобного рода, никогда не переставала ссылаться на это обстоятельство. Испанская королевская семья умоляла меня удочерить дочь и сделать ее принцессой Астурийской. Они указали на мадемуазель де Ташер, впоследствии герцогиню Арембергскую; но у меня были личные причины возражать против этого выбора. На мгновение я остановил свой выбор на мадемуазель де Ларошфуко, впоследствии принцессе Альдобрандини; но мне нужна была женщина, искренне преданная моим интересам, настоящая француженка, обладающая талантом и информацией, и я не мог остановиться на той, кто наделен всеми желаемыми качествами”.

Затем, вернувшись к войне в Испании, император продолжил: “Эта комбинация погубила меня. Все обстоятельства моих бедствий связаны с этим роковым узлом: он разрушил мою моральную силу в Европе, усугубил мои затруднения и открыл школу для английских солдат. Именно я обучал английскую армию на полуострове.

“События доказали, что я совершил большую ошибку в выборе своих средств; ибо ошибка заключается в средствах гораздо больше, чем в принципах. Не подлежит сомнению, что в условиях кризиса, в котором тогда находилась Франция, в борьбе новых идей, в великом деле эпохи против остальной Европы мы не могли оставить Испанию позади, в распоряжении наших врагов: было абсолютно необходимо приковать ее, добровольно или силой, к нашей системе. Судьба Франции требовала этого, а кодекс благосостояния наций не всегда является кодексом благосостояния отдельных людей. Кроме того, к политической необходимости здесь для меня добавилась сила права. Испания, когда увидела, что я в опасности, Испания, когда узнала, что у меня заняты руки в Йене, чуть не объявила мне войну. Оскорбление не должно было остаться безнаказанным: я мог бы, в свою очередь, объявить войну, и, конечно, успех не мог быть сомнительным. Именно это учреждение ввело меня в заблуждение. Нация презирала свое правительство: оно громко призывало к возрождению. С той высоты, на которую подняла меня Судьба, я считал себя призванным, я считал достойным совершить в мире столь великое событие. Я заботился о том, чтобы не пролить крови, чтобы ни одна капля не запятнала

кастильскую эмансипацию. Поэтому я избавил испанцев от их отвратительных институтов; я дал им либеральную конституцию; я счел необходимым, возможно, слишком легкомысленно, сменить их династию. Я поставил во главе их одного из моих братьев, но он был единственным иностранцем среди них. Я уважал целостность их территории, их независимость, их нравы, остатки их законов. Новый монарх получил столицу, не имея ни других министров, ни других советников, ни других придворных, кроме тех, кто принадлежал к покойному Двору. Мои войска были готовы к отступлению: я принес величайшую пользу, которая когда-либо была оказана нации, — так я сказал себе и так продолжаю говорить до сих пор. Сами испанцы, как меня заверили, в глубине души думали именно так и никогда ни на что не жаловались, кроме форм. Я ожидал их благословения, но был разочарован: пренебрегая интересом, они думали только об оскорблении: их возмутила мысль об оскорблении, они пришли в ярость при виде силы, и все бросились к оружию. Все вместе испанцы вели себя как люди чести. Мне нечего сказать по этому поводу: но если они и одержали победу, то были жестоко наказаны за это. Возможно, их следует пожалеть.... Они заслуживали лучшего".

Император обедал с нами сегодня; мы давно не наслаждались его обществом. После ужина он прочел нам роман Флориана о Клодине и несколько отрывков из "Поля и Вирджинии", произведения, которое, по его словам, ему очень нравится из-за ранних воспоминаний.

Прибыл транспорт "Адамант". Это судно недавно обогнало остров. Оно входило в состав конвоя, остальная часть которого прибыла почти месяц назад. Эти корабли привезли знаменитый деревянный дворец, рассказы о котором заполнили все газеты Англии и, вероятно, Европы; а также мебель, по поводу которой газеты также устроили большой парад. Деревянный дворец оказался не более чем набором грубых досок, которые на острове Святой Елены никто не знает, как сколотить, и на подгонку которых ушло бы несколько лет. Великолепие других предметов, конечно, хорошо соответствовало нашей ситуации. Показуха, помпезность и роскошь были для Европы; правда и убожество - для острова Святой Елены.

## ИЛИАДА.—ГОМЕР.

7. Губернатор приехал в Лонгвуд около четырех часов и обошел заведение, никого не попросив о встрече. Его дурное настроение заметно усилилось, его манеры стали жестокими.

Около пяти часов император послал за мной; великий маршал пробыл у него некоторое время. Когда он ушел, император завел со мной разговор о литературе, и мы рассмотрели почти все эпические поэмы, древние и современные. Беседуя об "Илиаде", он взял издание Гомера и прочитал вслух несколько песен. Император очень восхищался "Илиадой". "Это было," сказал он, - подобно Книгам Моисея, знаком и залогом эпохи, в которую это было создано. Гомер в своей эпической поэме проявил себя поэтом, оратором, историком, законодателем, географом и теологом. Его по праву можно назвать энциклопедистом того периода, в который он процвел. "процвел".

Император считал Гомера неподражаемым. Отец Ардуэн осмелился усомниться в подлинности "Илиады" и приписать этот священный памятник древности монаху десятого века. По словам императора, это было совершенной нелепостью. Он добавил, что никогда еще не был так поражен красотой "Илиады", как в этот самый момент; и что ощущения, которые она тогда вызвала у него, полностью убедили его в справедливости всеобщего одобрения, оказанного ей. Он заметил, что одна вещь, которая особенно поразила его, была сочетанием грубости манер с

утонченностью идей. Описывались герои, убивающие животных ради пропитания, готовые их мясо собственными руками и при этом произносящие речи, отличающиеся исключительным красноречием и свидетельствующие о высоком уровне цивилизации.

Император пожелал, чтобы я остался и отобедал с ним. “И все же, - сказал он, - вам, вероятно, было бы лучше за домашним столом; со мной вы будете голодать”. “Сир, - ответил я, - я знаю, что вы плохо обеспечены, но я предпочитаю разделять с вами лишения роскоши, которой наслаждаетесь в другом месте”.

В течение дня император страдал от головной боли, на которую также жаловались некоторые лица из его свиты. Я пожалел, что он не смог выйти на улицу, потому что погода была очень хорошая. После обеда император созвал всю свою свиту в свои покои, и мы оставались с ним до десяти часов.

8. Около пяти часов император вышел проветриться в коляске. По возвращении его посетили несколько английских джентльменов, которым, по обычаю, он задал множество вопросов. Эти джентльмены прибыли на пароходе "Корнуолл": они направлялись в Китай и должны были зайти на остров Святой Елены в январе следующего года по пути обратно в Европу.

После ужина один из приближенных заметил императору, что утром, когда он писал под диктовку четкую копию своего сочинения о битве при Ватерлоо, он испытал болезненное возбуждение и обнаружил, что результат зависел, так сказать, от волоска. Император ничего не ответил, но, повернувшись к Эммануилу, сказал тоном, выражавшим глубокое волнение: “*Сын мой* (это была его обычная манера обращения к нему), ступай и приведи Ифигению в Авлиду, это будет более приятная тема”. Затем он прочел нам эту прекрасную драму, которой он чрезвычайно восхищается.

## ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ИМПЕРАТОРОМ.

9-го. Я поехал обедать в Брайарс с моим сыном и генералом Гурго; и мы остались на маленьком балу. Я встретил там адмирала и никогда не находил его в более приятном расположении духа. Это был первый раз, когда я увидел его после приключения в Новеррасе; я понимал, как сильно это обстоятельство ранило его. Он собирался отбыть в Европу, и я понимал чувства императора. Я двадцать раз почти поддавался искушению открыто затронуть эту тему и таким образом примирить его с Наполеоном. Правда, справедливость и наши собственные интересы требовали этого; но меня удерживали соображения, которые, несомненно, были тривиальными. Как часто с тех пор я винил себя!... Но я не получил этой деликатной миссии и не мог рискнуть взять ее на себя. Адмирал мог бы предать огласке это дело и, возможно, представить его таким образом, который вызвал бы крайнее неудовольствие императора и, возможно, навлек бы на него новые неприятности. По этому поводу я запишу следующие замечания, сделанные императором и слишком хорошо характеризующие его, чтобы их можно было опустить.

Однажды он описывал мне зло, сопутствующее слабости и доверчивости государя; интриги, которые они порождают внутри дворца; и непостоянство, которое они порождают. Он очень ясно продемонстрировал, что государь, отличающийся этими качествами, неизбежно должен стать одураченным придворными и жертвой клеветы. “Я приведу вам доказательство этого”, - сказал он. “Вы сами, кто пожертвовал всем, чтобы следовать за мной; вы, кто проявил такую благородную и трогательную преданность, как, по-вашему, оценивают ваше поведение? Как вы

себе представляете оценку вашего характера? Вас считают просто представителем старой знати, эмигрантом, агентом бурбонов, поддерживающим переписку с англичанами. Говорят, что вы согласились выдать меня им и что вы последовали за мной сюда только для того, чтобы шпионить за мной и продать меня моим врагам. Утверждается, что отвращение и враждебность, которые вы проявляете по отношению к Губернатору, являются лишь ложной видимостью, согласованной между вами с целью скрыть ваше предательство”. Когда я улыбнулся живому ходу его фантазии и словоохотливости, с которой он выражал свои мысли, “Вы можете смеяться, - продолжал он, - но уверяю вас, что я не выдумываю, я просто повторяю сообщения, которые достигли моих ушей. И можете ли вы себе представить, ” продолжал он, “ что глупое, немощное и доверчивое существо не поддалось бы влиянию подобных историй и выдумок? Мои дорогие Лас Кейсы, если бы я не был выше большинства законных представителей, я, возможно, уже был бы лишен ваших услуг здесь, и ваше честное сердце, возможно, было бы обречено страдать от жестоких укулов неблагодарности”. В заключение он сказал: “Как жалок удел человека! Он везде одинаков: на вершине скалы или в стенах дворца! Человек всегда остается человеком!..”

## ЗАМЕЧАНИЯ О ГОШЕ И РАЗЛИЧНЫХ ДРУГИХ ГЕНЕРАЛАХ.

10. Погода была очень плохая, и император, не имея возможности выйти, ходил взад и вперед по столовой. После этого он приказал разжечь камин в гостиной и сел играть в шахматы с великим маршалом. После ужина он прочитал нам историю Иосифа из Библии и "Андромаху" Расина.

Бенгальский флот прибыл вчера вечером. Среди пассажиров были графиня Лаудон и Мойра, жена генерал-губернатора Индии.

Сегодня в ходе разговора, когда было упомянуто имя Гоша, кто-то заметил, что в очень раннем возрасте он внушал большие надежды. “И что еще лучше, - сказал император, - вы можете добавить, что он оправдал эту надежду”. Гош и Наполеон видели друг друга и беседовали два или три раза вместе. Гош относился к нему даже с восхищением. Наполеон, не колеблясь, сказал, что он обладает перед Гошем преимуществами обширной информации и принципов хорошего образования. По его словам, в других отношениях между ними была большая разница. “Гош, “ сказал он, - пытался создать себе партию, но приобрел лишь раболепных приверженцев. Со своей стороны, я создал для себя огромное количество приверженцев, никоим образом не стремясь к популярности. Гош обладал вызывающей враждебность честолубием; он был из тех людей, которые могли замыслить выступить из Страсбурга с 25 000 человек, чтобы силой захватить бразды правления. Но моя политика всегда была терпеливой, руководствуясь духом эпохи и обстоятельствами момента”.

Император добавил, что Гош в конечном счете либо уступил бы ему, либо должен был подчинить его, и, поскольку он любил деньги и удовольствия, он не сомневался, что тот уступил бы ему. Моро, заметил он, в подобных обстоятельствах не знал, как поступить. Таким образом, Наполеон придавал ему мало значения и считал его совершенно бездарным; однако, не распространяя это мнение на его военный талант. “Но он был слабым человеком, - сказал император, - ведомым теми, кто его окружал, и рабски подчинявшимся контролю своей жены: он был генералом старой монархии.

“Гош, ” продолжал император, - умер внезапно и при странных обстоятельствах; и поскольку существовала партия, которая, по-видимому, считала, что все преступления по праву принадлежат мне, были предприняты попытки распространить слух, что я его отравил. Было время, когда не могло произойти ничего такого, что не было бы приписано мне; так, находясь в Париже, я стал причиной убийства Клебера в Египте; я вышиб мозги Десо в Маренго; я душил и перерезал горло людям, заключенным в тюрьмы; я схватил папу за волосы на его голове; и были подтверждены сотни подобных нелепостей. Однако, поскольку я не обращал на все это ни малейшего внимания, мода прошла, и я не вижу, чтобы мои преемники очень стремились возродить ее; и все же, если бы какое-либо из вменяемых мне преступлений имело какое-либо реальное существование, документы, исполнители, сообщники и т.д. Могли бы быть предъявлены.

Однако влияние репортажей таково, что этим историям, какими бы абсурдными они ни были, поверили обычные люди, и, возможно, многие люди верят им до сих пор. К счастью, заявления историка, который рассуждает, лишены этого пагубного эффекта”.

Затем, возвращаясь к прежней теме разговора, он сказал: "Какое количество великих генералов внезапно появилось во время революции: Пишегрю, Клебер, Массена, Марсо, Дезэ, Гош и др., и почти все изначально были рядовыми. Но здесь усилия природы, по-видимому, были исчерпаны, ибо с тех пор она ничего не произвела, или, по крайней мере, ничего столь великого. В то время все было предметом конкуренции тридцати миллионов людей, и природа неизбежно отстаивала свои права: тогда как впоследствии мы снова были ограничены более узкими рамками порядка и общественных форм. Меня даже обвиняли в том, что я окружил себя на военных и гражданских постах людьми с более низкими способностями, чтобы лучше продемонстрировать свое собственное превосходство. Но теперь, когда конкуренция, безусловно, не будет возобновлена, тем, кто находится у власти, остается сделать лучший выбор. Посмотрим, что они будут делать.

Другим обстоятельством, не менее примечательным, была чрезвычайная молодость некоторых из этих генералов, которые, казалось, были созданы самой природой. Их характеры идеально соответствовали обстоятельствам, в которые они попали, за исключением Гоша, чья мораль ни в коем случае не была чистой. У остальных не было никаких целей, кроме *славы* и *патриотизма*, которые составляли весь их круг. Это были люди по античному образцу.

Арабы прозвали Десо *Справедливым султаном*; на похоронах Марсо австрийцы соблюдали перемирие из-за уважения, которое они питали к нему, а молодой Дюпо был олицетворением совершенной добродетели.

Но таких же похвал нельзя удостоить тех, кто продвинулся в жизни дальше, ибо они в какой-то мере принадлежали к только что ушедшей эпохе. Массена, Ожеро, Брюн и многие другие были просто бесстрашными грабителями. Более того, Массена отличался самой низменной алчностью. Утверждалось, что я сыграл с ним шутку, которая могла повлечь за собой повешение; что, будучи однажды возмущен его последними грабежами, я вытянул у его банкира 2 или 3 000 000 долларов. Последовало большое замешательство, поскольку мое имя имело вес. Банкир написал *intime*, что он не может выплатить сумму без разрешения Массены. С другой стороны, его убеждали выплатить эту сумму без колебаний, поскольку Массена, если бы с ним поступили несправедливо, мог обратиться в суд за справедливостью. Массена, однако, не прибегнул к юридическим мерам и понес выплату денег.

"О ..., Мюрат и Ней были заурядными генералами, не имевшими никаких рекомендаций, кроме личной храбрости.

"Монси был честным человеком; Макдональд отличался твердой честностью; я был обманут относительно характера Б...."

У С- тоже были свои недостатки, так же как и достоинства. Вся его кампания на юге Франции была проведена превосходно. Едва ли кто-нибудь поверит, что этот человек, чьи манеры свидетельствовали о высоком характере, был рабом своей жены. Когда я узнал в Дрездене о нашем поражении при Виттории и о потере всей Испании из-за неправильного управления беднягой Жозефом, чьи планы и меры не соответствовали нынешнему веку и, казалось, скорее принадлежали субизу, чем мне, я огляделся в поисках кого-нибудь, способного исправить эти бедствия, и я обратил свой взор на С., который был рядом со мной. Он сказал, что готов предпринять все, что я пожелаю; но умолял, чтобы я поговорил с его женой, от которой, по его словам, он ожидал упреков. Я попросил его прислать ее ко мне. Она напустила на себя враждебный вид и решительно заявила мне, что ее мужу ни в коем случае не следует возвращаться в Испанию; что он уже оказал важные услуги и теперь имеет право на небольшой отдых. 'Мадам, - сказал я ей, - я послал за вами не для того, чтобы терпеть ваши нагоняи. Я не твой муж, а если бы и был, то не был бы более склонен терпеть тебя. 'Эти несколько слов сбили ее с толку; она стала податливой, как перчатка, стала совершенно подобострастной и горела желанием добиться лишь нескольких условий. Однако я ни в коем случае не согласился с ними и ограничился тем, что поздравил ее с готовностью прислушаться к голосу разума. "В критических обстоятельствах, сударыня, - сказал я, - долг жены - стараться сглаживать трудности; возвращайтесь домой к своему мужу и не мучайте его своим противодействием".

## НЕЛЕПОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ, ПРИСЛАННОЕ СЭРОМ ХАДСОНОМ ЛОУ.

11—го. - В четыре часа я был у императора. В комнату вошел великий маршал и передал ему записку. Император, просмотрев письмо, вернул его, пожав плечами и сказав: "Это слишком абсурдно! Ответа нет; передайте его Лас Кейсу".

Будет ли это засчитано? Это была записка от губернатора главному маршалу, приглашавшая *генерала Бонапарта* отобедать в Плантейшн-Хаусе, чтобы познакомиться с леди Лаудон, женой лорда Мориа. Я покраснела от непристойности. Что может быть нелепее? Сэр Хадсон Лоу, несомненно, считал это совершенно естественным; и все же он долгое время проживал в штаб-квартирах армий на Континенте и принимал участие в дипломатических операциях того времени!!...

Мистер Скелтон, заместитель губернатора острова, который собирался отбыть в Европу, приехал в сопровождении своей жены проститься с императором. Они остановились пообедать в Лонгвуде.

Эта достойная семья, которую вопреки нашему желанию мы выслали из Лонгвуда, чьи перспективы мы разрушили, лишив по прибытии должности заместителя губернатора, — эта превосходная семья, которой мы причинили настоящую личную боль, - является, однако, единственной на острове, от которой мы испытывали неизменное уважение и вежливость. Поэтому мы попрощались с ними с искренними пожеланиями их благополучия. Мы всегда будем вспоминать о них с чувством глубочайшего интереса.

## НАПОЛЕОН В ИНСТИТУТЕ.—В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ.—ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС.—ПОСЛАНИЕ ЛОРДУ СЕНТ—ВИНСЕНТУ.—О ВНУТРЕННИХ РАЙОНАХ АФРИКИ.—МОРСКОЙ ДЕПАРТАМЕНТ.—ДЕКРЕ.

12. Император, прогуливаясь по саду и беседуя на различные темы, говорил об Институте, о том, как он был устроен, о духе его членов и т. Д. Когда он занял свое место в институте, вернувшись из итальянской армии, он сказал, что может считать себя десятым в своем классе, который состоял примерно из пятидесяти человек.

Лагранж, Лаплас и Монж были во главе этого класса. Это было довольно примечательное обстоятельство, которое привлекло значительное внимание в то время, - видеть, как молодой генерал армии Италии занял свое место в Институте и публично обсуждал глубокие метафизические темы со своими коллегами. Тогда его называли *Геометром* сражений, *Механиком* победы и т.д.

Став первым консулом, Наполеон произвел не меньшую сенсацию в Государственном совете. Он постоянно председательствовал на заседаниях по составлению гражданского кодекса. "Тронше, - сказал он, - был душой этого кодекса, а он, Наполеон, был его демонстратором". Тронше был одарен необычайно глубоким и правильным пониманием; но он не мог снизить до развития событий. Он плохо говорил и не мог защитить то, что предлагал. "Весь совет, - сказал император, - сначала воспротивился его предложениям", но Наполеон, с его проницательностью и легкостью улавливать и создавать яркие и новые связи, встал и, не зная предмета, кроме правильной основы, предоставленной Тронше, развил свои идеи, отбросил возражения и привел всех к своему мнению.

Протокол заседания Государственного совета передал нам импровизированные речи Первого консула по большинству статей гражданского кодекса. В каждой строчке мы поражаемся правильности его наблюдений, глубине его взглядов и, в особенности, широте его чувств.

Таким образом, несмотря на противодействие, которое было выдвинуто против этого, мы в долгу перед ним за ту статью Кодекса, которая гласит, что каждый человек, родившийся во Франции, является французом. "Я хотел бы знать, " сказал он, - какие неудобства могут возникнуть из-за признания каждого человека, родившегося во Франции, французом? Расширение французских гражданских законов может иметь только благоприятные последствия; таким образом, вместо предписания, согласно которому лица, рожденные во Франции от отца-иностранца, должны получать гражданские привилегии только тогда, когда они заявляют о своем желании ими пользоваться, может быть постановлено, что они будут лишены этих привилегий только тогда, когда они формально откажутся от них.

"Если лица, родившиеся во Франции от отца-иностранца, не должны рассматриваться как пользующиеся всеми привилегиями французам, мы не можем призывать на военную службу и выполнять другие общественные обязанности сыновей тех иностранцев, которые женились во Франции во время событий войны.

"Я придерживаюсь мнения, что этот вопрос следует рассматривать только применительно к интересам Франции. Хотя люди, родившиеся во Франции, не обладают собственностью, они, по крайней мере, проникнуты французским духом и следуют французским обычаям. Они лелеют ту

привязанность, которую каждый человек естественным образом испытывает к стране, давшей ему жизнь; наконец, они помогают нести общественное бремя”.

Первый консул отличился не меньше тем, что поддержал статью, которая сохраняет привилегии французов по отношению к детям, рожденным от французов, поселившихся в зарубежных странах, и этот закон он распространил, несмотря на мощное противодействие. “Французский народ, - сказал он, - многочисленный и трудолюбивый народ, рассеян по всем частям света; и со временем он будет рассеян в еще большем количестве. Но французы посещают зарубежные страны только для того, чтобы сколотить состояние. Действия, посредством которых они, по-видимому, на мгновение привязываются к иностранным правительствам, преследуют единственную цель - получить защиту, необходимую для их различных спекуляций. Если они намереваются вернуться во Францию после того, как разбогатеют, будет ли правильным исключить их?

“Если случится так, что страна, находящаяся во владении Франции, будет захвачена врагом, а затем передана ему по мирному договору, будет ли справедливо сказать тем жителям, которые могли бы поселиться на территории республики, что они утратили свои права французов за то, что не покинули свою бывшую страну в момент ее передачи; и потому, что они присягнули на временную верность новому Суверену, чтобы выиграть время для распоряжения своей собственностью и перевода своего богатства во Францию?”

Во время другого обсуждения вопроса о смерти солдат, когда возникли некоторые трудности относительно тех, кто мог умереть в чужой стране, Первый консул с живостью воскликнул: "Солдат никогда не бывает за границей, когда он под национальным знаменем. Место, где развернут штандарт Франции, становится французской землей!"

По вопросу о разводе Первый консул высказался за принятие этого принципа и долго говорил о несовместимости, которую пытались опровергнуть.

“Считается, - сказал он, - что развод противоречит интересам женщин и детей и духу семьи; но нет ничего более противоречащего интересам состоящих в браке людей, когда их настроения несовместимы, чем ставить их перед альтернативой: либо жить вместе, либо публично разойтись. Нет ничего более противоположного семейному счастью, чем разделенная семья. Раньше раздельное проживание имело в отношении жены, мужа и детей почти такой же эффект, как развод, и все же это было не так часто, как разводы сейчас. Это сопровождалось лишь дополнительным неудобством, заключавшимся в том, что женщина с дурным характером могла продолжать позорить имя своего мужа, потому что ей было позволено сохранить его”.

Выступая против составления статьи, в которой указывались бы причины, по которым развод был бы допустим, он сказал: "Но разве это не большое несчастье - быть вынужденным разоблачать эти причины и раскрывать даже самые мелкие и частные семейные подробности?

“Кроме того, всегда ли этих причин, даже в случае их реального существования, будет достаточно для получения развода? Например, обвинение в супружеской неверности может быть успешно подтверждено только доказательствами, которые всегда очень трудно, а иногда даже невозможно представить. И все же муж, который не должен быть в состоянии представить эти доказательства, был бы вынужден жить с женщиной, которую он ненавидит и презирает, и которая вводит в его семью незаконнорожденных детей. Его единственным спасением была бы разлука с кроватью и питанием, но это не защитило бы его имя от бесчестия”.

Возобновив поддержку принципа развода и выступив против определенных ограничений, он продолжил: "Брак не всегда, как предполагается, является результатом привязанности. Молодая женщина соглашается выйти замуж ради соответствия моде, обретения независимости и собственного устройства. Она принимает мужа непропорционального возраста, чьи вкусы и привычки не соответствуют ее собственным. Тогда закон должен предоставить ей ресурс на случай, если иллюзия исчезнет, и она обнаружит, что ее связывают разнородные узы и что ее ожидания не оправдались.

"Форма брака зависит от манер, обычаев и религии каждого народа. Таким образом, его формы не везде одинаковы. В некоторых странах жены и наложницы живут под одной крышей, а с рабами обращаются как с детьми: следовательно, организация семей не выводится из закона природы. Браки римлян не были похожи на браки французов.

"Меры предосторожности, установленные законом для предотвращения того, чтобы люди в возрасте пятнадцати-восемнадцати лет бездумно заключали помолвку, которая распространяется на всю их жизнь, безусловно, мудры. Но достаточны ли они?

"То, что после десяти лет, проведенных в браке, развод не должен допускаться, кроме как по очень веским причинам, также является надлежащим правилом. Поскольку, однако, браки, заключаемые в ранней юности, редко являются выбором самих сторон, а заключаются их семьями из заинтересованности, будет правильно, если сами стороны поймут, что они не созданы друг для друга, им следует предоставить возможность расторгнуть союз, о котором у них не было возможности подумать. Однако предоставляемая им таким образом возможность не должна способствовать легкомыслию или страсти. Она должна быть окружена всеми мерами предосторожности и всеми формами, рассчитанными на предотвращение злоупотребления ею. Стороны, например, могут быть заслушаны на тайном семейном совете, проводимом под председательством магистрата. В дополнение к этому, если сочтут необходимым, можно было бы установить, что женщине должно быть разрешено подать на развод только один раз и что ей не следует позволять повторно выходить замуж менее чем через пять лет, чтобы мысль о втором браке не побудила ее расторгнуть первый; что после того, как женатые люди прожили вместе десять лет, расторжение брака должно быть очень затруднено и т.д.

"Давать развод только по причине публично доказанного прелюбодеяния - значит полностью запрещать его; ибо, с одной стороны, мало случаев прелюбодеяния могут быть доказаны, а, с другой стороны, мало найдется мужчин, достаточно бесстыдных, чтобы разоблачать позор своих жен. Кроме того, было бы возмутительно и противоречило бы чести нации раскрывать сцены, происходящие в некоторых семьях; можно было бы заключить, хотя и ошибочно, что они дают представление о наших французских нравах".

Первые юристы совета придерживались мнения, что гражданская смерть должна сопровождаться расторжением гражданского договора о браке. Этот вопрос горячо обсуждался. Первый консул с большим воодушевлением воспротивился этому в следующих выражениях: "Тогда женщине, хотя она и полностью убеждена в невиновности своего мужа, должно быть запрещено следовать в изгнание за мужчиной, с которым она связана самыми нежными узами; или, если она уступит своим убеждениям и своему долгу, на нее следует смотреть только как на наложницу! Зачем лишать несчастную супружескую пару права жить вместе под почетным титулом законных мужа и жены?

"Если закон разрешает женщине следовать за своим мужем, не присваивая ей титула жены, он разрешает супружескую измену.

"Общество в достаточной степени отомщено приговором об осуждении, когда преступника лишают его собственности и отрывают от его друзей и связей. Есть ли какая-либо необходимость распространить наказание на жену и насильственно расторгнуть союз, который отождествляет ее существование с существованием ее мужа? Разве она не сказала бы: — "Ты" Вам лучше было бы лишить его жизни, тогда мне было бы позволено, по крайней мере, хранить память о нем; но вы повелеваете, чтобы он был жив, и не позволяете мне утешать его в его горе." горе." Увы! скольких мужчин привела к чувству вины только их привязанность к своим женам! Поэтому тем, кто стал причиной их несчастий, следует, по крайней мере, позволить разделить их. Если женщина выполняет этот долг, вы цените ее добродетель, и все же вы позволяете ей не больше снисхождения, чем было бы распространено на позорную негодяйку, которая занимается проституцией!" Тома могут быть заполнены цитатами такого рода.

В 1815 году, после реставрации, когда я беседовал с месье Бертраном де Мольвиллем, бывшим морским министром при Людовике XVI, человеком больших способностей, отличившимся во многих отношениях, он сказал: "Ваш Бонапарт, ваш Наполеон, надо признать, были очень незаурядными людьми. Как мало мы знали его по ту сторону воды! Мы не могли не поддаться убеждению в его победах и вторжениях, это правда; но Гензерихх, Атила и Аларих были такими же победителями, как и он. Таким образом, он произвел на меня впечатление скорее ужаса, чем восхищения. Но с тех пор, как я здесь, я взял на себя труд просмотреть дебаты по гражданскому кодексу, и с тех пор я преисполнился к нему глубокого почтения. Но где, черт возьми, он собрал все свои знания?... Я каждый день открываю что-то новое. Ах! Сэр, какой человек стоял во главе вашего правительства. На самом деле, он был не кем иным, как вундеркиндом!.."

Около пяти часов император принял капитана Боуэна с фрегата "Сальсетт", который должен отплыть завтра. Он вел себя с ним очень снисходительно. В ходе беседы случайно было упомянуто имя лорда Сент-Винсента, который, по словам капитана, был его покровителем, на что император заметил: "Вы увидите его по возвращении в Англию, и я поручаю вам передать ему мои наилучшие пожелания как хорошему моряку, храброму и достойному ветерану".

Около 7 часов император принял ванну. Он послал за мной, и мы долго беседовали, сначала о событиях дня, затем о литературе и, наконец, о географии. Он выразил свое удивление по поводу того, что мы не обладаем определенными знаниями о внутренних районах Африки. Я сказал ему, что несколько лет назад у меня возникла идея представить его морскому министру план путешествия во внутренние районы Африки; не тайную и полную приключений экскурсию, а обычную военную экспедицию, во всех отношениях достойную эпохи и императора. Министр рассмеялся мне в лицо, когда я впервые заговорил с ним на эту тему, и счел эту идею абсурдной.

Мой план состоял в том, чтобы проникнуть в Африку сразу с севера, юга, востока и запада и образовать соединение в центре; или, если начинать только с востока и запада, я предложил, чтобы две части экспедиции встретились в центре, снова разделились и продолжили путь, одна на север, другая на юг. Я считал вероятным, что после получения от Португальского суда всей информации, которую можно было раздобыть, обнаружилось бы, что сообщение с востока на запад уже существовало или, во всяком случае, очень мало желающих осуществить его. Состояние общественных настроений в то время, наш энтузиазм, наша предприимчивость,

наши чудеса позволили бы легко заполучить 5-600 хороших солдат при необходимом количестве хирургов, терапевтов, ботаников, химиков, астрономов и натуралистов, всех желающих вступить в это предприятие, и мы, несомненно, достигли бы чего-то достойного своего времени.

Необходимый запас вьючных животных, небольшие кожаные лодки для переправы через реки, шкуры для транспортировки воды через пустыни и легкие полевые орудия, пригодные для управления, сделали бы осуществление предприятия легким и завершенным.

“Без сомнения, ” сказал император, “ ваша идея пришлась бы мне по вкусу. Я должен был рассмотреть этот вопрос, вынести его на рассмотрение комитета и довести до результата ”.

Он сказал, что очень сожалеет о том, что во время своего пребывания в Египте у него не было времени совершить что-либо в этом роде. У него были войска, во всех отношениях подходящие для того, чтобы противостоять опасностям пустыни. Он получил подарки от королевы Дарфура и послал ей немного взамен. Если бы он задержался подольше, он намеревался в значительной степени расширить наши географические изыскания в северном районе Африки, и это тоже простейшими средствами, просто поместив в каждый караван по несколько толковых офицеров, для которых он раздобыл бы заложников.

Затем разговор зашел о морском ведомстве. Император очень глубоко вник в тему. Он не мог сказать, что был доволен Декре, и ему даже казалось, что доверие, которое он питал к нему, было не совсем безукоризненным. Трудность поиска более квалифицированных сотрудников удерживала его на своем посту; в конце концов, по словам императора, Декре был лучшим, кого он мог найти. Гантеом был простым моряком, лишенным каких-либо других талантов. Кафарелли, по его словам, утратил свое хорошее мнение, потому что ему сообщили, что его жена замешана в политических интригах, что он считал непростительным проступком. Миссисиси не был человеком, на которого можно было положиться, потому что его семья была одной из тех, кто сдал Тулон. Император на мгновение обратил свой взор на Эмерио, но, поразмыслив, пришел к выводу, что тот не обладает достаточными способностями. Он спрашивал себя, не мог ли Т.занять этот пост; но он решил, что не подходит для этого. Он был хорошим дельцом, это правда; но он очень глубоко погрузился в дела революции; и что укрепило императора в его неодобрении к нему, так это то, что впоследствии он ознакомился с некоторыми из его частных писем, из которых было очевидно, что он все еще придерживался своих старых якобинских настроений.

“Я, ” заметил император, - так упростил выполнение обязанностей на всех своих министерских постах, что почти любой был способен выполнять их, если бы обладал только верностью, рвением и активностью. Однако я должен исключить должность министра иностранных дел, в которой часто приходилось проявлять незаурядный талант убеждения. На самом деле, ” продолжал он, “ в морском ведомстве требовалось совсем немного, и Декре, в конце концов, был, пожалуй, лучшим человеком, которого я мог найти. Он обладал авторитетом; и он выполнял обязанности своей должности скрупулезно и честно. Он был наделен значительной долей понимания, но это проявлялось только в его разговорах и личном поведении. У него никогда не было собственного плана, и он был неспособен воплотить идеи других в жизнь в больших масштабах; он мог ходить, но его никогда нельзя было заставить бегать. Ему следовало бы проводить половину своего времени в морских портах или на борту учебных эскадрилий. Поступая таким образом, он не потерял бы моего расположения. Но, как придворный, он боялся

расстаться со своим портфолио. Это показывает, как мало он меня знал. Он был бы не менее защищен, удалившись от моего Двора: его отсутствие было бы весомым обстоятельством в его пользу”.

Император сказал, что ему очень жаль Латуша-Тревиля, которого он считает человеком настоящего таланта. Он придерживался мнения, что этот адмирал придал быделу другой импульс. Нападение на Индию и вторжение в Англию были бы им, по крайней мере, предприняты и, возможно, осуществлены.

Император винил себя за то, что нанял катера в Болонье. Он сказал, что было бы лучше, если бы он нанял настоящие корабли в Шербуре. Он придерживался мнения, что если бы Вильнев проявил больше энергии на мысе Финистерре, атака могла бы стать практически осуществимой. “Я приготовился к прибытию Вильнева с большим искусством и расчетом, вопреки мнениям и распорядку дня морских офицеров, которые меня окружали. Все произошло так, как я и предвидел, когда бездействие Вильнева все погубило. Но, - добавил император, - Небеса знают, какие инструкции он мог получить от Декре,<sup>[10]</sup> или какие письма могли быть написаны ему частным образом, которые никогда не доходили до моего сведения; ибо, хотя я был очень могущественным и любил доискиваться до каждой вещи, все же я убежден, что был далек от понимания всего, что происходило вокруг меня.

- На днях главный маршал сказал, что в гостиной моего дома часто замечали, что я ни к кому не был доступен после того, как дал аудиенцию морскому министру. Причина была в том, что у него никогда не было для меня никаких новостей, кроме плохих. Со своей стороны, я бросил все после Трафальгарской катастрофы; я не мог бывать везде, и у меня было достаточно дел, чтобы занять свое внимание армиями континента.

“Я давно обдумывал решительную экспедицию в Индию, но мои планы постоянно срывались. Я намеревался разместить 16 000 военнослужащих на борту линейных кораблей; каждый из 74-х должен был принять на борт по 500 военнослужащих, что, конечно, потребовало бы тридцати двух кораблей. Я предложил, чтобы они запаслись водой на четыре месяца; этот запас можно было бы пополнить на острове Франция или в любом пригодном для обитания месте африканской пустыни, Бразилии или Индийского океана. В случае необходимости они могли бы набрать воды в любом месте, где бы ни встали на якорь. По прибытии к месту назначения войска должны были быть высажены на берег, а корабли немедленно отчалить, пополнив численность своих экипажей за счет гибели семи или восьми судов, которые могли быть признаны непригодными к эксплуатации; так что английская эскадра, прибывшая из Европы сразу после этого, не обнаружила бы и следа нашей.

“Что касается армии, предоставленной самой себе и переданной под командование умного и доверенного вождя, она возобновила бы чудеса, которые были нам знакомы, и Европа увидела бы завоевание Индии так же, как она уже видела завоевание Египта”.

Я хорошо знал Декреса; мы оба вместе начинали нашу карьеру в морской пехоте. Я думаю, что он питал ко мне всю дружбу, на которую был способен, и я, со своей стороны, был нежно привязан к нему. Это была неудачная страсть, как я обычно говорил, когда меня объединяла эта тема, что часто случалось, потому что Декреса очень не любили, и я часто думал, что по тем или иным причинам он получал удовольствие от собственной непопулярности. На острове Святой Елены, как и везде, я оказался едва ли не его единственным защитником. Я часто виделся с

ним, когда император находился на острове Эльба, и время от времени он был благосклонен к Наполеону. Мы откровенно поговорили на эту тему, и у меня есть все основания полагать, что он испытывал ко мне полное доверие.

“Как только ваше величество вернулись в Тюильри, ” сказал я императору, - мы с Декре бросились обнимать друг друга, восклицая: ‘Он вернулся! он снова с нами!’ Его глаза наполнились слезами; я должен передать это свидетельство его чувств. “Что ж, - сказал он мне в присутствии своей жены, - теперь я убежден, что часто причинял тебе зло, и я должен возместить тебе это; но твои старые привычки и связи так естественно свели тебя с теми, кто сейчас собирается нас покинуть, что я не сомневался, что рано или поздно ты полностью примиришься с ними, хотя, возможно, тебя часто оскорбляло выражение моих истинных чувств”. — “И ты поверил этому, простак?” - воскликнул император, разразившись приступом смеха. “Это было превосходное произведение придворного искусства; штрих для Лабрюйера. Это была действительно хорошая мысль со стороны Декреса; ибо, если бы во время моего отсутствия от него ускользнуло что—нибудь оскорбительное для меня, он, как видите, загладил бы это раз и навсегда”. — “Что ж, сир, - продолжал я, - то, что я вам только что рассказал, возможно, только забавно; но то, что я сейчас сообщу, имеет более важное значение: во время кризиса 1814 года, перед взятием Парижа, Декреса очень искусно уведомили о его склонности к заговору против вашего Величества, и он был вынужден отказаться. он честно отверг это предложение. Декреса легко и часто выводили из себя; и он обладал определенным авторитетом в своем языке и манерах, что делало его полезным приобретением для любой партии, к которой он мог примкнуть. В тот несчастливый период, о котором я только что упомянул, ему довелось навестить знаменитость, героя махинаций того времени. Последний подошел к Декре и, отведя его в сторону, к камину, взял книгу, сказав: “Я только что читал кое-что, что меня сильно поразило, — вы это услышите. Монтескью в такой—то главе и на такой—то странице говорит: “Когда государь становится выше законов, когда тирания становится невыносимой, у угнетенных не остается иного выбора, кроме как...” - “Хватит!” - воскликнул Декре, закрывая рот читателя рукой. “Я больше ничего не хочу слышать; закрой книгу”. И собеседник хладнокровно отложил книгу, как будто ничего особенного не произошло, и начал говорить совершенно на другую тему ”.

В другом случае некий маршал после своего рокового дезертирства, встревоженный неблагоприятным впечатлением, которое его поведение должно было произвести на общественное мнение, и тщетно ищущий одобрения и поддержки у тех, кто его окружал, попытался заинтересовать Декреса в свою пользу. “Я всегда помнил, ” сказал он Декресу, - одну из наших бесед, в которой вы так энергично расписывали беды и затруднения, обрушившиеся на страну. Сила ваших доводов сильно повлияла на мой шаг, который я предпринял, желая облегчить наши несчастья”. — “Да, мой дорогой друг, - ответил Декре, - но разве вам также не приходило в голову, что вы превзошли свою цель?”

“Чтобы эти анекдоты были оценены по достоинству, - сказал я императору, - я должен сообщить вашему величеству, что их рассказал мне сам Декре во время вашего отсутствия, когда он, конечно, и не подозревал о вашем возвращении”.

Император поддерживал беседу в ванне почти два часа. Он поужинал только в девять часов и попросил меня остаться с ним. Мы поговорили о военной школе в Париже. Я закончил школу всего за год до того, как в нее поступил Наполеон, и поэтому для нас обоих были одни и те же

офицеры, наставники и товарищи. Ему доставляло особое удовольствие возвращаться со мной к этому периоду нашей юности: воскрешать в памяти наши занятия, наши мальчишеские проделки, наши игры и т. Д.

Пребывая в таком веселом расположении духа, он потребовал бокал шампанского, что было довольно необычно, поскольку он так привык к воздержанию, что одного бокала вина было достаточно, чтобы покраснеть и стать очень разговорчивым. Хорошо известно, что он редко засиживается за столом дольше четверти часа или получаса, но сегодня мы просидели больше двух часов. Он был очень удивлен, когда Маршан сообщил ему, что уже одиннадцать часов. “Как быстро пролетело время”, - сказал он с выражением удовлетворения. “Почему я не могу всегда так приятно проводить время?” “Мой дорогой Лас Касес, - сказал он, отпуская меня, - “вы оставляете меня счастливым”.

## ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ МОЕГО СЫНА.—ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.—СЛОВАРЬ ФЛЮГЕРОВ.—БЕРТОЛЕТ.

13. Доктор Уорден и два других джентльмена-медика пришли проконсультироваться по поводу моего сына, чье недомогание встревожило меня.

Император, по моей просьбе, согласился принять доктора Уордена, нашего старого знакомого по Нортумберленду. Он беседовал более двух часов, фамильярно анализируя те действия своего правительства, которые навлекли на него наибольшую долю вражды, лжи и клеветы. Как впоследствии заметил мне Доктор, ничто не могло быть более правильным, ясным, простым, любопытным и удовлетворяющим, чем эти детали.

Император закончил следующими замечательными замечаниями: “Меня мало волнуют клеветы, которые были написаны против меня. Мои поступки и события моего правления опровергают их полнее, чем самые искусные аргументы, которые можно было бы использовать. Я сел на свободный трон. Я пришел к высшей власти незапятнанным преступлениями, которые обычно позорят глав династий. Пусть обращаются к истории, пусть сравнивают меня с другими! Если я и должен опасаться упреков потомства и истории, то не за то, что был слишком суров, а, возможно, за то, что был слишком снисходителен!”

После ужина император просмотрел Dictionnaire des Girouettes (Словарь флюгеров), который задуман с юмором, хотя и не так хорошо выполнен. Это алфавитное собрание живых персонажей, которые появлялись на сцене общественных событий со времен революции, и чей язык, мнения и поведение менялись в зависимости от перемены ветра. К их именам прикреплены флюгера с кратким изложением речей или описанием поступков, которые обеспечили им это отличие. Открывая работу, император заинтересовался, упоминается ли в ней кто-нибудь из нас. “Нет, сир”, - в шутку ответил кто-то из присутствующих, “никто, кроме вашего величества”. Имя Наполеона действительно было зафиксировано в этой работе, потому что, как было подтверждено, он сначала санкционировал республику, а затем присвоил себе прерогативу королевской власти.

Император прочитал нам несколько статей из Словаря. Контраст, проявлявшийся в разное время в языке и поведении определенных личностей, был поистине любопытен; и переход в некоторых случаях совершался с таким хладнокровием и бесстыдством, что император несколько раз прерывал чтение и раздражался сердечным приступом смеха. Однако,

просмотрев несколько страниц, он закрыл книгу с выражением отвращения и сожаления, заметив, что, в конце концов, публикация была позором для общества, кодексом порочности и свидетельством нашего бесчестия. Одна статья, казалось, глубоко тронула его, а именно статья о Бертоле, которого он так благодетельствовал и на которого, по его словам, у него были все основания полагаться.

Здесь можно упомянуть следующую очаровательную черту характера императора, хотя она довольно широко известна. Бертоле понес убытки, которые поставили его в затруднительное положение, когда, узнав об этом обстоятельстве, император послал ему 100 000 крон, добавив, что у него есть основания жаловаться на него, поскольку он, казалось, забыл, что он, Наполеон, всегда был готов служить своим друзьям. Бертоле, однако, вел себя очень неблагодарно по отношению к императору в период его бедствий. Его поведение глубоко тронуло Наполеона в то время, и часто можно было услышать, как он восклицал: “Какой Бертоле, на которого, как я думал, я могу положиться с такой уверенностью!..”

По возвращении императора с Эльбы Бертоле, казалось, снова был склонен проявлять свои прежние чувства привязанности к своему благодетелю. Он отважился показаться в Тюильри и попросил Монжа сообщить императору, что, если тот не увидит его, он прекратит свое существование в тот момент, когда покинет дворец. Император не мог отказать ему в просьбе и приветствовал его улыбкой, когда тот проходил мимо.

За время своего правления император неоднократно оказывал милости нескольким крупным промышленникам, в частности Оберкампу, Ричарду Ленуару и другим. Он хотел поискать их имена в Словаре, но все голоса были подняты, чтобы засвидетельствовать их хорошее поведение.

## ПРИЕМ ПАССАЖИРОВ БЕНГАЛЬСКОГО ФЛОТА.

14—е. Около четырех часов в Лонгвуд прибыло множество посетителей, это были пассажиры, прибывшие на Ост-Индском флоте, и император выразил готовность принять их. Компания состояла из мистера Стрейнджа, шурина лорда Мелвилла, первого лорда английского Адмиралтейства; некоего мистера Арбатнота; и сэра Уильяма Берроуза, одного из судей Верховного суда Калькутты; двух адъютантов лорда Мойры; и некоторых других, а также нескольких дам. Мы все беседовали в передней, когда император вышел из своей комнаты и направился в сад. Это обстоятельство возбудило любопытство наших посетителей, которые нетерпеливо подлетали к окнам, чтобы посмотреть, как он проходит мимо: —сцена напомнила нам Плимут. Великий маршал проводил наших гостей к императору, который принял их с величайшей любезностью и с той пленительной улыбкой, которая обладала такой неотразимой силой. На лицах всех были написаны любопытство и живое волнение.

Император беседовал с каждым в отдельности и, согласно обычаю, немедленно улавливал любое обстоятельство, связанное с их именами, как только слышал, как их объявляли. Он беседовал с Верховным судьей о законодательстве и отправлении правосудия; с должностными лицами Компании - о торговле и внутреннем правительстве Индии. Он расспрашивал военных джентльменов о том, сколько лет они прослужили и сколько ранений получили; он сделал много лестных комплиментов дамам и заметил, что климат Бенгалии не испортил нежный цвет их лица и т. Д. Затем, обращаясь к одному из адъютантов лорда Мойры, он заметил, что верховный маршал сообщил ему, что леди Лаудон находится на Острове и что, будь она в пределах его

досягаемости, он имел бы большое удовольствие засвидетельствовать ей свое почтение; но поскольку она проживала за пределами, которые были ему предписаны, у него было не больше возможности увидеть ее, чем если бы она все еще была в Бенгалии.

Во время этих бесед, в которых я выступал в качестве переводчика, мистер Стрейндж, с которым я разговаривал ранее, отвел меня в сторону за отворот моего пальто и тоном удивления и удовлетворения сказал: "Какую грацию и достоинство проявляет император!—он показывает, что привык к этикету проведения дамбы!"

Мы провели компанию в гостиную, и любопытство побудило их взглянуть на апартаменты императора. Сэр Уильям Берроуз, который, судя по занимаемому им посту, как можно предположить, имеет какое-то отношение к английскому министерству, войдя в гостиную, спросил меня, наша ли это столовая. Я сообщил ему, что это гостиная, или, правильнее сказать, единственная комната в доме; он был очень удивлен. Затем я указал ему через окно на две маленькие комнаты, которые являются всем, что есть у императора для его личного пользования. Его лицо выражало сожаление, и казалось, что он мысленно проводит сравнение между настоящим и прошлым. Отметив убогость обстановки и ограниченность нашего жилища, он сказал с озабоченным видом— "Скоро вы будете обеспечены лучше". — "Каким образом, " спросил я, - есть ли намерение вывезти нас с Острова?" — "Нет, но вам будет отправлена элегантная мебель и просторный дом". — "Мы жалуемся не на мебель или дом, - ответил я, " а на скалу, на которую мы были сосланы, и на широту, на которой она расположена. Эта широта не может быть изменена, и нам здесь никогда не будет хорошо ".

Я дословно повторил ему то, что император несколькими днями ранее сказал губернатору по тому же вопросу. Сэр Уильям был поражен и, пожимая мне руку, сказал с некоторой теплотой: "Мой дорогой сэр, он слишком великий и слишком одаренный человек; у нас слишком много причин бояться его". — "Но, - сказал я, в свою очередь, - почему бы не вести колесницу славы вместе, вместо того чтобы взаимно уничтожать друг друга, таща ее разными путями? Чего тогда могло бы не быть в его русле?" Он посмотрел на меня и, снова пожав мне руку, сказал с задумчивым видом: "Да, так, несомненно, было бы лучше; но..."

Все были особенно поражены свободой манер императора и его спокойным выражением лица. Я не знаю, что они ожидали увидеть. Один из них заметил, что он едва ли может составить представление о силе духа, необходимой Наполеону для того, чтобы вынести такие удивительные неудачи. "Это потому, - ответил я, - что никто еще хорошо не знает характера императора. На днях он сказал нам, что был подобен мраморной глыбе во время всех великих событий своей жизни; что они проходили мимо него, не производя никакого впечатления ни на его моральные, ни на физические способности ".

После обеда император, как он это часто делает, спросил нас, что бы мы хотели почитать. Кто-то предложил нам возобновить чтение Словаря флюгеров, но император воспротивился этому на том основании, что это только сделало его вечера еще более неприятными. "Лучше давайте позабавимся художественной литературой", - сказал он и, попросив "Доставленный Иерусалим", прочел вслух несколько песен этой поэмы, время от времени переводя отрывки на французский. Затем он прочел главные части "Федры" и "Аталии", неизменно выражая свое огромное восхищение произведениями Расина.

## РАВЕНСТВО НАКАЗАНИЙ.—ИМПЕРАТОР ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ Я ПОДРОБНО ИЗЛОЖИЛ ЕМУ ИСТОРИЮ МОЕГО АТЛАСА.

15—е. Император во время своей прогулки беседовал на разные темы и, наконец, случайно остановился на преступлениях и наказаниях. Он заметил, что величайшие юристы, даже те, кто находился под влиянием духа эпохи, разделились во мнениях относительно принципа уравнивания смертной казни. При создании Кодекса он должен был бы испытывать отвращение к уравниловке, если бы обстоятельства не вынудили его избрать противоположный курс. Он спросил моего мнения: “Я, - сказал я, - решительно поддерживаю неравенство наказаний. Наши представления требуют градации наказаний, аналогичной той, которую мы представляем себе в отношении преступлений. Гармония наших ощущений, по-видимому, требует этого. Я никогда не смогу заставить себя поставить в один ряд негодяя, убившего своего отца, и того, кто просто совершил небольшое ограбление, сопровождаемое насилием. Должны ли эти два преступника понести одинаковое наказание?”

“В этом вопросе меньше всего следует учитывать самого преступника. Наказание - это его дело, и человечество открывает множество скрытых способов облегчения своих физических страданий. Его представления, предшествовавшие совершению преступления, чувства, которые его наказание вызывает в умах зрителей, и эффект, который оно производит на общество в целом, — вот те моменты, которые должны привлечь внимание законодателя при решении вопроса об уравнивании наказаний. Ошибочно полагать, что одной смерти достаточно и что вид смерти не оказывает влияния на разум преступника при преднамеренности его преступления; ибо если существует неравенство наказаний, то нет преступника, который не сделал бы свой выбор, если бы ему было позволено это сделать. Пусть любой член общества посоветуется со своими собственными чувствами: он содрогнулся бы при одной мысли об определенных наказаниях, в то время как, возможно, был бы совершенно безразличен к определенным способам смерти. Следовательно, неравенство наказаний и торжественность казней относятся к справедливости и политике цивилизации. И все же я полагаю, что сейчас было бы невозможно подчинить общественное мнение по этому вопросу”.<sup>[11]</sup>

Император полностью разделял эти идеи. Упомянув о преступлении цареубийства, он заметил, что это действительно можно назвать величайшим из всех преступлений из-за последствий, к которым оно привело. “Человек, - сказал он, - который убил бы меня во Франции, перевернул бы всю Европу; и сколько раз я только не подвергался покушению!”

Леди Лаудон, жена лорда Мойры, генерал-губернатора Индии, уже несколько дней находится на острове Святой Елены, где привлекает всеобщее внимание. Она дама высокого ранга, почти как французская герцогиня при старом режиме. Английские офицеры относятся к ней с величайшим уважением. Сегодня адмирал пригласил ее на небольшое развлечение на борту “Нортумберленда”. Он прислал верхового гонца с просьбой одолжить ему мой Атлас на вечер, чтобы он мог показать его леди Лаудон, чей муж был описан в нем как первый представитель рода Плантагенетов и, следовательно, как законный наследник английского престола.

Между мной и адмиралом царило совершенное безразличие; на самом деле мы были почти чужими друг другу с того момента, как он высадил меня на берег. Просьба была не столько знаком вежливости по отношению ко мне, сколько комплиментом самой работе. Атлас был предметом разговора, дама выразила желание взглянуть на него, и адмирал почувствовал

желание показать его ей. Однако я не смог удовлетворить это желание. Книга находилась в покоях императора, и таким был ответ, который я получил.

Император улыбнулся той чести, которую адмирал намеревался оказать мне; и я не мог не пожалеть о развлечении, которое было приготовлено для этой дамы. Это обстоятельство побудило самого императора заговорить об Атласе и повторить некоторые наблюдения, которые были высказаны им ранее. Он заметил, что слышал, как о моей работе говорили всегда и во всех местах; что он обнаружил, что она востребована как иностранцами, так и французами. Он слышал, как о ней упоминали на борту "Беллерофонта" и "Нортумберленда", на острове Святой Елены, и, короче говоря, везде осведомленные и высокопоставленные лица либо знали эту работу, либо выражали желание ознакомиться с ней. "Это, " сказал он оживленно, - то, что я называю настоящим триумфом, большой репутацией в литературном мире. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне историю этого Атласа. Расскажите мне, когда и как вам пришла в голову эта идея, каким образом она была осуществлена и каковы были ее результаты; почему вы сначала опубликовали ее под вымышленным именем и почему впоследствии не прикрепили к ней свое настоящее имя; короче говоря, дайте мне правдивый и конкретный отчет; вы понимаете, господин государственный советник?"

Я ответил, что это будет долгая история, хотя для меня ее изложение не лишено удовольствия, поскольку, добавил я, мой Атлас - это история значительной части моей жизни и что, прежде всего, я обязан ему счастьем находиться сейчас рядом с личностью Императора.

Ниже приводится повествование в том виде, в каком оно появилось после исправления после моих первых поспешных заметок. Ее продолжительность, несомненно, требует снисхождения; но я надеюсь, что читатель будет склонен согласиться с этим, учитывая, что подробности, в которые я здесь вхожу, оживляют воспоминания о моих самых счастливых годах, о периоде моей юности, моего здоровья и силы, одним словом, о дорогом, но кратком промежутке полноты жизни. Я еще раз умоляю читателя простить меня за пространность, которой я позволил себе; но это заявление так сильно воскрешает мои воспоминания о прошлом счастье, что даже сейчас, перечитывая его, я не могу найти в себе сил вычеркнуть какую-либо его часть.

"Эта работа была отчасти плодом случая, но прежде всего необходимости, которая, как гласит народная пословица, является матерью трудолюбия.... Во время первых неудач французских эмигрантов политический ураган выбросил меня на улицы Лондона без друзей, без денег и без ресурсов, но обладая необходимой храбростью и готовностью действовать. Для человека, одушевленного таким духом, Лондон в то время предоставлял определенные источники дохода.

"После нескольких безуспешных заявок я решил полагаться только на себя и, подобно "Фигаро", решил стать автором. На мгновение у меня возникла мысль стать автором любовных романов: эту идею мне подсказал книготорговец; но он требовал слишком многого и был склонен платить слишком мало. Затем я обратил свои мысли к написанию истории, которая, во всяком случае, была рассчитана на то, чтобы обеспечить мне определенное моральное преимущество, наполнив мой разум позитивными знаниями. Именно тогда мне пришла в голову первая идея создания моего Атласа, которую я действительно могу считать вдохновением с Небес, ибо ей я был обязан своей жизнью. Сначала эта работа была простым наброском, простой номенклатурой, сильно отличающейся от той формы, в которой она предстает сейчас. Однако этого было достаточно, чтобы немедленно избавить меня от смущения и обеспечить мне то, что можно было бы назвать небольшим состоянием по сравнению с невзгодами, выпавшими на

долю других эмигрантов. Затем, сир, был заключен Амьенский мир и дарованы нам преимущества вашей амнистии. Я смог совершить путешествие во Францию просто как путешественник, не имея перед собой никакой другой цели, кроме как подышать родным воздухом и увидеть французскую столицу. Там я обнаружил, что могу свободно выражать свои чувства без ограничений; исследование было легким; мои идеи и суждения расширились; я был хозяином своего времени и взялся привести свой Атлас в порядок в том виде, в каком он появился сейчас. Я предложил регулярно публиковать по четыре листа в квартал. Теперь я был значительно лучше как в своем уме, так и в обстоятельствах. Интерес, внимание, выгодные предложения, деньги и связи посыпались на меня потоком; и я могу с уверенностью утверждать, что это был самый счастливый период в моей жизни.

"В Англии я опубликовал свою Работу под вымышленным именем, чтобы не запятнать свою честь. Так получилось, что я остановился на Ле Сейже точно так же, как мог бы остановиться на Леблане, Легри или Ленуаре. Но я не мог бы сделать более неудачного выбора или, по крайней мере, я не мог бы выбрать более общее название. Некоторое время спустя письмо, предназначенное для меня, прошло через все различные колонии французских эмигрантов в Лондоне и было по очереди доставлено двадцати двум священникам, которые все носили фамилию Лесаж. Наконец один человек, который, по-видимому, обнаружил, что это имя мне не принадлежит, в ярости прислал мне письмо, заметив, что, когда люди считают нужным менять свои имена, им следует, по крайней мере, избегать брать те, которые принадлежат другим людям.

"Во Франции я все еще носил имя Ле Саж, которое теперь стало ассоциироваться с моим Атласом. Публикация ее под новым названием могла бы привести к предположению, что это была новая работа. Кроме того, я не хотел подвергать свое имя риску провала, нападкам журналов или язвительной критике. Даже при том, что я был уверен в полном успехе этой работы, я, вероятно, не почувствовал бы большего желания поставить под ней свое настоящее имя из-за остатков моих старых предрассудков, от которых я не мог легко избавиться.

"Конечно, эта литературная слава немало польстила мне; но я происходил из воинственной расы и считал своим долгом стремиться к славе другого рода. Однако обстоятельства сделали это невозможным, и я считаю уместным упомянуть, что, по крайней мере, я не забывал о своем долге. У меня никогда не было причин раскаиваться в своем двойном наименовании. Независимо от моих истинных мотивов для принятия этого решения, оно распространяло вокруг меня атмосферу приключения и романтики, которая ни в коем случае не была неприятной и, более того, соответствовала моему темпераменту и характеру. Это привело к множеству ошибок и юмористических сцен, которые доставили мне немало удовольствия. В Англии, например, в компании меня часто самым невинным образом, какой только можно вообразить, расспрашивали о достоинствах работы месье Лесажа; а в школе-интернате ко мне однажды обратились в очень невежливых выражениях, потому что я упрямо продолжал осуждать свой собственный Атлас.

"До тех пор, пока я продолжал сам руководить публикацией работы, мой метод заключался в личном общении со всеми, кто предлагал записать свои имена в качестве подписчиков. Теперь

у меня не было никаких услуг, которых я мог бы просить; скорее, я счел необходимым в некоторых случаях воздерживаться от получения тех, которые были предложены. Особенно во Франции я был завален проявлениями доброты и лестными комплиментами. Некоторые оказывали мне эти знаки внимания, потому что знали меня, другие именно потому, что не знали меня; и все потому, что я вел себя одинаково со всеми. Что касается меня, то я наслаждался любопытным зрелищем, которое сейчас представилось мне. Поскольку каждый, кто хотел стать подписчиком, был обязан подписаться от своего имени, я взял отзыв о многих персонажах, которых я хорошо знал, и молча наблюдал за ними. Таким образом, я получил возможность непринужденно размышлять о любопытном разнообразии мнений, суждений и вкусов. Пункт, который один из них осудил, был именно тем, которым другой больше всего восхищался, который третий объявил необходимым и который четвертый объявил неприемлемым. Каждый, по обычаю, не преминул высказать свое собственное мнение как преобладающее: таково было мнение всего Парижа и каждого человека.

Теперь у меня была возможность убедиться в том огромном преимуществе, которое человек получает, когда сам руководит своим бизнесом, и в важном влиянии вежливости и хороших манер на все жизненные дела. Я соглашался на все, что предлагалось, я получал каждый намек, который был предложен, и я был стократно вознагражден за свою покладистость. Часто случалось, что человек, обратившийся ко мне без какого-либо намерения приобрести работу, был не только вынужден унести ее с собой, но и принес мне десять, двадцать или даже сотню дополнительных подписчиков.

"Один описал мой Атлас как классическое произведение министру внутренних дел; другой порекомендовал его министру иностранных дел; третий пообещал наградить меня орденом Почетного легиона, а четвертый написал лестную критическую статью об этой работе и опубликовал ее в общественных журналах. Некоторые довели свой интерес и привязанность ко мне даже до некоторой степени энтузиазма. Ниже приведены примеры этого. Один из моих провинциальных подписчиков, который не был знаком со мной, написал письмо с просьбой в качестве особого одолжения сделать гравировку моего портрета для украшения работы, предлагая, в случае, если я соглашусь на это предложение, покрыть половину расходов на гравировку. Другой, владелец замка Монморанси, навещал меня каждую неделю под предлогом того, что справлялся, готов ли я к публикации новый лист моего Атласа, но на самом деле, как он сам уверял меня, для того, чтобы провести свои самые счастливые часы в моем обществе. Он добавил, что, если когда-нибудь мне вздумается продать свою беседу так же, как я продавал листы своей работы, в моей власти, если я захочу, погубить его. Впоследствии я узнал, что это был человек весьма эксцентричного склада, один из персонажей Лабрюйера, вполне в манере Жан-Жака. Долгое время он, казалось, использовал свою выдумку, чтобы предлагать мне услуги самым деликатным способом, какой только можно вообразить: он даже зашел так далеко, что делал мне отеческие предложения". [M. Le Sage](#), [M. Мудрец](#), ' говорил он не раз, ' тебе следовало бы жениться. Вы обладаете качествами, которые призваны обеспечить счастье жены, а еще больше - тестя. Я не должен упускать из виду, что у старого джентльмена была всего одна дочь, и она была богатой наследницей. Однако теплота нашей близости постепенно ослабевала, пока, наконец, я полностью не утратил это знакомство. Лишь спустя некоторое время, [afterwards](#) [afterwards](#), во время загородной экскурсии с компанией дам вид замка Монморанси пробудил воспоминания о моем старом друге. Я рассказал историю его эксцентричности сопровождавшим меня дамам: их любопытство было возбуждено, и мы решили посетить замок. Привратник отказался впустить нас. На мой вопрос, находится ли этот

джентльмен в своей загородной резиденции, я получил ответ, что он там, и что именно по этой причине нас не могли впустить. Мне показалось очень странным, что он таким образом замуровался и стал совершенно недоступным. С большим трудом я уговорил слугу доложить о мне Лесаже. Звук этого имени подействовал как волшебство; оскорбление, нанесенное элегантному коляске и богатым ливреям, было немедленно устранено. Ворота распахнулись, очевидно, к немалому удивлению привратника. Слуги получили приказ показать нам здание и предложить всевозможные закуски. Мы привезли с собой в экипаже провизию для небольшой сельской трапезы; но роскошный обед был накрыт для нас в одной из лучших комнат; и мы не могли, ни с чем подобным любезности, отказаться от того, что было так вежливо предложено. Все это гостеприимство было совершенно бескорыстным со стороны достойного старого джентльмена, который был прикован к своей комнате подагрой. Он был вне себя от радости, увидев меня, и, казалось, воспринял мой визит как возвращение блудного сына. Он настоял на том, чтобы увидеться с сопровождавшими меня дамами, и его провели в столовую, чтобы отдать должное десерту. Одна вещь, которая нас бесконечно забавляла, заключалась в том, что он, казалось, не имел ни малейшего представления о ранге друзей, которые меня сопровождали; и он обращался с ними как с лицами более низкого ранга, хотя на самом деле они были знатными дамами. Старый джентльмен теперь едва ли позволил бы мне уехать; он настаивал на том, чтобы я повторил свой визит, и сказал, что я и все мои друзья всегда будем желанными гостями в его доме. Но увы! Я не смог воспользоваться его добротой, потому что несколько дней спустя прочитал в газетах сообщение о смерти этого доброго и искреннего друга.

"С начала моего величия я могу, с любой точки зрения, датировать окончание золотого века моего Атласа. Когда меня перевели ко двору и разрешили приблизиться к особе вашего Величества, я понял, что не могу пристойно опускаться до подробностей, которые до сих пор занимали меня. Я доверил управление авторскими правами одному из моих старых товарищей по колледжу, который, как и я, был эмигрантом, но который не сделал из публикации такого хорошего отзыва, как я.

Вступив на свой новый пост при Дворе, я был засыпан комплиментами по поводу моего выступления; но на них я отвечал равнодушно, точно так, как это делают на балу, сбросив маску. Когда выяснилось, что я никогда не ссылался на свою работу, что я никогда не цитировал из нее и что я избегал любых дискуссий на эту тему, со мной никогда не заговаривали на эту тему; и в конце концов люди начали задаваться вопросом, как я вообще написал это, и даже сомневаться, имею ли я вообще какое-либо право считаться ее автором.

Услышав эти слова, император сказал мне: 'Мой дорогой Лас Касес, даже это сомнение нашло свое отражение на острове Святой Елены. Я слышал, как утверждалось, что произведение написано не вами, что вы приобрели рукопись у настоящего автора; и в подтверждение этого утверждения было отмечено, что вы вообще ничего не знаете об этой книге, потому что никогда о ней не говорите. В ответ на эти замечания, - продолжал он, - я просто удовлетворился вопросом: "Знаете ли вы когда-нибудь вопрос, на который не было полного ответа?" Кроме того, я узнаю во всей работе стиль, саму экспрессию Las Cases".

"Многие, " сказал я, возобновляя свой рассказ, - подумают, что я повредил себе этим отрицанием; но я предпочитал хороший вкус шарлатанству и действовал только в соответствии с велениями моей природной склонности. Ваше величество на днях описывали, как Сайес обычно представлялся нагруженным письменными планами, и при первом же слове

противоречия, как только он находил необходимым действовать в обороне, он собирал свои бумаги и через минуту уходил. Это было именно мое чувство. Я никогда не мог публично отстаивать свое мнение. Прежде чем я смогу это сделать, я должен пользоваться авторитетом высокого ранга или свободой интимной дружбы: в противном случае я предпочитаю обречь себя на молчание, то есть когда меня не допрашивают и не подталкивают к сути дела. Но вернемся к моей теме.

"Пока я оставался в неизвестности, я пользовался всеобщим расположением; но мое возвышение сделало меня объектом вражды, и я испытывал влияние того смутного чувства зависти и недоброжелательства, которое всегда следует по стопам фортуны. Общественные журналы, которые в течение длительного времени были переполнены лестью и приятными выражениями в адрес "Исторического атласа", теперь поместили несколько очень недоброжелательных статей, касающихся этого труда, и когда их удалось проследить до источника, авторы откровенно признали, что они были вызваны исключительно изменениями, произошедшими в политических взглядах и общественных делах.

"В Институт был направлен отчет обо всех работах, появившихся за последние несколько лет; и в этом отчете с Атласом обошлись очень сурово. Случайно оказавшись однажды в компании автора этого отчета, которому я был известен только по имени Лесаж, я выразил ему свое недовольство тем, что он сказал об Атласе. Он откровенно признался, что работа и ее автор были ему в равной степени неизвестны; что, сочтя труд по написанию отчета непосильным для себя, он разделил эту задачу между несколькими другими лицами. Он сообщил мне, что статья об Атласе Лесажа, когда ему ее представили, была бесконечно более суровой, чем она выглядела в том виде, в каком она была включена в отчет. Он значительно смягчил ее. 'Я легко могу догадаться,' продолжал он, 'что у вас есть враги в литературном мире, и этим вы обязаны своим привычкам и своему положению. Вы связали себя с каким-то графом, который занимает высокое положение при дворе; но придворные и писатели никогда не ладят друг с другом. Эти джентльмены по большей части совсем не похожи на нас. Говорят, что в этом любопытном партнерстве вы предоставляете талант, а он предоставляет деньги. Какой от этого прок? Граф всего лишь извлекает из вас выгоду; ваша работа хороша, и ваш книготорговец вознаградил бы вас за нее. Однако я всего лишь повторяю то, что слышал, и советую вам то, что, как я понимаю, представляет для вас интерес. Если вы хотите пользоваться нашим избирательным правом, вы должны соединиться с нами, вы должны отождествить себя с нашими доктринами и предоставить великих людей самим себе".

Я ответил со всей возможной вежливостью, что, безусловно, в долгу перед ним за его добрый совет, хотя в тот момент не в моей власти было последовать ему. Я заверил его, что у него сложилось несправедливое мнение о моем друге; что наши кошельки и сами наши жизни были общими; что наша дружба и близость нерасторжимы; что мы поклялись жить и умереть вместе, и что ничто не может заставить нас нарушить эту клятву. В целом это была поистине комическая сцена.

Некоторое время спустя я обедал за столом принца: я сидел рядом с моим прославленным хозяином и был одет в униформу, отделанную кружевами. Сотрудник Института был одним из гостей. На его лице отразились удивление и смущение. Я несколько раз разговаривал с ним, но он всегда подходил поближе к своим соседям, шептался с ними и, по-видимому, наводил справки. После обеда он подошел ко мне и очень добродушно попросил меня избавить его от

затруднений. Он сказал, что прекрасно помнит, что имел честь встречаться со мной раньше, но что он совершенно не понимает, какую шутку я сыграл с ним. Я отверг любое намерение разыграть его. 'Все, что вы видели, - сказал я, ' и все, что я вам рассказал, не что иное, как реальность и правда. Тайна легко разгадывается. Тогда вы видели месье Лесажа, который предоставляет таланты, а теперь вы видите месье Графа, который предоставляет средства. Теперь ты понимаешь, как пишутся истории, а я узнал, как составляются отчеты.

Столь же нелепая ошибка обеспечила месье Лесажу в знаменитом Желтом карлике честь быть занесенным в качестве Флюгера в качестве генеалога ордена под шутливым именем *Parvulus Sapiens* (Маленький мудрец). За эту милость, как я узнал впоследствии, я был обязан тому, что во время правления короля была уничтожена генеалогия вашего Величества, чье происхождение я, как предполагалось, прослеживал от Энейса и Асканиуса. Трудно представить, что могло подразумеваться под всем этим, поскольку в Атласе не было ничего, что прямо или косвенно наводило бы на подобную мысль. Однако во все различные периоды, когда Атлас и его автор подвергались нападкам, многочисленные ревностные и рьяные сторонники спрашивали, буду ли я рад позволить им встать на мою защиту. Я неизменно желал, чтобы эта тема была оставлена; я понимал, что, привлекая таким образом общественное внимание, я, несомненно, подвергну опасности свое собственное спокойствие. Я улыбнулся злонамеренным нападкам на бедного мсье Лесажа, но мне было бы очень жаль, если бы они распространились на его *псевдоним*.

"Однако, если мой "Атлас" пользовался таким общим и обширным успехом, он, безусловно, этого заслуживал. Эта работа действительно адаптирована к любому возрасту, к каждой стране, к каждому периоду; она подходит для любых мнений, классов и планов обучения. Это помощник для того, кто хочет учиться, и хранитель воспоминаний для того, кто научился. Это руководство для ученого и иллюстратор для мастера. Она охватывает хронологию, историю, географию, политику и т.д. Для тех, кто понимает ее и знает, как ею пользоваться, можно с уверенностью сказать, что она сама по себе составляет целую библиотеку. Это *главный принцип* ученика и наставника, ученого и делового человека.

Таким образом, книга была немедленно распродана, и никогда, я полагаю, ни одно литературное произведение не оказывалось столь продуктивным для своего автора. При первом появлении ежедневная подписка часто составляла 2 или 300 луидоров. В период, когда я лично руководил изданием, я подсчитал, что поступления составляли годовой доход по меньшей мере в 60 или 80 000 франков. Это принесло мне целое состояние. Другого у меня не было, ибо Революция лишила меня моего наследства, вернуть которое я впоследствии не надеялся, ибо я был вынужден отказаться от него под присягой, прежде чем мне разрешили ступить на французскую территорию.

"Там" Там было опубликовано 8 или 10 000 экземпляров моего атласа в различных изданиях; и от их продажи было выпущено в обращение 8 или 900 000, возможно, миллион франков, из которых явная прибыль в размере 300 000 франков сейчас в моих руках. Это составляет все мое состояние, ибо у меня нет ничего, что не было бы взято из моего Атласа и что не могло бы быть включено в его отчеты. При моем отъезде из Европы мне причиталась сумма в 150 000 франков в виде непогашенных долгов, хороших или плохих; и у меня была коллекция книг, полученных путем обмена, стоимостью 200 000 франков; которые, будучи разделены на партии по 1000 крон каждая и вывезенные в зарубежные страны, казались, сулили определенную прибыль. Но, к

сожалению, из всего этого блестящего продукта я могу сейчас рассчитывать только на то, что у меня уже есть в руках; остальное связано с таким количеством шансов, что я не могу не считать его потерянным. У меня нет агента в Европе, который управлял бы моими делами, поскольку у меня не было времени принять необходимые меры для этой цели; а детали настолько многочисленны, разрозненны и разнообразны, что я вряд ли смог бы дать кому-либо зацепку для отслеживания. Непогашенные долги растут; некоторые из моих должников мертвы, некоторые покинули страну, а что касается бухгалтерских книг, то они в основном разбросаны, испорчены и утеряны.

“Одно время моя работа была близка к тому, чтобы обеспечить мне обладание блестящим состоянием; но моим надеждам помешала самая гнусная перетасовка. Подробности этого дела настолько любопытны, что я не могу удержаться, чтобы не упомянуть о них вашему величеству.

“В начале 1813 года два коммерсанта, узнавшие, что я автор Исторического атласа Лесажа, обратились ко мне с визитом и предложили, если я поставлю им экземпляров на два миллиона, немедленно заплатить мне из расчета 20 процентов. наличными и безвозмездно переправить книги в Лондон, где они по-прежнему будут моей собственностью и останутся в моем распоряжении. Я устоял на это — я не мог понять, что имелось в виду, и заподозрил, что торговцы разыгрывают меня. Они, с другой стороны, попытались объяснить, сказав, что предложение было сделано ради получения лицензий, о чем, как они обнаружили, я был совершенно не знаком. Пересказав этот разговор своему другу, я впоследствии узнал, что суда, имевшие лицензию на плавание в Англию для доставки домой колониальных товаров, не могли покинуть Францию, не вывезя товаров, по номинальной стоимости равных их предполагаемому ввозу. Книги были включены в число разрешенных предметов экспорта, и торговцы стремились получить легкий фрахт и высокую цену, которые при небольших затратах давали бы им право на значительный импорт. Мой Атлас был превосходно рассчитан для такого рода спекуляций. Однако, прежде чем я заключил какое-либо соглашение, я проконсультировался с генеральным директором таможенной службы и президентом Комитета по экспорту, которые сообщили мне, что это совершенно законно. С этой уверенностью я немедленно приступил к работе. Я выдвинул одно из самых любопытных предположений, которые только можно себе представить. Мне был предоставлен лишь короткий промежуток времени для проведения необходимых приготовлений. Сто бланков in folio были распределены по тридцати главным типографиям Парижа, и с этого момента печатные машины работали без перерыва. Была скуплена вся пергаментная бумага определенного формата, и она ежедневно дорожала, пока не превысила 100 процентов. Во всех типографиях Парижа царил суматоха, что встревожила полицию, пока дело не было полностью расследовано и разъяснено. Я прямо или косвенно нанял от 300 до 400 рабочих. По истечении двадцати одного дня у меня должны были быть готовы экземпляры Атласа стоимостью в два миллиона ~~миллионов~~ экземпляров и 400 000 франков наличными. Я был, пожалуй, единственным человеком в мире, который мог бы заняться подобными спекуляциями; ибо по странной случайности я сохранил все свои бланки наготове, купив шрифты за огромные деньги. Теперь я пожинал плоды десятилетнего труда и расходов. Это был поистине выигрыш в лотерею. Я был без ума от радости от своей неожиданной удачи. Но увы! Я строил на песчаном фундаменте и был обречен дорого заплатить за несколько счастливых мгновений своей иллюзии.

“Циничный месье де П., генеральный директор книготорговли, который был моим коллегой в Государственном совете, казалось, стремился к моему разорению, хотя я был неспособен

разгадать причину его враждебности. В то время как он всячески заверял меня в своей готовности служить мне, он тайно напрягал все нервы, чтобы причинить мне вред; и возбуждал против меня всех наиболее активных книготорговцев, которых он убедил стать агентами его операций. В отношении этих фактов у меня нет сомнений, поскольку письма, тайно написанные на эту тему П. ..., были конфиденциально переданы мне; но соображения деликатности не позволяют мне упрекнуть его в низости.

Прежде всего он намекнул мне, что листы моего Атласа не могут быть вывезены из Франции, потому что закон разрешает вывоз только книг. Затем я поинтересовался, разрешено ли вывозить книги в переплетах; и, получив утвердительный ответ, я заметил, что мои листы следует рассматривать просто как книги без переплета. Г-н де П..... затем заявил, что милость, дарованная императором, может быть распространена только на книготорговцев, а не на авторов; но г-н де Монталиве, министр внутренних дел, возразил против такой пристрастности и заставил г-на де П. замолчать..... Последний тогда заявил, что цена моих листов была значительно увеличена; но было доказано ссылкой на двести рекламных объявлений, помещенных в журналах за последние десять лет, что цена никогда не менялась. Затем он упомянул о внутренней ценности работы и подтвердил, что то, что я продал за 100 су, обошлось мне не дороже пяти или шести, и вызвал множество других трудностей столь же абсурдного рода. Между тем время летело; корабли принимали грузы, преимущества, предлагаемые владельцами, уменьшались, появлялись произвольные оценки комитетов, и я, который упорно продолжал свои операции, несмотря на все трудности, теперь оказался вовлеченным в тысячу тревог и огорчений и считал себя счастливым, избежав полного разорения и сумев возместить свои расходы, которые превысили 80 000 франков”.

“Но, - сказал император, - это кажется почти невероятным; я с трудом могу понять, как все это произошло. Ваши рассуждения в точности соответствовали моему вкусу; они бы подняли вас в моем хорошем мнении; я бы был в восторге от вашей активности и метода изложения деталей. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем дать возможность окружающим меня людям сколотить свое состояние честным путем. Почему вы не обратились ко мне? Почему вы не разоблачили поведение П.....? Вы бы видели, как бы я обошелся с ним”. — “Сир, - ответил я, - такая мысль никогда не приходила мне в голову, момент был критический: ваше время было драгоценно. Как я мог надеяться, что ваше величество выслушает меня или что я смогу удовлетворительно объяснить столь сложное и деликатное дело? Как я мог убедить вас, что я автор произведения, носящего другое название? Что бы подумали о человеке, столь близком к вашему величеству, который вмешивается в коммерческие лицензии и спекуляции книготорговлей? Я чувствовал, что я так мало известен вашему величеству, что страшился мысли о том, что это дело дойдет до ваших ушей. Таким образом, хотя я был активно вовлечен в это дело, все же я приложил все усилия, чтобы предотвратить его огласку, и я принял решение пострадать от худшего”.

“Вы были очень неправы”, - сказал император. “Вы вели себя довольно неловко по отношению ко мне и, возможно, также по отношению к П.....; Я не могу иначе объяснить неестественную злобу, которую он проявлял по отношению к вам”.

## ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА.— ЕГО БЕСЕДА С ИМПЕРАТОРОМ.

16—е. Разрыв между губернатором и нами был решен с тех пор, как произошло то, что я уже назвал его первой злонамеренной выходкой, его первым оскорблением и т. Д. Наша

сдержанность и взаимная неприязнь возрастали с каждым днем; короче говоря, мы были в очень плохих отношениях друг с другом.

Он появился в Лонгвуде около трех часов в сопровождении своего военного секретаря и пожелал видеть императора, поскольку хотел поговорить с ним по делу. Императору было нехорошо, и он еще не был одет; однако он сказал, что примет губернатора, как только закончит одеваться. Через несколько минут он вошел в гостиную, и я представил ему сэра Хадсона Лоу.

Ожидая в приемной вместе с военным секретарем, я услышал по тону голоса императора, что он раздражен, и что беседа велась с большой теплотой. Беседа была очень долгой и шумной. После отъезда губернатора я отправился в сад, куда император послал за мной. Последние два дня ему было нехорошо, и это происшествие совершенно расстроило его.

“ Ну, Лас кейсес, ” сказал он, увидев меня, “ у нас произошла бурная сцена. Я был совершенно выведен из себя! Теперь они прислали ко мне худшего, чем тюремщик! Сэр Хадсон Лоу - настоящий палач! Я принял его сегодня с мрачным выражением лица, склонив голову и наострив уши. Мы яростно посмотрели друг на друга. Должно быть, мой гнев был сильно возбужден, потому что я почувствовал вибрацию в икре левой ноги. Для меня это всегда верный признак, и я уже давно этого не чувствовал”.

Губернатор начал разговор с видом смущения и прерывистыми фразами. Он сказал, что прибыло несколько досок.... Газеты, должно быть, ознакомили Наполеона с этим обстоятельством.... Они предназначались для строительства резиденции для него.... Он должен был бы быть рад узнать, что тот думает об этом ... и т.д. На это император ответил только очень многозначительным взглядом. Затем, поспешно перейдя к другим предметам, он с жаром сказал губернатору, что ни о чем его не просит и ничего не получит из его рук; и что он просто желает, чтобы его не беспокоили. Он добавил, что, хотя у него было много причин жаловаться на адмирала, у него никогда не было причин считать его полностью лишенным чувств; что, хотя он и находил в нем недостатки, он, тем не менее, всегда относился к нему с полным доверием; но что за тот месяц, что сэр Хадсон Лоу находился на острове, он испытал больше поводов для раздражения, чем за шесть предыдущих месяцев.

Правитель заметил, что он пришел не для того, чтобы получить урок, и император ответил: "Но это не доказательство того, что ты в нем не нуждаешься. Вы говорите мне, сэр, что ваши инструкции гораздо более жесткие, чем те, которые были даны адмиралу. Предписывают ли они, чтобы я принял смерть от меча или от яда? Ни один акт жестокости со стороны ваших министров не удивил бы меня! Если моя смерть предопределена, выполняйте ваши приказы. Я не знаю, как вы введете яд, но что касается того, чтобы предать меня смерти от меча, вы уже нашли способ сделать это. Если вы попытаетесь, как вы угрожали, вторгнуться в святилище моего жилища, я честно предупреждаю вас, что храбрый 53-й войдет, только растоптав мой труп.

“Услышав о вашем прибытии, я поздравил себя с надеждой встретиться с генералом, который, проведя часть своей жизни на Континенте и принимая участие в важных государственных делах, знал бы, как поступить подобающим мне образом; но я был грубо обманут”. Здешний губернатор сказал, что как солдат его поведение соответствовало интересам и формам правления его страны. На что император ответил: “Ваша страна, ваше правительство и вы сами будете покрыты позором за ваше поведение по отношению ко мне; и этот позор

распространится на ваше потомство. Был ли когда-нибудь акт более утонченной жестокости, чем ваш, сэр, когда несколько дней назад вы пригласили меня к своему столу под титулом *генерала Бонапарт* с целью выставить меня на посмеище для ваших гостей? Соразмерили бы вы степень вашего уважения с титулом, который вам было угодно мне присвоить? Для вас я не генерал Бонапарт. Ни вы, ни кто-либо другой в мире не вправе лишать меня достоинств, которые по праву принадлежат мне. Если бы леди Лаудон была в пределах моей досягаемости, я бы, несомненно, навестил ее, потому что я не придерживаюсь строгого этикета в общении с женщинами; но, тем не менее, я бы посчитал, что оказываю ей честь. Мне сказали, что вы предлагаете, чтобы некоторые офицеры вашего штаба сопровождали меня в моих поездках по Острову вместо офицера, работающего в Лонгвуде. Сэр, когда солдаты были крещены огнем на поле боя, в моих глазах все они имеют один ранг. Здесь меня оскорбляет не вид какой-то конкретной формы, а обязанность видеть солдат вообще; поскольку это следует рассматривать как молчаливую уступку пункту, который я оспариваю. Я не являюсь военнопленным и, следовательно, не могу подчиняться правилам, требуемым в такой ситуации. Я оказался в вашей власти только в результате самого ужасного нарушения доверия.

Губернатор, прощаясь, попросил разрешения представить императору своего военного секретаря; но последний ответил, что в этом нет особой необходимости и что, если офицер проявляет хоть малейшую деликатность, он не может желать этого; со своей стороны, он предпочел бы отклонить это предложение. Он добавил, что между тюремщиками и заключенными не может быть никаких социальных отношений; и что поэтому презентация была совершенно бесполезной. Затем он уволил губернатора.

К нам присоединился великий маршал; он вышел из своего собственного дома, где губернатор останавливался как до, так и после своего визита к императору. Он подробно рассказал обоих своих звонках.

Он сказал, что губернатор по возвращении был в очень плохом настроении и очень жаловался на вспыльчивый характер императора. Не полагаясь в достаточной степени на собственное остроумие, он обратился к остроумию аббата де Прадта, работа которого как раз тогда проходила через наши руки. Он сказал, “что Наполеон не был удовлетворен тем, что создал себе воображаемую Францию, воображаемую Испанию и воображаемую Польшу, но что теперь он хотел создать *воображаемую остров Святой Елены*”. Услышав это, император не смог удержаться от смеха.

Затем мы уехали в коляске, и по возвращении император принял ванну. Он послал за мной и, намекнув, что не будет обедать до девяти часов, оставил меня у себя. Он рассказал о событиях дня и подробно остановился на отвратительном обращении, которому он подвергся, на чудовищной жестокости, с которой это было продиктовано, и на жестокости, с которой это было исполнено. После нескольких минут молчания и размышлений он воскликнул, как он это часто делает: “Мои дорогие Лас Кейсы, они убьют меня здесь! Это несомненно!” Какое ужасное пророчество!..

Он отпустил меня в половине одиннадцатого.

17—го. — Я был очень болен всю ночь; император завтракал в саду и послал за мной, чтобы я прислуживал ему там. Сам он был унылым и меланхоличным, и ему было совсем нехорошо.

После завтрака мы долго гуляли по саду; он не произнес ни слова. Жара вынудила его вернуться домой около десяти часов. Он очень сожалел о том, что здесь нет тени.

Около четырех часов он прислал узнать, как я себя чувствую. Он только что вернулся после поездки в коляске, в которой я не смог присоединиться к нему. Я гулял с ним и главным маршалом до половины шестого. У него все еще был меланхолический и отрешенный вид. Он хотел, чтобы Бертран рассказал нам о своем пребывании в Константинополе в 1796 году, о своем путешествии в Афины и возвращении через Албанию. Много было сказано о Селиме III. и его усовершенствовании, барон де Тотт и др. Беседа была очень интересной, но, к сожалению, я нахожу в своей рукописи лишь несколько несовершенных заметок, которые моя память сейчас не может помочь мне восполнить.

После обеда император, который почти ничего не ел, попытался прочесть нам "Собрание академии" из Анахарсиса. Его голос и вся его фигура утратили привычную силу и одухотворенность. Вопреки своему обыкновению, он закончил без анализа или наблюдения. Он удалился отдыхать, как только глава была закончена.

## МАДАМ МАРШАЛ ЛЕФЕВР.

18—го. - Императору по-прежнему нездоровилось. Вернувшись после поездки в коляске, он принял ванну и послал за мной. Он демонстрировал жизнерадостность, и мы проговорили до половины девятого часов. часов. Он заказал обед в свой кабинет и пожелал, чтобы я остался и пообедал с ним. Это место, беседа тет-а-тет, элегантность сервировки и аккуратность, с которой был накрыт стол, вызвали у меня, по моим словам, ощущение комфорта; император улыбнулся моему замечанию. Он задал мне много вопросов о Лондоне, моей эмиграции, французских принцах и епископе Аррасском. Он сам вернулся к основным событиям своего консульства и сообщил мне несколько любопытных подробностей и анекдотов на эту тему. Затем мы начали говорить о старом и новом дворах Франции и т. Д. Многие из сделанных замечаний, если бы они были изложены здесь, были бы всего лишь повторениями, поскольку я, по-моему, упоминал о них раньше. Другие замечания, дошедшие до нас от Императора и на которые лишь намекается моя рукопись, должны остаться навсегда утраченными.

Я перепису только следующие сведения как новые. Я развлекал императора анекдотами и смешными историями, которые, без сомнения, безвозмездно рассказывала мадам Лефевр, долгое время пользовавшаяся привилегией обставлять гостиные Парижа и даже гостиную Тюильри предметом для викторины. "Я участвовал в насмешках, - сказал я, - как и все остальные, пока однажды не отказался от них навсегда, услышав анекдот, доказавший благородство ее чувств и доброту сердца.

"Мадам Лефевр, муж которой когда-то был рядовым гвардии и, следовательно, занимал скромное положение в жизни, казалось, получала удовольствие, воскрешая в памяти обстоятельства, связанные с ее прежним положением, и даже намекая на трудоемкие занятия, которыми ей приходилось заниматься. Во время своей бедности она и ее муж были заняты прислужкой в семье маркиза де Валади, капитана корпуса, в котором служил Лефевр. Маркиз, который был крестным отцом ребенка Лефевра, сыграл заметную роль в дезертирстве гвардейцев, не менее он прославился своим фанатичным рвением в защиту республиканских свобод; тем не менее, он был человеком великодушных чувств. Он был членом Конвента и погиб, потому что выступал против казни Людовика XVI, публично заявив, что считает это абсолютным

убийством, добавив, что Людовику и так слишком не повезло как королю, чтобы требовать применения какого-либо дополнительного наказания.

"Жена маркиза, вернувшись во Францию после эмиграции, сразу же получила самые добрые предложения и знаки внимания от семьи Лефевров, которые в то время жили в довольно роскошном стиле.

Однажды мадам Лефевр навестила ее и, используя свой обычный язык, сказала: 'Как мало доброты и сердечности среди вас, знатных людей. Мы, поднявшиеся по служебной лестнице, лучше знаем свой долг. Мы только что услышали, что М., один из наших старых офицеров и товарищ вашего мужа, вернулся из эмиграции и умирает от нужды! Как это постыдно. Мы боялись обидеть его, предложив ему помощь; но с вами дело обстоит совершенно иначе. Акт служения с вашей стороны будет ему приятен. Умоляю, передайте ему это как исходящее от вас самих". С этими словами она подарила своему другу руло в 100 луидоров, или 1000 крон. С этого момента, сир, - сказал я, - у меня не было желания присоединяться к шуткам в адрес мадам Лефевр; я больше не питал к ней никаких других чувств, кроме глубокого уважения. Я охотно брал ее за руку всякий раз, когда встречал в Тюильри, и чувствовал гордость, сопровождая ее через гостиную, несмотря на насмешки, которые гудели вокруг меня".

Затем мы рассказали о ряде проявлений щедрости, проявленных новыми баловнями судьбы по отношению к старым разорившимся семьям. Среди прочего, мы ссылались на пример вежливости, возможно, несколько притянутый за уши, со стороны некоего человека, который, будучи изначально рядовым, дослужился до звания маршала или главнокомандующего, я забыл, какого именно. Однажды, во времена своего вновь обретенного великолепия, он собрал на семейный обед своего бывшего полковника и четырех или пять офицеров полка, которых принял в своей первоначальной форме рядового, и обратился к своим гостям в тех же выражениях, которые имел обыкновение употреблять до получения высокого звания.

"И это, - заметил император, - был единственный способ смягчить ярость того времени; ибо подобные действия неизбежно должны были вызвать взаимные чувства доброты между противоположными сторонами; и мы можем естественно предположить, что во время недавних событий лица, обязанные таким образом, вернут полученные ими обязательства, хотя бы только для того, чтобы *расплатиться*.

Это слово *уходит* напоминает мне об одной характерной черте императора, на которую здесь следует обратить внимание.

Генерал был виновен в нарушениях в своем ведомстве, которые, если бы они были переданы в суд, стоили бы ему чести, а возможно, и жизни. Итак, этот генерал оказал самые важные услуги Наполеону в день Брюмера. Император вызвал его и упрекнул в недостойном поведении.

"Однако, " сказал он, " вы наложили на меня обязательства, о которых я не забыл. Возможно, я собираюсь преступить законы и не выполнить свой долг. Я прощаю вас, сэр; уходите; но знайте, что с этого дня *мыквиты*. Береги себя на будущее, я буду тщательно присматривать за тобой".

## ГУБЕРНАТОР ЯВЫ.—ВРАЧ—НАДЗИРАТЕЛЬ.-ФАМИЛЬЯРНЫЙ РАЗГОВОР ИМПЕРАТОРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕГО СЕМЬЕ.

19—го. -Доктор Уорден завтракал со мной сегодня. Губернатор Явы (сэр Стэмфорд Раффлс) и его сотрудники, которые заходили на остров Святой Елены по пути в Европу, прибыли в Лонгвуд,

когда мы завтракали. Губернатор Раффлс был хорошо знаком со всеми голландскими джентльменами, которых я видел в 1810 году во время моей миссии в Амстердаме. Император сказал мне, что, вероятно, примет своих посетителей около трех или четырех часов. Тем временем я несколько часов беседовал с доктором Уорденом, которого снабдил некоторыми объяснениями исторических фактов, относящихся к Императору, о которых, как я предполагал, он намеревался написать.<sup>[12]</sup>

Около трех часов дня император принял в саду английских джентльменов, прибывших с Явы. Затем он прокатился в коляске.

Вернувшись около шести часов, он попросил меня проследовать за ним в его кабинет. Он послал за великим маршалом и его супругой и до обеда вел непринужденную беседу на различные темы, касающиеся его семьи и мельчайших домашних дел за период его правления. Особое внимание он уделял императрице Жозефине. “Они жили вместе, - сказал он, - как частное лицо и его жена. Они были очень нежны и сплоченны, долгое время занимая всего одну комнату и одну кровать. Таковы обстоятельства, - сказал император, “которые оказывают огромное влияние на счастье семьи, обеспечивая репутацию жены и доверие мужа, а также сохраняя союз и хорошее поведение с обеих сторон. Можно сказать, что супружеская пара, - продолжал он, - никогда не теряет друг друга из виду, когда они проводят ночь вместе; в противном случае они вскоре становятся отчужденными. Таким образом, пока продолжалась эта практика, ни одна из моих мыслей или действий не ускользала от внимания Джозефины. Она наблюдала, схватывала и постигала каждую вещь. Это обстоятельство иногда причиняло неудобства мне и общественным делам, но, пока мы были в Булонском лагере, момент плохого настроения положил конец такому положению вещей”. Определенные политические события, произошедшие в Вене, вместе с докладом о коалиции, имевшей место в 1805 году, занимали внимание Первого консула в течение всего дня и значительной части ночи. Он отправился спать не в самом лучшем расположении духа и застал Джозефину в сильном гневе из-за его долгого отсутствия. Настоящей или мнимой причиной этого дурного настроения была ревность. Наполеон, в свою очередь, разгневался, сбросил с себя ярмо подчинения, и его больше никогда нельзя было заставить подчиниться ему. По его словам, во время своего второго брака император опасался, “как бы Мария Луиза не потребовала такого же послушания, потому что в этом случае он должен был уступить. Это истинное право и привилегия жены”, - заметил он.

“Сын от Жозефины, - продолжал император, - завершил бы мое счастье не только с политической точки зрения, но и как источник семейного благополучия.

“В политическом результате это обеспечило бы мне владение тронem; французский народ был бы так же привязан к сыну Жозефины, как и к королю Рима; и я не ступил бы ногой в пропасть, покрытую цветами. Но как тщетны все человеческие расчеты! Кто может претендовать на то, чтобы решать, что может привести к счастью или несчастью в этой жизни!

И все же я не могу не верить, что такой залог нашего союза стал бы источником семейного счастья; это положило бы конец ревности Жозефины, которая меня постоянно преследовала и которая, в конце концов, была порождением политики, а не чувств. Джозефина отчаялась завести ребенка и, как следствие, с ужасом смотрела в будущее. Она прекрасно понимала, что ни один брак не является совершенным без детей; и в период ее второго бракосочетания уже не было никакой вероятности того, что она станет матерью. По мере того, как ее состояние улучшалось, ее тревога возрастала. Она прибегала ко всем средствам медицины и иногда почти

убеждала себя, что ее снадобья оказались успешными. Когда, наконец, она была вынуждена отказаться от всякой надежды, она предложила своему мужу прибегнуть к большому политическому обману; и она даже зашла так далеко, что прямо предложила принять такую меру.

"Жозефина в выдающейся степени обладала вкусом к роскоши, веселью и экстравагантности, естественным для креолов. Регулировать ее расходы было невозможно; она постоянно была в долгах; и поэтому, когда наступал день оплаты, всегда возникал крупный спор. Было известно, что она часто приказывала своим продавцам присылать только половину своих счетов. Даже на острове Эльба счета Жозефины сыпались на меня со всех концов Италии".

Кто-то, знавший императрицу Жозефину на Мартинике, сообщил императору много подробностей, касающихся ее семьи и дней ее юности. В детстве ей несколько раз предсказывали, что она наденет корону. Другим обстоятельством, не менее любопытным и примечательным, является то, что флакон со священным маслом, использовавшимся при коронации королей Франции, как говорят, был разбит первым мужем Жозефины, генералом Богарне, который в момент, когда волна народного благоволения обернулась против него, надеялся этим поступком завоевать репутацию.<sup>[13]</sup>

О браке Наполеона и Жозефины были рассказаны и написаны тысячи историй. Итальянские кампании объясняют обстоятельства, которые впервые привели к их знакомству и союзу. После Вандемьера Эжен, который был еще ребенком, явился к генералу Бонапарту, тогдашнему главнокомандующему внутренними войсками, с просьбой вернуть ему шпагу его отца. Лемарруа, один из адъютантов Наполеона, представил мальчика, который, как только увидел шпагу, разрыдался. Главнокомандующий был тронут этим происшествием и осыпал мальчика ласками. Когда Эжен описал своей матери манеры молодого генерала, она, не теряя времени, представилась ему. "Хорошо известно," сказал император, - что она верила в предчувствия и пророчества. В ее детстве какая-то гадалка предсказала, что она достигнет высокого положения и даже взойдет на трон. Более того, она обладала значительной долей искусства; и после того, как мы познакомились, она часто уверяла меня, что ее сердце забилося сильнее, когда она впервые услышала, как Эжен описывает меня, и что тогда она уловила проблеск своего будущего величия и исполнение пророчеств, касающихся ее судьбы.

"Еще одним своеобразным оттенком в характере Жозефины, - сказал император, - была ее постоянная привычка все отрицать. Всегда, какой бы вопрос я ни задавал ей, ее первое движение было отрицательным, ее первый ответ - *Нет*; и это *нет*, - продолжал император, " было не совсем ложью, а просто предосторожностью или защитой." — "Это, - заметила мадам Бертран, - характерное различие между нашим полом и вашим". "Но, в конце концов, мадам, - продолжал император, - это различие проистекает только из разницы в воспитании. Вы любите, и васучат говорить *"нет"*; мы же, напротив, гордимся тем, что заявляем о своей любви, независимо от того, любим мы ее на самом деле или нет. В этом весь ход противоположного поведения двух полов. Мы не похожи и никогда не сможем быть похожими.



ЭЖЕН БОГАРНЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ШПАГУ СВОЕГО ОТЦА.

Лондон: Опубликовано для Генри Колберна, февраль 1836г.

“Во время правления террора, - сказал император, “ Жозефина была брошена в тюрьму, а ее муж погиб на эшафоте. Ее сын Эжен был отдан в подмастерья столяру, ремеслу которого он действительно научился. У Гортензии не было лучших перспектив. Ее, если я не ошибаюсь, послали учиться мастерству полукровки.”<sup>[14]</sup>

Фуше был первым, кто осмелился коснуться роковой нити императорского развода. Он взял на себя смелость, без каких-либо инструкций, посоветовать Жозефине расторгнуть свой брак ради благополучия Франции. Наполеон, однако, понимал, что подходящий момент еще не наступил.

Шаг, предпринятый Фуше, был источником большой досады и беспокойства: он очень не понравился императору, и если по настоятельной просьбе Жозефины он не уволил Фуше, то лишь потому, что тот сам втайне принял решение о разводе и не хотел, наказывая таким образом своего министра, каким-либо образом сдерживать общественное мнение по этому вопросу.

Однако справедливости ради следует отметить, что, как только император показал, что решился на развод, Жозефина согласилась на это. Это стоило ей, правда, суровой жертвы, но она подчинилась без ропота и без попытки воспользоваться теми препятствиями, которые она могла бы, пусть и бесполезно, противопоставить этой мере.<sup>[15]</sup> Она вела себя с предельным изяществом и обращением. Она желала, чтобы вице-король был поставлен во главе этого дела, и сама предложила свои услуги австрийскому дому.

Жозефина охотно бы повидалась с Марией Луизой. Она часто говорила о ней с большим интересом, а также о молодом короле Рима. Мария Луиза, со своей стороны, вела себя удивительно хорошо с Эженом и Гортензией, но к Жозефине она проявляла крайнюю неприязнь и даже ревность. "Однажды я хотел отвезти ее в Мальмезон, - сказал император, - но она разрыдалась, когда я сделал ей это предложение. Она сказала, что не возражает против моего визита к Джозефине, только не желает знать об этом. Но всякий раз, когда она подозревала о моем намерении отправиться в Мальмезон, не было такой уловки, к которой она не прибегала бы, чтобы досадить мне. Она никогда не покидала меня; и так как эти визиты, казалось, чрезвычайно раздражали ее, я насильно свои собственные чувства и почти никогда не ездил в Мальмезон. Тем не менее, однако, когда мне все-таки довелось поехать, я был уверен, что столкнусь с потоком слез и множеством всевозможных ухищрений. Жозефина всегда держала в уме пример жены Генриха IV, которая, как она заметила, жила в Париже, посещала Двор и присутствовала на коронации после своего развода. Но она заметила, что ее собственное положение все же предпочтительнее, поскольку у нее уже есть собственные дети, и она не может надеяться завести еще".

Жозефина обладала совершенным знанием всех различных оттенков характера императора и проявила величайший такт, применив это знание наилучшим образом. "Например, - сказал император, "она никогда не просила о какой-либо милости для Эжена и не благодарила меня за то, что я оказал ему. Она даже не проявила никакой дополнительной покладистости или усидчивости в тот момент, когда ему были оказаны величайшие почести. Ее главной целью было доказать, что все это было моим делом, а не ее, и что это шло мне на пользу. Несомненно, она лелеяла мысль, что рано или поздно я сделаю Эжена своим преемником.

Император сказал, что он твердо убежден в том, что он был человеком, которого Жозефина любила больше всего на свете, и добавил с улыбкой, что уверен, что она отказалась бы от любого свидания, чтобы присутствовать при нем. Она неизменно сопровождала его во всех путешествиях. Ни усталость, ни лишения не могли ее обескуражить, и она прибегала к назойливости и даже хитрости, чтобы добиться своего. "Когда я садился в свой экипаж в полночь, чтобы отправиться в самое долгое путешествие, к моему удивлению, я обнаруживал Джозефину во всеоружии, хотя понятия не имел, что она будет сопровождать меня. 'Но, ' говорил я ей, - ты никак не можешь поехать, путешествие слишком долгое и будет слишком утомительным для тебя'. — "Вовсе нет", - отвечала Джозефина. "Кроме того, я должен немедленно отправиться в путь". — "Что ж, я вполне готов". — "Но вам придется взять с

собой много багажа'. — 'О, нет! все упаковано', и я, как правило, была вынуждена уступить. Одним словом, Джозефина сделала своего мужа счастливым и постоянно проявляла себя его самым искренним другом. Во все времена и при любых обстоятельствах она проявляла самую совершенную покорность и привязанность; и поэтому я никогда не перестану вспоминать о ней с нежностью и благодарностью.

"Жозефина, - продолжал император, - ставила такие качества своего пола, как покорность и покладистость, на один уровень с политическими взглядами; и она часто осуждала поведение своей дочери Гортензии и ее родственницы Стефании, которые жили в очень плохих отношениях со своими мужьями, часто потворствовали капризам и делали вид, что отстаивают свою независимость.

"Людовик, " сказал император, " был избалован чтением произведений Руссо. Ему удалось договориться со своей женой лишь на несколько месяцев. У обеих сторон были недостатки. С одной стороны, Людовик был слишком вспыльчивым, а с другой - Гортензия была слишком непостоянной. Они были привязаны друг к другу во время их брака, который соответствовал их обоюдным желаниям. Однако этот союз был заключен Джозефиной, у которой были свои взгляды на его продвижение. Я, напротив, предпочел бы расширить свои связи с другими семьями, и на мгновение у меня возникла идея заключить союз между Людовиком и племянницей месье де Талейрана, которая впоследствии стала мадам Жюст де Ноай".

Ходили самые нелепые слухи о неподобающих отношениях между Наполеоном и Гортензией, и даже утверждалось, что у последней был ребенок от императора. "Такая связь, " сказал он, - была бы совершенно противна моим представлениям; и те, кто хоть что-нибудь знал о нравственности Тюильри, должны понимать, что я не должен был быть вынужден к столь неестественному и отвратительному выбору. Людовик прекрасно понимал, какую ценность имели эти сообщения, но, тем не менее, они оскорбляли его тщеславие и вспыльчивый характер, и он часто ссылался на них как на основание для упреков своей жене.

"Но Гортензия, " продолжал император, - добродетельная, великодушная, преданная Гортензия, была не совсем безупречна в своем поведении по отношению к мужу. Это я должен признать, несмотря на всю привязанность, которую я питал к ней, и на искреннюю привязанность, которую, я уверен, она питала ко мне. Хотя причудливый нрав Людовика, по всей вероятности, был достаточно дразнящим, все же он любил Гортензию; и в таком случае женщине следует научиться обуздывать свой темперамент и постараться ответить взаимностью на привязанность мужа. Если бы она знала, как обуздать свой гнев, то избавила бы себя от неприятностей, связанных с недавним судебным процессом; она прожила бы более счастливую жизнь; она поехала бы со своим мужем в Голландию и осталась бы там. Тогда Людовик не бежал бы из Амстердама, и я не был бы вынужден объединить его королевство с моим, что привело к падению моего авторитета в Европе. Многие другие события также могли бы принять другой оборот.

- Принцесса Баденская, - продолжал император, - поступила более мудро. Став свидетельницей развода Джозефины, она вспомнила о своем собственном положении и приложила все усилия, чтобы завоевать расположение мужа. Впоследствии они были самой счастливой парой.

"Полин была слишком беспечной и экстравагантной. Возможно, она была безмерно богата, учитывая все, что я ей дал; но она, в свою очередь, раздала все. Ее мать часто читала ей лекции

на эту тему и говорила, что она умрет в больнице. *Мадам*, однако, довела свою бережливость до самой нелепой крайности. Я предложил обеспечивать ее весьма значительным ежемесячным доходом при условии, что она будет его тратить. Она, с другой стороны, была очень рада получить деньги при условии, что ей разрешат их копить. Это проистекало не столько из жадности, сколько из чрезмерной предусмотрительности; все, чего она боялась, было то, что однажды она может опуститься до нищенства. Она познала ужасы нужды, и теперь они постоянно преследовали ее воображение. Однако это всего лишь признание того, что она втайне многое давала своим детям. Она действительно добрая мать.

“Тем не менее, ” продолжал император, “ эта женщина, которая так неохотно расставалась ни с одной короной, охотно отдала бы мне всю себя по моем возвращении с острова Эльба; а после битвы при Ватерлоо она отдала бы мне все, чем владела в мире, чтобы помочь мне восстановить мои дела. Она предложила это сделать и безропотно обрекла бы себя на жизнь на черном хлебе.<sup>[16]</sup> Возвышенность чувств все еще царила в ее сердце: гордость и благородные амбиции еще не были подавлены алчностью”.

Здесь император заметил, что в его памяти все еще живы уроки гордости, которые он получил от своей матери в детстве и которые повлияли на его поведение в течение всей жизни. Мощный от природы ум мадам Мер был взбудоражен великими событиями, свидетельницей которых она была; она была свидетельницей пяти или шести революций, а ее дом трижды был сожжен дотла группировками на Корсике.

“Иосиф, ” сказал император, - не оказал мне никакой помощи, но он очень хороший человек. Его жена, королева Юлия, - самое любезное создание, которое когда-либо существовало. Мы с Джозефом всегда были привязаны друг к другу и поддерживали очень хорошие отношения. Он искренне любит меня, и я не сомневаюсь, что он сделал бы все на свете, чтобы служить мне. Но его качества подходят только для частной жизни. Он мягкого и доброго нрава, обладает талантом и информацией и в целом очень дружелюбный человек. Выполняя высокие обязанности, которые я возложил на него, он делал все, что мог. Намерения его были благими, и поэтому главная вина лежала не столько на нем, сколько на мне, который возвысил его над подобающей ему сферой. Оказавшись в важных обстоятельствах, он обнаружил, что его силы не справляются с возложенной на него задачей.

“Королева Неаполя сформировалась главным образом среди великих событий. Она обладала здравым смыслом, силой характера и безграничными амбициями.... Естественно, она должна жестоко страдать от своих неудач, особенно потому, что она, можно сказать, родилась королевой. Она не продвинулась, как все мы, - заметил император, - в сфере частной жизни. Каролина, Полина и Жером были еще в детстве, когда я достиг высшего положения во Франции; таким образом, они никогда не знали иного состояния, кроме того, которым наслаждались в период моего правления.

“Джером был абсолютным расточителем. Он погрузился в безграничную расточительность и самый отвратительный распутство. Его оправданием, возможно, может быть его молодость и соблазны, которыми он был окружен. По моему возвращению с острова Эльба, он, казалось, значительно поправился и подавал большие надежды. Замечательным свидетельством в его пользу была любовь, которую он внушал своей жене, поведение которой было достойно восхищения, когда после моего падения ее отец, деспотичный и суровый король Вюртемберга,

пожелал добиться ее развода. Затем принцесса собственными руками с честью вписала свое имя в историю”.

К нашему великому сожалению, было объявлено об обеде, но император продолжал быть очень разговорчивым в течение всего вечера. Он привычно оглядывался назад на различные темы, в основном намекая на поведение многих известных людей во время его отсутствия и во время его возвращения. Он ушел спать только в полночь и завершил вечернюю беседу следующими словами: "Что делается в данный момент во Франции и в Париже? и что мы сами будем делать в этот день через год?"

## ИМПЕРАТОР СПИТ.—МОРАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.

20.Мистер Балькомб намекнул мне, что ему поручено снабжать нас всем необходимым за счет английского правительства; но я написал ему, чтобы сообщить, что, поскольку мои собственные денежные обстоятельства позволяют мне отказаться от этой услуги, я решил ею не пользоваться. Поэтому я умолял его получить разрешение губернатора на получение от меня счета, составленного на имя какого-то лица в Англии, который не может быть передан без специального разрешения. Я хотел оставаться свободным от всех обязательств, чтобы ничто не могло помешать мне свободно пользоваться справедливой и печальной привилегией высказывать свои упреки и проклятия.

Император выехал в коляске очень рано. По возвращении, около трех часов, он пожелал, чтобы я последовал за ним в его покои. “Я подавлен, нездоров и устал, - сказал он, “ садитесь в это кресло и составьте мне компанию”. Затем он бросился на кушетку и заснул, а я бодрствовал рядом с ним. Я сел в нескольких шагах от него. Голова его была непокрыта, и я смотрел на его чело, на то чело, на котором были начертаны Маренго, Аустерлиц и сотня других бессмертных побед. Каковы были мои мысли и ощущения в тот момент? Их можно вообразить; но я не могу пытаться описать их!

Примерно через три четверти часа император проснулся. Он несколько раз прошелся по своим покоям, а затем ему вздумалось посетить апартаменты всех членов своей свиты. Когда он подробно рассмотрел все мои неудобства, он сказал с улыбкой негодования: "Ну, я не думаю, что какой—либо христианин на земле может быть устроен хуже, чем вы".

После ужина император попытался прочесть часть Каравансарая де Сарразена. Просмотрев несколько историй и прочитав страницу из одной из них, он сказал: "Мораль этой истории, несомненно, заключается в том, что люди никогда не меняются. Это неправда; они меняются как к лучшему, так и к худшему. Тысячи других принципов, которые авторы пытаются установить, все в равной степени ложны. Они утверждают, что люди неблагодарны; но нет, они не так неблагодарны, как принято считать; и если неблагодарность часто является предметом жалоб, то это потому, что благодетель требует больше, чем дает.

Также говорят, что когда вы знаете характер человека, у вас есть ключ ко всему его поведению. Это ошибочное представление. Человек может совершить дурной поступок, хотя в основе своей он добрый; он может быть втянут в порочный поступок, не будучи сам порочным. Это происходит потому, что человеком обычно движут не естественные склонности его характера, а тайная сиюминутная страсть, которая дремала и была скрыта в самых сокровенных уголках его сердца. Еще одна ошибка - полагать, что лицо - это зеркало ума. Правда в том, что очень трудно

узнать характер человека. Чтобы не быть обманутым в этом вопросе, необходимо судить о человеке только по его действиям; и это должно быть по его действиям в данный момент и только для этого момента.

“По правде говоря, у людей есть свои добродетели и свои пороки, свой героизм и своя порочность; люди не являются ни в целом хорошими, ни в целом плохими; но они обладают всем, что есть хорошего и плохого в этом мире, и практикуют это на практике. Это принцип: естественная предрасположенность, образование и случайные обстоятельства создают приложения. Я всегда руководствовался этим мнением и в целом находил его правильным. Однако я был обманут в 1814 году, когда поверил, что Франция, видя грозящую ей опасность, выступит заодно со мной; но я не был обманут в 1815 году, когда возвращался из Ватерлоо”.

Император почувствовал недомогание и очень рано ушел в отставку.

## ГУБЕРНАТОР АРЕСТОВЫВАЕТ ОДНОГО ИЗ НАШИХ СЛУГ. —БИБЛИЯ.

21—го. -Императору по-прежнему нездоровилось; тем не менее мы, как обычно, проветрились в коляске. По возвращении нам сообщили, что губернатор побывал в Лонгвуде и лично арестовал одного из наших слуг, который недавно уволился со службы у заместителя губернатора Скелтона и который несколько дней назад был нанят генералом Монтолоном. Услышав это, император воскликнул: “Какая низость! какая низость! Губернатор ... Английский генерал-лейтенант собственной персоной арестовал слугу! Действительно, такое поведение слишком отвратительно!”

К нам присоединился верховный маршал и объявил о прибытии корабля с припасами, который покинул Англию 8 марта.

После обеда император спросил, что мы будем читать, и мы все выбрали Библию. “Это, конечно, очень поучительно, ” сказал император. “ в Европе об этом никогда бы не догадались”. Он читал нам книгу Иисуса Навина, отмечая почти в каждом названном им городе или деревне: “Я расположился там лагерем; я овладел этим местом штурмом; я дал здесь сражение и т. Д.”

## ПРИМЕРЫ КАПРИЗА ВЛАСТИ—ПРИНЦЕССА СТЕФАНИЯ БАДЕНСКАЯ И другие.

22—го.- В течение этого дня много говорилось о матросах "Нортумберленда", которые были предоставлены нам в качестве прислуги и которые, как мы теперь понимали, должны были быть уволены со службы. Однако они были привлечены по взаимному контракту, по которому обе стороны были связаны обязательствами в течение года. Но у нас нет рамок обычного права. Губернатор подтвердил, что адмиралу нужны эти люди; и адмирал сказал, что он позволит им остаться с нами, если губернатору будет угодно. Матросов увели, а вместо них послали солдат; но их тоже увели и отправили обратно, им приказали уйти во второй раз и снова отправили обратно к нам. Мы не могли догадаться о значении всех этих изменений.

Пока я находился в апартаментах императора, ожидая объявления об обеде, разговор зашел об учреждении мадам Кампан, о молодых особах, получивших в нем образование, и о богатствах, которыми император награждал некоторых из них. В частности, он упомянул Стефанию де

Богарне, впоследствии принцессу Баденскую, к которой, по его словам, был очень привязан. Он рассказал о ней много подробностей.

Принцесса Стефания Баденская потеряла мать в детстве. Ее оставили на попечении англичанки, близкой подруги ее матери, которая была очень богата и бездетна и которая доверила образование своей *протеже* каким-то старым монахиням на юге Франции, кажется, в Монтобане.

Наполеон во время своего консульства однажды услышал, как Жозефина упомянула об этом обстоятельстве, имея в виду свою молодую родственницу Стефанию. “Как вы можете это допускать?” - сказал он. “Как вы можете терпеть, чтобы человека с вашим именем поддерживала иностранка, англичанка, которая в данный момент должна рассматриваться как наш враг? Вы не боитесь, что однажды из-за этого пострадает ваша память? Был немедленно отправлен курьер, чтобы доставить молодую леди в Тюильри; но монахини отказались расстаться с ней. Наполеон, однако, установил необходимые юридические формы, и к префекту округа был срочно отправлен второй курьер с приказом немедленно арестовать молодую леди именем закона.

В силу обстоятельств того времени влияние определенных систем воспитания и внушаемых ими мнений было таково, что отъезд Стефании был для нее самой источником глубокого сожаления; и она не без ужаса смотрела на того, кто объявил себя ее родственником и собирался стать ее благодетелем. Ее поместили в заведение мадам Кампан в Сен-Жермене; для наблюдения за ее образованием были назначены всевозможные учителя, и, когда она вышла в свет, ее красота, остроумие, достижения и добродетели сделали ее объектом всеобщего восхищения.

Император удочерил ее как свою дочь и выдал замуж за наследного принца Баденского. Этот союз в течение нескольких лет был далек от счастья. Однако со временем причины разногласий постепенно исчезли; принц и принцесса привязались друг к другу, и с этого момента им оставалось только сожалеть о счастье, которого они были лишены в первые годы своего брака.

На конференциях в Эрфурте принцессе Баденской оказывали самое пристальное внимание ее шурины, император Александр. Во время наших бедствий в 1813 году лица, стоявшие во главе политических дел, опасаясь результатов беседы Александра с принцессой Баденской в Мангейме, преуспели в том, чтобы лишить принцессу уважения ее августейшей родственницы, распространяя ложные слухи, наносящие ущерб ее репутации. Поэтому, когда Александр прибыл в Мангейм во время своего триумфального шествия в Париж, он ни в коем случае не относился к принцессе Стефании с должным уважением. Его поведение было рассчитано на то, чтобы уязвить ее чувства; но это не могло смирить ее гордость. В этом случае поведение принца Баденского отразило истинную славу его характера. Самые августейшие особы окружили его и убеждали отказаться от жены, которую он получил из рук Наполеона. Но принц с истинным благородством отверг эту идею, заметив, что он никогда не совершил бы низменного поступка, который был бы столь же противен его чувствам, сколь и его чести. Этот великодушный принц, к которому мы не проявили должной справедливости в Париже, впоследствии стал жертвой утомительной и мучительной болезни. Принцесса лично сопровождала своего мужа на протяжении всех его страданий, оказывая собственными руками все мельчайшие услуги, которых требовало его положение: ее преданная привязанность снискала ей восхищение родственников и подданных.

Принцесса Стефания Баденская придавала блеск своему высокому положению. Она оказала честь своему характеру жены и дочери. Она всегда испытывала величайшее почтение к нему, который, наслаждаясь безграничной властью, великодушно усыновил ее как свое дитя.

## ПРИНЦИПЫ ИМПЕРАТОРА ОТНОСИТЕЛЬНО СУВЕРЕНИТЕТА.—ИЗГНАНИЕ ПОРТАЛИСА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА.—НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С ИМПЕРАТОРОМ В СЕН-КЛУ, ОКСОНЕ И МАРЛИ.

23—го.- Император пожелал, чтобы я явился к нему в его покои около двух часов. Он заметил, что я неважно выгляжу. Он сам был болен и почти не спал предыдущей ночью. Он начал одеваться, сказав, что, вероятно, почувствует себя лучше, когда закончит свой туалет. Затем мы вышли прогуляться по саду. Поворот разговора привел императора к замечанию, что наши нравы требуют, чтобы к монарху относились только как к благословию для его народа; его суровые поступки следует игнорировать, принимая во внимание его милосердие; милосердие по-прежнему должно считаться его главным атрибутом. Он заметил, что в Париже его иногда упрекали в разговорах и словах, которые, по правде говоря, не должны были ускользнуть от него. Но он добавил, что его личная ситуация, его чрезвычайная активность и большинство его поступков, которые действительно исходили от него самого, должны были загладить многое. Он отдал должное тонкому такту, отличавшему жителей французской столицы; нигде, по его словам, нельзя было найти столько остроумия или вкуса. Он упрекал себя за исключение Порталиса из Государственного совета. Я, присутствовавший при этой сцене, сказал ему, что, на мой взгляд, его поведение было несколько отеческим. “Возможно, я был слишком суров, - продолжал он. - мне следовало сдержаться, прежде чем приказывать ему уходить. Он не пытался оправдываться, и поэтому сцена должна была закончиться тем, что я просто сказал, что все хорошо. Наказание должно было ждать его дома. Гнев всегда неприличен суверену. Но, возможно, мне было простительно на моем совете, где я мог считать себя в лоне своей собственной семьи; или, возможно, в конце концов, я могу быть справедливо осужден за этот поступок. У каждого есть своя вина; природа проявит свою власть над всеми нами”.

Он сказал, что также упрекает себя за свое поведение по отношению к Г.—ну де Г. - в Тюильри, во время одной из грандиозных воскресных аудиенций и в присутствии всего Двора. - Но в данном случае, - сказал он, - "я" был доведен до крайности. Мой гнев вырвался наружу вопреки моим желаниям. Я передал Г. командование столичным легионом, который собирался защищать. Впоследствии я узнал, что он радовался нашим бедствиям и ссылаясь на них, хотя в то время, о котором я сейчас говорю, я этого не знал. Враг наступал на нас, и Г. хладнокровно уведомил меня письмом, что его здоровье не позволяет ему принять командование; хотя, как придворный, он предстал передо мной в совершенной активности и хорошем расположении духа. Я был очень возмущен его поведением, но подавил свой гнев и решил не обращать на него внимания. Он, однако, три или четыре раза искал случая встать у меня на пути. Я больше не мог сдерживать свой гнев, и бомба взорвалась.

“Но, - заключил император, - что огорчало меня больше всего, так это положение сына Г., который был моим камергером и на которого у меня не было причин жаловаться”.

Затем император заговорил о Сен-Жерменском предместье и спросил меня о многих семьях и отдельных лицах, принадлежащих к нему. Он случайно упомянул имя мадам де С.....; Я заметил, что она постоянно проявляла большую привязанность к императору, за что теперь, несомненно,

была сурово наказана. Император не подозревал о степени и искренности ее рвения и преданности, хотя он был очень тронут ее великодушным решением остаться с императрицей Жозефиной. По его словам, ему было в чем упрекнуть себя за то, что ничего не сделал для мадам де С..... Должно быть, ей не повезло с выбором момента, когда она добивалась выдвижения кандидатуры своего мужа в Сенат.

Я с детства был близко знаком с мадам де С., и она сделала меня своим близким другом. Я рассказал императору историю о ее назначении на должность *дворянской дамы*. Однажды утром ее муж представил ее императрице Жозефине, которая в ответ поблагодарила ее за то, что она подала заявление о поступлении к ней на службу. Это было как удар грома для мадам де С., которой и в голову не приходило обращаться с подобной просьбой и которая, по природной застенчивости своего характера, хранила молчание. В то время я, конечно, был далек от того, чтобы одобрять или советовать ей принять этот пост: тем не менее я оказал ей настоящую услугу, утаив письмо с отказом, которое она доверила мне без ведома своих друзей и которое могло оказаться фатальным для интриг тех, кто затеял это дело.

Император спросил меня, что могло вызвать такое отвращение со стороны мадам де С. к поступлению на службу к императрице? Я ответил, что это было вызвано ее связью с королевской семьей. "Она была права, - сказал он, - как мог ее муж подумать о том, чтобы поставить ее в ситуацию, столь враждебную ее чувствам? Аналогичный случай произошел при одном из моих выдвижений в чемберлены. Один человек просил, чтобы я с удовольствием позволил ему отказаться от этой чести, потому что, как он сказал, он был первым джентльменом Палаты при Людовике XVI. и Людовике XVIII. Это было совершенно разумно с его стороны; но как я мог прислушаться к подобным просьбам? Это было доказательством отсутствия деликатности у тех, кто предлагал его кандидатуру; но какое я имел к этому отношение? Могу ли я вдаваться в подробности такого рода? Важные дела, которые требовали моего внимания, не позволили бы мне перейти к вопросам подобного рода.

"Однако, " продолжал император, - если бы мадам де С.... правильно подошла к работе, она могла бы получить все, о чем просила. Но она никогда не проявляла особого интереса к тому, чего добивалась, и подавала заявления только в пользу лиц, которые показали себя не очень достойными; среди прочих она рекомендовала моему вниманию человека, который, будучи пэром короля, хотел стать одним из моих. Когда я вернулся с Эльбы, его дочь пришла заверить меня, что, если я окажу ему эту милость, он поклянется усердно служить мне, не признавая, как он сказал, никаких интересов, кроме интересов нации. Все это, конечно, было достаточно справедливо".

Около четырех часов император сел в коляску; во время нашей обычной поездки он упомянул о нескольких серьезных несчастных случаях, в результате которых его жизнь в тот или иной момент подвергалась опасности.

В Сент-Клауде он однажды попытался управлять своим "калашом шестью руками". Лошади испугались, когда адъютант Кафарелли неосторожно перешел дорогу перед ними. Прежде чем император успел натянуть поводья, лошади понеслись во весь опор, и коляска, которая катилась с невероятной скоростью, ударилась о перила. Императора отбросило на расстояние восьми или десяти футов, и он растянулся на земле лицом вниз. По его словам, он был мертв в течение нескольких секунд. Он почувствовал момент, когда жизнь угасла, который он называл *негативным моментом*. Первый человек, который прикоснулся к нему, сойдя с лошади,

немедленно привел его в чувство. Он заметил, что простое прикосновение внезапно вернуло его к жизни, подобно тому, как в "кошмарной ночи" страдальцу становится легче, как только он может закричать.

В другой раз император сказал, что его чуть не утопили. Однажды, находясь в гарнизоне Оксона в 1786 году, когда он забавлялся плаванием, им овладело внезапное оцепенение; он потерял самообладание, и, оставшись один, был унесен течением в бесчувственном состоянии. Он почувствовал, что жизнь покидает его, и даже услышал, как его товарищи на берегу крикнули, что он утонул, и поспешили на поиски лодок, чтобы забрать его тело. В данном случае внезапный шок вернул его к жизни. Его грудь ударились о песчаную отмель, и каким-то чудом его голова оказалась над водой, и он достаточно пришел в себя, чтобы доплыть до берега. Вода была выпущена из его желудка; он вернулся на то место, где оставил свою одежду, и, одевшись, вернулся домой, в то время как его друзья все еще искали его тело.

В другой раз, во время охоты на дикого кабана в Марли, вся его свита была обращена в бегство; это было похоже на разгром армии. Император вместе с Сультом и Бертье удерживали свои позиции против трех огромных кабанов. "Мы убили всех троих; но я получил рану от моего противника и чуть не лишился этого пальца", - сказал император, указывая на безымянный палец своей левой руки, на котором действительно были следы тяжелой раны. "Но самым смешным обстоятельством из всех было видеть множество людей, окруженных своими собаками, которые прикрывались тремя героями и громко кричали: *"Спасите императора! Спасите императора!"*, в то время как никто не пришел мне на помощь".

## ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ.

24—го.- Император вышел только проветриться в коляске. Мы ехали почти полтора часа, двигаясь медленным шагом, и увеличили время проветривания, дважды превысив пределы нашей обычной поездки. Император беседовал о политике. Газеты, которые мы получили три дня назад, послужили предметом обсуждения.

Во Франции, заметил он, патриоты быстро эмигрировали; и, по-видимому, было желание поощрить их эмиграцию, поскольку их имущество не было конфисковано и т.д.

Императору показалось, что из дебатов в английском парламенте он понял, что идея раздела Франции была сдержанной; это было серьезным потрясением для его чувств. "Каждый, у кого есть истинное французское сердце, " сказал он, - должен быть сейчас охвачен отчаянием. Огромное большинство населения Франции должно быть погружено в глубочайшую скорбь. Ах! - воскликнул он, - почему я не помещен в какую-нибудь отдаленную сферу, на землю, по-настоящему свободную и независимую, где можно было бы не бояться никакого внешнего влияния! как бы я удивил вселенную! Я бы обратился с воззванием к французам; я бы сказал им: —Вы погибли, если не будете едины. Отвратительный, наглый иностранец собирается выставить вас вон и уничтожить. Французы восстаньте; сделайте общее дело, несмотря ни на что, — сплотитесь, если это необходимо, даже вокруг бурбонов! Пусть существование, безопасность Франции займут место всех других соображений!..."

Однако он считал, что Россия должна воспротивиться этому разделению, поскольку таким образом ей придется опасаться растущей силы и консолидации Германии против нее. Кто-то из присутствующих заметил, что Австрия также должна выступить против этого, опасаясь получить

необходимую поддержку в случае каких-либо попыток со стороны России. Более того, было отмечено, что в таком случае Австрия, вероятно, могла бы послужить делу римского короля, выдвинув его вперед. - Да, - ответил император, - возможно, как орудие угрозы, но никогда как объект ее добрых пожеланий. У Австрии, должно быть, слишком много причин бояться его. Король Рима будет человеком из народа; он будет чемпионом Италии. Таким образом, политикой Австрии будет лишение его жизни. Вероятно, это не будет предпринято во время правления его деда, который был хорошим человеком; но император Франциск не может жить вечно. Если, однако, нравы нынешнего века исключают возможность попытки его убийства, они попытаются жестоко воздействовать на его способности. Или, наконец, если он избежит как физического, так и морального уничтожения, если заботы его матери и его собственные природные способности спасут его от всех этих опасностей, тогда... Тогда... (он повторил несколько раз, как бы погруженный в размышления) ... Почему тогда ... Но кто может рассчитывать на судьбу кого—либо здесь, внизу!"

Затем император перевел разговор на Англию, заметив, что она одна заинтересована в уничтожении Франции; и с полнотой и разносторонностью своей фантазии он коснулся всех различных планов, которые она, вероятно, предпримет с этой целью. По его словам, она не могла усилить мощь Бельгии, иначе Антверпен стал бы для нее таким же грозным, каким был при его правлении. Она должна, заметил он, оставить Бурбонов в центре, где проживает всего восемь или десять миллионов человек, и окружить их принцами, герцогами или королями Нормандии, Бретани, Аквитании и Прованса; таким образом, Шербур, Брест, Гаронна и Средиземноморье оказались бы во владении разных суверенов. Это, по его словам, отбросило бы французскую монархию назад на несколько веков, вернуло бы ее к положению, существовавшему при первых капетингах, и обеспечило бы бурбонам несколько столетий новых и кропотливых усилий. "Но, к счастью, — заметил император, — прежде чем Англия сможет достичь этой точки, ей придется преодолеть почти непреодолимые препятствия - единообразие деления территории на департаменты, сходство языка, идентичность манер, универсальность кодекса, всеобщность моих лицеев, а также славу и великолепие, которыми я обладаю". позади меня осталось так много неразрывных узлов и поистине национальных институтов.

"Такую великую нацию, как Франция, нелегко разделить, а если и придется, то она будет постоянно объединяться и стремиться восстановить свое значение; подобно гиганту Ариосто, который бежит за своими конечностями и даже головой, когда их отрубают, и, надев их, снова начинает сражаться". "Но, сир, " сказал кто-то из присутствующих, - могущество гиганта зависело от того, чтобы вырвать один волосок; и точно так же можно сказать, что Наполеон был тем волоском, от которого зависело существование Франции". "Нет, " продолжал император, "память обо мне и мои идеи все еще сохранились бы. Но, - продолжал он, - Англия, напротив, со временем превратилась бы в простой придаток Франции, если бы последняя продолжала оставаться под моим владычеством. Природа предназначила Англии быть одним из наших Островов, так же как Олерону или Корсике. От каких мелочей зависит судьба Империй! Как мелки и незначительны наши революции в великой организации Вселенной! Если бы вместо участия в египетской экспедиции я вторгся в Ирландию; если бы какое-нибудь незначительное нарушение моих планов не создало препятствий на пути моего булонского предприятия, какой была бы Англия сегодня? Какой была бы ситуация на континенте и во всем политическом мире?"

## "БРУТ" ВОЛЬТЕРА.

25—е.-После обеда император прочел "Эдипа", которым он чрезвычайно восхищался. Затем он взялся за "Брута", о котором дал нам очень замечательный анализ. Он заметил, что Вольтер, по-видимому, не проникся должным чувством к своему предмету. "Римлянами, - сказал он, - руководил патриотизм, как нами - честь. Вольтер не изобразил подлинного величия Брута, пожертвовавшего своими сыновьями ради благополучия своей страны, несмотря на муки отцовской привязанности. Он превратил его в гордого монстра, приговорив к смерти своих детей ради сохранения своей власти, своего имени и своей известности. Другие персонажи трагедии, добавил он, также неверно поняты. Туллию описывают как фурию, которая пользуется своим положением, а не как нежную сентиментальную женщину, которую обольщение и опасное влияние могут толкнуть на преступление".

## ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛОНИЯ НА БЕРЕГАХ РЕКИ СВ. ЛАВРЕНТИЯ.—ИМПЕРАТОР МОГ ОТПРАВИТЬСЯ В АМЕРИКУ.—КАРНО ВО ВРЕМЯ ОТРЕЧЕНИЯ.

26—го.-Император послал за мной около двух часов. Ему было нехорошо, и он сильно устал. Мы просмотрели несколько газет.

В этих бумагах говорилось, что Жозеф Бонапарт совершил обширные покупки земли на севере штата Нью-Йорк, на реке Святого Лаврентия, и что вокруг него объединилось множество французских семей, которые вскоре, вероятно, создадут многочисленную колонию. Было отмечено, что это место, по-видимому, было выбрано с учетом интересов Соединенных Штатов и в противовес политике Англии. На юге, в Луизиане, например, беженцы могли рассчитывать только на отдых и семейное счастье; но в их нынешнем положении они вскоре должны были стать естественной достопримечательностью для населения Канады, которое уже было французским, и в конечном итоге они должны были образовать сильный барьер или даже враждебный пункт против англичан, которые все еще владеют властью в этой части Америки. Император сказал, что через несколько лет это заведение будет представлять собой многочисленное население, отличающееся всевозможными полезными знаниями. Если они выполнят свой долг, сказал он, они передадут из своей колонии превосходные труды, победоносные опровержения системы, которая сейчас торжествует в Европе. Когда император был на острове Эльба, ему пришла в голову похожая идея.

Затем он подсчитал все, что он подарил разным членам своей семьи, и заметил, что они, возможно, накопили значительные суммы денег. Со своей стороны, сказал он, у него ничего нет; если со временем он окажется во владении какой-либо собственностью в Европе, он будет полностью обязан этим предусмотрительности и изобретательности некоторых из своих друзей.

Если бы император отправился в Америку, он намеревался собрать вокруг себя всех своих родственников; и он предположил, что они могли бы выручить по меньшей мере сорок миллионов франков. Этот пункт стал бы ядром национального союза, второй Франции. К концу года события в Европе собрали бы вокруг него сто миллионов франков и шестьдесят тысяч человек, большинство из которых обладали богатством, талантом и информацией. Император сказал, что ему хотелось бы осуществить эту мечту; это было бы возрождением его славы.

"Америка, " продолжал он, " была во всех отношениях нашим настоящим убежищем. Это огромный континент, обладающий преимуществами своеобразной системы свободы. Если

человека мучает меланхолия, он может сесть в карету и проехать тысячу лье, всю дорогу наслаждаясь удовольствиями обычного путешественника. В Америке вы можете быть на равных со всеми; вы можете, если вам угодно, смешиваться с толпой, не испытывая неудобств, сохраняя свои собственные манеры, свой собственный язык, свою собственную религию и т. Д.”.

Он сказал, что отныне он не может считать себя частным человеком в Европе; его имя слишком популярно на всем континенте. Он был так или иначе связан с каждым народом и принадлежал к каждой стране.

“Что касается вас, - сказал он мне, улыбаясь, - то ваша судьба, казалось, естественным образом привела вас к берегам Оронооко или в Мексику, где еще не изгладились воспоминания о добрых делах Лас-Каса. Вы бы наслаждались там всем, чего только могли пожелать. Судьбы некоторых людей, кажется, предрешены. Грегуару, например, стоит только отправиться в Хайти, и он немедленно станет папой римским”.

Во время второго отречения императора американец из Парижа написал ему следующее: "Пока вы были во главе нации, вы могли совершить любое чудо, вы могли питать любые надежды; но теперь вы больше ничего не можете сделать в Европе. Летите в Соединенные Штаты! Я знаю сердца ведущих людей и чувства народа Америки. Вы найдете там вторую страну и все источники утешения ". Император не стал бы слушать такое предложение. Несомненно, он мог бы, благодаря быстроте или маскировке, достичь Бреста, Нанта, Бордо или Тулона и, по всей вероятности, достичь Америки; но он понимал, что либо маскировка, либо бегство унизили бы его достоинство. Он считал себя обязанным доказать всей Европе свое полное доверие к французскому народу и его крайнюю привязанность к нему, проехав через его владения в такой критический момент просто как частное лицо и без какого-либо сопровождения. Но что больше всего повлияло на него в тот критический момент, так это надежда на то, что надвигающаяся опасность откроет глаза его подданным, что они сплотятся вокруг него и что он сможет спасти страну. Эта надежда заставила его задержаться в Мальмезоне и отложить свой отъезд после того, как он добрался до Рошфора. Если он сейчас находится на острове Святой Елены, то своим пленением обязан этому чувству, от которого он не смог избавиться. Впоследствии, когда у него не было другого выхода, кроме как воспользоваться гостеприимством "Беллерофонта", возможно, не без чувства внутреннего удовлетворения он обнаружил, что силаобстоятельств непреодолимо побудила его обосноваться в Англии, где он мог наслаждаться счастьем находиться все еще на небольшом расстоянии от Франции. Он прекрасно понимал, что не может быть свободен в Англии, но надеялся, что его услышат, и тогда, по крайней мере, появился бы шанс произвести впечатление, которое он мог бы произвести. “Английские министры, ” сказал он, “ которые являются врагами своей страны и продали ее иностранцам, думали, что у них слишком много причин опасаться моего присутствия. Они полагали, что мое мнение в Лондоне будет более весомым, чем вся оппозиция: что оно вынудило бы их либо изменить свою систему, либо уйти в отставку; и, чтобы удержаться на месте, они подло пожертвовали истинными интересами своей страны, триумфом, славой ее законов, миром во всем мире, благополучием Европы, счастьем и благословениями потомства”.

В ходе вечерней беседы император еще раз упомянул Ватерлоо и описал свое беспокойство и нерешительность, прежде чем принять окончательное решение относительно своего

отречения. Я опускаю множество подробностей, чтобы не быть вынужденным повторяться; я отмечаю только следующее:

Речь императора перед своими министрами была буквальным пророчеством всего, что произошло впоследствии. Карно был единственным, кто, казалось, придерживался правильного взгляда на дело. Он выступал против отречения, которое, по его словам, было смертельным ударом для Франции; и он хотел, чтобы мы защищались даже до полного уничтожения. Карно был единственным, кто придерживался этого мнения; все остальные были за отречение. Эта мера была принята, и Карно, закрыв лицо руками, разрыдался.

В другой момент Император сказал: “Я не Бог: я не могу сделать все своими собственными усилиями: я не могу спасти нацию без помощи нации. Я уверен, что тогда люди разделяли эти чувства, и что сейчас они незаслуженно страдают. На самом деле виновны были множество интриганов и людей, обладающих титулами и должностями. То, что ввело их в заблуждение и погубило меня, было мягкой системой 1814 года, благосклонностью реставрации; они ожидали повторения этой мягкости. Смена Государя стала просто шуткой. Все они рассчитывали остаться такими, какими были раньше, независимо от того, сменит ли меня Людовик XVIII. или кто-либо другой. Эти глупые, эгоистичные люди смотрели на великое событие просто как на соревнование, о котором они мало заботились; и они думали только о своих личных интересах, когда вот-вот должна была начаться смертельная война принципов. И почему я должен скрывать правду? Среди людей, которых я возвысил и которыми я был окружен, было немало гордых ...!” Затем, повернувшись ко мне, он добавил: “Я не имею в виду ваше Сен-Жерменское предместье, в отношении которого дело обстояло совершенно иначе и для которого можно найти какое-то оправдание. Во время моих первых неудач в 1814 году величайшими предателями были не лица, связанные с этой партией, на которых у меня не было особых причин жаловаться; и которые, следовательно, по моем возвращении не были связаны со мной какими-либо особыми узами благодарности. Я отрекся от престола, король был восстановлен. Они всего лишь вернулись к своим старым привязанностям и лишь возобновили свою преданность”.

## СОСТОЯНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ МАНУФАКТУР.—О ФИЗИОГНОМИКЕ.

27—го. - Император вышел около 2 часов; погода была очень хорошая. Время года заметно отличается от того, что было при нашем прибытии; воздух бесконечно чище. Император, однако, был очень болен и очень подавлен. Он дошел до опушки леса, пока мы ждали коляску. Мы поехали своей обычной дорогой.

Разговор зашел о состоянии промышленности во Франции. Император сказал, что он поднял их до уровня процветания, доселе неизвестного; и о котором едва ли думали в Европе или даже во Франции. Это было предметом удивления иностранцев по их прибытии. Аббат де Монтескью, по его словам, постоянно выражал свое удивление этим обстоятельством, доказательства которого он имел в своих руках, когда стал министром внутренних дел.

Император был первым человеком во Франции, который сказал: сначала сельское хозяйство, затем промышленность, то есть мануфактуры, и, наконец, торговля, которая должна возникнуть из переизбытка двух первых. Он также четко и связно определил и внедрил на практике системы, наиболее отвечающие интересам наших производителей и торговцев. Ему мы были обязаны выращиванием сахара, индиго и хлопка. Он предложил награду в миллион франков

тому, кто откроет способ прядения льна подобно хлопку; и он не сомневался, что это открытие было бы сделано. Только роковое стечение обстоятельств помешало претворению этой грандиозной идеи в жизнь.

“Старая аристократия, эти враги нашего процветания, - сказал император, “исчерпала все свое остроумие в глупых шутках и легкомысленных карикатурах на эти темы. Но у англичан не было причин смеяться; они почувствовали удар и до сих пор не оправились от него”.

Незадолго до обеда император послал за мной, чтобы я присутствовал при нем в его покоях. Ему было очень нехорошо; он пытался разговаривать, но у него не было сил. Он объяснил свое недомогание тем, что выпил немного плохого вина, которое только что доставили. Он сказал, что Корвизар, Бертоле и другие врачи и химики часто говорили, что, если он почувствует хотя бы малейший неприятный привкус при первой дегустации вина, он ни в коем случае не должен его глотать.

Поворот разговора побудил его выразить свое удивление контрастом между характером ума и выражением лица, который наблюдался у некоторых людей. “Это доказывает, - сказал он, - что мы не должны судить о человеке по его лицу; мы можем узнать его только по его поведению. О каких лицах мне приходилось судить в течение моей жизни! Какие странные образцы физиогномики попадались мне на глаза! И какие опрометчивые мнения я слышал по этому поводу! Таким образом, я неизменно брал за правило никогда не поддаваться влиянию ни черт лица, ни слов. И все же, однако, следует признать, что иногда мы обнаруживаем любопытное сходство между выражением лица и характером. Например, взглянув на лицо нашего *монсеньора* (имеется в виду губернатор), который не узнал бы в нем тигрового кота! Я упомяну другой пример. У меня на службе был человек, который занимался моей персоной. Он мне очень понравился, но я был вынужден уволить его, потому что несколько раз заставлял его с руками в карманах. Он совершал свои кражи слишком нагло: пусть кто-нибудь посмотрит на этого человека, и он должен признать, что у него глаз сороки”.

Пока мы беседовали о физиогномике, кто-то заметил, что Мирабо, говоря о лице Пасторе, сказал: “В нем сочетаются черты тигра и теленка, но теленок преобладает”. Услышав это, император от души рассмеялся и сказал, что это чистая правда.

Император пожелал отобедать один в своих покоях. Он послал за мной около десяти часов. Тогда ему стало лучше, и он просмотрел несколько книг, разбросанных по его кушетке. Он начал читать “Александра” Расина, который ему не понравился, а затем взялся за “Андромаху”, одно из его любимых произведений.

## ЗНАКИ УВАЖЕНИЯ, ОКАЗАННЫЕ ИМПЕРАТОРУ АНГЛИЙСКИМИ СОЛДАТАМИ.

28-го. Император уехал около двух часов. Погода была на редкость приятной. Мы почти час ехали в коляске. Сначала было предложено, чтобы император ездил верхом, так как его здоровье страдало от недостатка этого упражнения. Но он не согласился покататься верхом; он сказал, что скакать взад и вперед в установленных для него пределах - все равно что быть запертым в школе верховой езды, и он не мог этого вынести. Однако по возвращении домой нам удалось изменить его решение. Мы все последовали за ним и достигли вершины той части Козьего холма, которая отделяет горизонт города от горизонта Лонгвуда. На обратном пути мы проезжали мимо английского лагеря; это был первый раз, когда мы проезжали мимо него со

времени нашего пребывания в Лонгвуде. Солдаты немедленно бросили свои разнообразные занятия и нетерпеливо построились в шеренгу, когда мы проходили мимо. “Какой европейский солдат,” сказал император, “не проникся бы уважением при моем приближении!” Он знал это и поэтому тщательно избегал проезжать мимо английского лагеря, чтобы его не обвинили в желании возбудить эти чувства. Нам всем очень понравилась поездка, и мы вернулись домой около пяти часов. Император был немного утомлен.

С некоторых пор он отказался от своих обычных диктовок. Он увидел несколько кеглей, которые слуги сделали для собственного развлечения. Он приказал привести их к нам, и мы сыграли с ними несколько партий. Император выиграл у меня полтора наполеона. Он заставил меня заплатить долг, а затем бросил деньги слуге, который сопровождал нас с целью побегать за мячом.

## КОРСИКА. —ЗАМЕЧАНИЕ ПАОЛИ.—ВЕЛИКОДУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАДАМ МЕРА.—ЛЮСЬЕН НАМЕРЕВАЛСЯ СТАТЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ КОРСИКИ.—ДВОР ПЕРВОГО КОНСУЛА.—МАДАМ ДЕ ШЕВРЕЗ.—ИМПЕРАТОР ПОЛУЧАЕТ ПИСЬМО ОТ СВОЕЙ МАТЕРИ.

29-е число. В течение некоторого времени по нашей настоятельной просьбе император каждый вечер давал обещание, что на следующее утро рано выедет верхом; но всякий раз, когда наступал назначенный час, он неизменно менял свое решение. Этим утром он был в саду к половине девятого и послал за мной. Разговор зашел о Корсике и продолжался больше часа.

“Родная страна, - сказал он, “ всегда дорога. Даже остров Святой Елены может иметь очарование для тех, кто здесь родился”. Таким образом, для императора Корсика представляла собой тысячу достопримечательностей. Он описал величественные пейзажи страны и заметил, что островитяне всегда проявляют оригинальность характера, потому что их положение, как правило, защищает их от вторжения и исключает те постоянные сношения с иностранцами, которые наблюдаются в континентальных государствах. Жители горных районов, сказал он, всегда обладают свойственной им самим степенью энергии и складом ума. Он много рассказывал о прелестях своей родной страны, которая, по его ранним воспоминаниям, была для него выше любого другого места в мире. Он думал, что сам запах земли позволил бы ему различить свою родную землю, даже если бы его подвели к ее берегам с завязанными глазами; в ней было что-то особенное, чего он никогда не замечал нигде. Корсика была местом всех его ранних привязанностей; там он провел счастливые годы своего детства, свободно бродя по холмам и долинам, наслаждаясь почестями и радостями гостеприимства. Он проследил различные линии семейных связей, которые, по его словам, развили дух вражды и мести даже до седьмой степени; и он заметил, что молодая женщина на Корсике считала, что увеличивает стоимость своего приданого, перечисляя список своих кузенов. Он с гордостью вспоминал, что, когда ему было всего двадцать лет, он сопровождал Паоли в грандиозной экскурсии в Порт-ди-Нуово. Свита Паоли была многочисленной; его сопровождали более 500 его последователей верхом на лошадях. Наполеон ехал рядом с ним, и по пути Паоли показывал ему различные позиции и места, которые были аренами сопротивления или триумфа во время войны за свободу Корсики. Он рассказал ему все подробности этого славного сражения; и, выслушав замечания и мнения, высказанные его молодым товарищем, он сказал: “О Наполеон! в твоём характере нет ничего современного! ты полностью сформирован по модели Плутарха”.

Когда Паоли проявил свою решимость сдать остров англичанам, семья Бонапартов продолжала возглавлять французскую партию и имела роковую честь стать объектом *марша* жителей острова, то есть они подверглись массовому набору: 12 или 15 000 крестьян спустились с гор на Аяччо. Дом, в котором жила семья Наполеона, был разграблен и сожжен, а виноградные лозы и стада были уничтожены. Мадам, окруженная несколькими верными друзьями, некоторое время бродила по берегу моря и в конце концов была вынуждена бежать во Францию. Семья Бонапартов всегда была очень привязана к Паоли, а он, в свою очередь, проявлял особое уважение к мадам. Однако следует лишь отметить, что он использовал убеждение, прежде чем прибегнуть к силе. “Откажитесь от этого сопротивления, ” сказал он, “ это приведет к гибели вас самих, вашей семьи и вашего состояния; вы навлекете на себя непоправимые страдания”. Император, действительно, утверждал, что, если бы не случайность революции, семья никогда бы не оправилась от постигших их несчастий. Мадам, подобно другой Корнелии, героически ответила: “что она, ее дети и ее родственники будут подчиняться только двум законам, а именно закону долга и чести. Если бы старый архидьякон Люсьен был жив в то время, его сердце обливалось бы кровью при мысли об опасности, грозящей его овцам, козам и крупному рогатому скоту, и его благоразумие не преминуло бы утихомирить бурю ”.

Мадам Бонапарт, жертва своего патриотизма и привязанности к Франции, ожидала, что ее примут в Марселе как выдающуюся эмигрантку; но там она едва ли чувствовала себя в безопасности и, к своему удивлению, обнаружила, что дух патриотизма существует только среди самых низших слоев населения.

Наполеон в юности написал историю Корсики, которую посвятил аббату Рейналю. Эта постановка принесла ему несколько лестных комплиментов и писем от аббата, который был модным автором того времени. Эта история утеряна.

Император заметил, что во время войны на Корсике у всех французов, прибывших на остров, сложилось определенное мнение о характере горцев. Одни говорили, что они были полны энтузиазма, другие считали их простыми бандитами.

В сенате Парижа было сказано, что Франция выбрала правителя из числа людей, которых римляне не захотели бы считать своими рабами. “Сенатор хотел этим замечанием оскорбить меня, ” сказал император, “ но он забыл, какой высокий комплимент он таким образом оказывал корсиканцам. Он говорил правду: римляне никогда не покупали корсиканских рабов: они знали, что невозможно подчинить корсиканцев ярму рабства”.

Во время войны за свободу на Корсике кто-то предложил необычный план - вырубить и сжечь все чесночные деревья, плодами которых питались горцы. Предполагалось, что таким образом они будут вынуждены спуститься на равнины, чтобы просить еды и мира. К счастью, сказал император, это был один из тех неосуществимых планов, которые могут быть реализованы только на бумаге. Руководствуясь совсем иными мотивами, Наполеон в ранний период своей жизни постоянно выступал против коз, которых на острове очень много и которые совершают большие опустошения среди деревьев. Он хотел, чтобы они были полностью истреблены. По этому поводу у него было несколько ужасных споров со своим дядей, архидьяконом Люсьеном, у которого были многочисленные стада коз, и который защищал их, как патриарх. В ярости он упрекнул своего племянника в том, что он *новатор*, и выступил с критикой *философских идей*, как причины опасности, которой подвергались его козы.

Паоли умер в Лондоне в глубокой старости: он дожил до того, чтобы увидеть Наполеона первым консулом и императором. Император выразил сожаление по поводу того, что не отозвал его. “Это, - сказал он, - было бы в высшей степени приятно для меня. Такой поступок стал бы настоящим почетным трофеем. Но мои мысли были поглощены важными делами; у меня редко было время потакать своим личным чувствам”.

После возвращения императора в 1815 году, когда Люсьен прибыл в Париж, Жозеф посоветовал императору назначить его генерал-губернатором Корсики. Эта мера была даже принята; только важность и спешка происходящих событий помешали ее исполнению. “Если бы Люсьен отправился на Корсику, - сказал император, - он все равно остался бы хозяином острова, и каких ресурсов это не дало бы нашим преследуемым патриотам?— Скольким несчастным семьям Корсика не предоставила бы убежища? Он повторил, что, возможно, совершил ошибку во время своего отречения, не сохранив за собой суверенитет Корсики вместе с владением несколькими миллионами по гражданскому списку; и в том, что не перевез все свои ценности в Тулон, откуда ничто не могло помешать его переезду. На Корсике он чувствовал бы себя как дома; все население было бы, так сказать, его семьей. Он мог бы избавиться от каждой руки и каждого сердца. Тридцать тысяч или даже 50 000 союзных войск не смогли бы подчинить его”. Ни один суверен в Европе не взял бы на себя такую задачу. Но именно счастливая безопасность ситуации удерживала его от того, чтобы воспользоваться ею. Он не хотел, чтобы говорили, что среди крушения французского народа, которое он ясно предвидел, ему одному хватило хитрости захватить порт.

Кто-то здесь заметил, что, согласно общему мнению, он мог бы в 1814 году получить во владение Корсику вместо острова Эльба. “Конечно, я мог бы, ” ответил император, “ и те, кто хорошо знаком с делами Фонтенбло, будут удивлены, что я этого не сделал. Тогда я мог бы оставить за собой все, что мне заблагорассудится. Юмор момента заставил меня принять решение в пользу Эльбы. Если бы я владел Корсикой, вполне вероятно, что о моем возвращении в 1815 году никто бы и не подумал. Даже на Эльбе те, в чьих интересах было удержать меня там, вынудили меня вернуться из-за своего собственного плохого управления и невыполнения обязательств, которые они взяли на себя со мной ”.

Теперь мы напомнили императору о его намерении прокатиться верхом, но он сказал, что предпочел бы прогуляться и поболтать. Он заказал завтрак, после чего мы некоторое время беседовали о старом Дворе, о знати, его составлявшей, об их притязаниях, о королевских экипажах и т. Д.; И все это сравнивалось с тем, что представил сам император.

Затем император вернулся к периоду своего консульства и описал трудности, с которыми он столкнулся при формировании Двора, который тогда содержался в Тюильри. По прибытии туда он был полон решимости стереть из памяти нравы и конфликты того периода, в котором он только что преуспел. Но до сих пор он проводил свою жизнь в лагерях: он только что вернулся из Египта и покинул Францию молодым и неопытным. Он был чужим для всех, и поначалу это приводило его в большое замешательство. Лебрен был его гидом в первые годы его консульства. Банкиры и спекулянты деньгами были в то время людьми первостепенной важности. Как только консул приступил к своим обязанностям, толпа этих людей столпилась вокруг него с готовностью предложила ему займы значительные суммы денег. Такое поведение, хотя и казалось бы продиктованным только великодушием, однако не было лишено заинтересованных взглядов. По большей части это были люди с дурным характером; и их

предложения были отклонены. Первый консул испытывал естественную неприязнь к людям этой профессии. Он сказал, что принял твердое решение действовать в соответствии с принципами, отличными от принципов Шерера, Барраса и Директории. Он был озабочен тем, чтобы честность стала главной движущей силой и отличительной чертой его нового правительства. Консула также немедленно окружили жены этих ростовщиков, все они были красивыми и элегантными женщинами. Действительно, в то время ростовщик, казалось, считал совершенно необходимым, чтобы его жена была женщиной с обворожительными манерами: это было обстоятельство, которое существенно помогало его спекуляциям. Но благоразумный Лебрен был рядом, чтобы руководить молодым Телемахом. Он решил исключить такого рода общество из Тюильри. Однако собрать подходящий круг вокруг консула было не так-то просто: дворяне были отвергнуты, чтобы не оскорблять общественное мнение; а подрядчики были исключены с целью очищения нравов новой эры. Поскольку эти два класса были таким образом изолированы, то, конечно, не осталось особо выдающегося общества; и Тюильри на некоторое время представлял собой своего рода волшебный фонарь, очень разнообразный и изменчивый.

В Москве вице-королю случайно попались на глаза несколько писем, написанных княгиней Долгорукой, которая в указанный здесь период находилась в Париже. Эта переписка давала очень благоприятную картину Тюильри. Принцесса заметила, что это был не совсем Двор и даже не совсем лагерь, а нечто совершенно новое в своем роде. Она добавила, что первый консул не носил шляпу под мышкой и парадную шпагу на боку, но, тем не менее, он был фехтовальщиком. “Однако,” продолжал император, “злонамеренные слухи таковы, что из-за того, что мне неверно передали некоторые подобные выражения, с княгиней Долгорукой обошлись очень несправедливо. В то время я приказал ей покинуть Францию. Мы думали, что она враждебна принципам нашего правительства; но мы, как можно видеть, ошибались. Мадам Г....., любовница месье де Т....., поскольку он еще не сделал ее своей женой, в значительной степени способствовала отчуждению от нас русских”.

Император заметил, что по возвращении с Эльбы он испытывал гораздо меньше затруднений при составлении своего Двора. “Действительно,” - сказал он, - все было готово дамами, которых я называл *моими вдовами*. Это были мадам Дюрок, герцогиня Истрийская, мадам Ренье, Лагран и все остальные вдовы моих первых генералов. Я посоветовал принцессам, которые консультировались со мной по поводу метода реорганизации своего Двора, последовать моему примеру. Нет ничего более естественного и пристойного. Эти дамы, хотя и были еще молоды, уже имели опыт общения с миром; и среди них было несколько красивых и обворожительных женщин. Большинство из них сейчас потеряли свое состояние; некоторые, как мне сказали, повторно женились и сменили имена;<sup>[17]</sup> так что от всего богатства и положения, основанного мной, возможно, не останется и следа; исчезнут даже имена. Если это действительно так, не даст ли это основания сказать, что, в конце концов, в сделанном мной выборе, должно быть, была допущена радикальная ошибка? Но тем хуже будет для самих партий; они таким образом только обеспечат триумф и почву для дерзости старой аристократии”.

Мы снова напомнили императору о его предполагаемой прогулке верхом: мы убеждали его не пренебрегать ею, потому что знали, что это абсолютно необходимо для его здоровья. Но мы не могли уговорить его покинуть сад. “Нам здесь очень хорошо,” - сказал он. “Мы поставим несколько палаток на этом месте”. Мы заговорили о Сен-Жерменском предместье и отеле де Люин, который император назвал своей столицей. Он описал нам причину изгнания мадам де

Шеврез. Он сказал, что часто угрожал навестить ее этим наказанием, причем за поведение самого озорного и дерзкого характера. Однажды, доведенный до крайности, он обратился к ней следующим образом: "Мадам, в соответствии с феодальными представлениями и доктринами, которых придерживаетесь вы и ваши друзья, вы претендуете на то, чтобы быть повелителями ваших поместий! Теперь, руководствуясь теми же принципами, я могу называть себя Суверенным сеньором Франции. Я могу объявить Париж своей деревней и изгнать из него каждого, кто мне неприятен. Я сужу вас по вашим собственным законам. Уходите! и никогда не смейте возвращаться!" Издав указ о ее ссылке, император был твердо намерен никогда не поддаваться уговорам вернуть ее обратно; потому что, по его словам, он многое пережил, прежде чем назначить ей наказание, и он оказался вынужденным подать пример суровости, чтобы избавить от необходимости повторять это на других. Это был один из его главных принципов.

Я сказал императору, что часто бывал в отеле де Люин и что я был хорошо знаком с мадам де Шеврез и ее свекровью, к которым я всегда питал большое уважение. Последняя проявляла особую и постоянную привязанность к своей невестке, разделяя с ней изгнание и сопровождая ее в различных путешествиях с места на место. Продолжая свою миссию в Иллирии, я однажды вечером встретил их обоих в гостинице у подножия Симплона. Возможность таким образом добыть в пустыне самые тривиальные подробности, касающиеся Парижа и Двора, была для них источником неподдельной радости и самым неожиданным проявлением везения. Они слушали меня с не меньшим рвением, чем проявил Фуке, выслушав рассказы Лазуна. Их изгнание из столицы было для них абсолютным смертным приговором; оно повергло их в отчаяние!

Наконец, я заверил императора, что в течение значительного периода времени наблюдал, как Отель де Люин если и не подавлен, то по крайней мере успокоен и стал чем-то меньшим, чем безразличие; но наши неожиданные бедствия возродили его прежний дух.

Что касается мадам де Шеврез, красивой, умной и дружелюбной женщины с несколько романтическим складом ума, то она, несомненно, была соблазнена чарами дурной славы или подстрекаема своими многочисленными льстецами и поклонниками, некоторые из которых были совершенно недостойны ее внимания. "Я знаю это, - заметил император, - она надеялась возобновить *Фронду*, но я не был второстепенным Государем".

Бриг "Мускито", покинувший Англию 23 марта, прибыл с подшивками "Журналь де Деба" за 5 марта и лондонскими газетами за 21-е. Удалившись в свой кабинет, император пожелал, чтобы я последовал за ним. Он начал просматривать "Журнал дебатов", а тем временем мне доставили письмо от великого маршала. Оно только что прибыло из Европы и было адресовано императору. Я вручил его ему. Он перечитал его один раз и вздохнул; а затем, перечитав его во второй раз, разорвал и бросил обрывки под стол. Это письмо было доставлено открытым! Затем император возобновил чтение Дневников и, внезапно остановившись, сказал после нескольких минут молчания: "Это письмо было от бедной мадам: она здорова и желает переехать жить ко мне на остров Святой Елены!" После этого он продолжил чтение. Это было первое письмо, которое император получил от кого-либо из членов своей семьи, написанное рукой кардинала Феша. Император, очевидно, был сильно задет тем, что письмо было доставлено ему открытым.

## МОРО, ЖОРЖ И ПИШЕГРЮ. — РАСХОЖДЕНИЕ ВО МНЕНИЯХ, ВЫЗВАННОЕ ИХ ЗАГОВОРОМ В БУЛОНСКОМ ЛАГЕРЕ И В ПАРИЖЕ.

30—го.-Император вышел около двух часов, и мы все сопровождали его. Он заговорил о сведениях, содержащихся во французских бумагах, которые он только что получил, и упомянул о статуях, которые, как было заявлено, должны были быть установлены в память о Моро и Пишегрю. “Памятник Моро, ” сказал он, “ чей заговор в 1803 году теперь так хорошо доказан! Моро, который в 1813 году погиб, сражаясь под русским знаменем! Памятник в память Пишегрю, который был виновен в одном из самых отвратительных преступлений! который намеренно потерпел поражение и который потворствовал врагу в истреблении своих собственных войск! И в конце концов, - продолжал он, - история состоит только из сообщений, которые приобретают авторитет благодаря повторению. Поскольку неоднократно подтверждалось, что это были великие люди, заслужившие блага своей страны, в конце концов они сойдут за таковых, а их противников будут презирать”.

Кто-то из присутствующих заметил, что, возможно, так и было в темные века невежества; но что сейчас множество памятников и публичных документов, искусство книгопечатания и гравировки и общее распространение знаний всегда должны делать истину доступной для тех, кто желает до нее докопаться; и, поскольку у каждой партии есть свои историки, думающий читатель всегда сможет составить беспристрастное мнение.

Затем император подробно описал дела Моро, Жоржа и Пишегрю, о которых я упоминал ранее и о которых обещал рассказать подробнее. Теперь он сообщил нам, что человек, сделавший первые признания, указал, хотя и не называя его имени, на человека, с которым Жорж и другие руководители заговора никогда не разговаривали, не сняв шляпы, и к которому они относились с величайшим вниманием и уважением. Сначала предполагалось, что этим человеком, должно быть, был герцог де Берри; и некоторые пришли к выводу, что это был герцог д'Энгиен во время его кратковременного появления. Шарль д'Осье, один из заговорщиков, неожиданно откинул вуаль. Через несколько дней после ареста им овладел приступ меланхолии, и он повесился в тюрьме. Однако была поднята тревога, и он был убит. Растянувшись на своей кровати и все еще находясь между жизнью и смертью, он постоянно осыпал Моро проклятиями и обвинял его в том, что он вероломно соблазнил многих благожелательно настроенных людей и давал им обещания помощи, которые так и не осуществил. Он также упомянул имена Жоржа и Пишегрю. Это было первое обстоятельство, возбуждавшее подозрение против Жоржа и Пишегрю; ранее не было ни малейшего представления о том, что ни тот, ни другой участвовали в заговоре. Реаль, который поспешил выслушать такого рода признание д'Осье на смертном одре, предложил консулу отдать приказ об аресте Моро.

“Это событие произвело большую сенсацию”, - сказал император. “Общественное мнение было доведено до высшей степени брожения. Были высказаны сомнения в правдивости заявлений, сделанных правительством относительно масштабов заговора и числа заговорщиков. Из последних было подтверждено, что в Париже их было около сорока. Их имена были опубликованы, и Первый консул поклялся своей честью обеспечить их безопасность. Он вызвал Бассьера и отдал приказ, чтобы тот со своим корпусом окружил стены Парижа и охранял их. В течение шести недель никому не разрешалось покидать столицу без специального разрешения. В Париже царило всеобщее уныние, но каждый день "Монитор" сообщал об аресте одного или двух человек, которые, как утверждалось, были замешаны в заговоре.

Общественное мнение повернулось в мою пользу; и негодование против заговорщиков возрастало по мере того, как они оказывались в плену. Ни один не спасся”.

В публичных газетах того периода подробно описываются подробности ареста Жоржа, который убил двух человек, прежде чем его удалось задержать. Похоже, что его предал его товарищ, который управлял кабриолетом, в котором они оба ехали вместе.

Что касается Пишегрю, то он стал жертвой самого низкого предательства. “Это обстоятельство, — сказал император, — поистине позорило человеческую природу. Он был продан своим близким другом, человеком, которого я не буду называть по имени из-за ужаса и отвращения, которые его поведение должно вызывать”. Мы сообщили императору, что имя этого человека было упомянуто в "Монитер", на что он выразил удивление. “Этот человек, ” продолжал он, — который в прошлом был военным офицером и с тех пор занимался бизнесом купца в Лионе, предложил сдать Пишегрю за 100 000 крон. В тот день, когда он сделал это предложение, он заявил, что накануне вечером они ужинали вместе и что Пишегрю, каждый день замечавший, что на него ссылаются в "Монитер", и понимавший, что критический момент быстро приближается, сказал: "Если бы я и несколько других генералов смело явились к войскам, не смогли бы мы привлечь их на свою сторону?" — "Нет, — ответил друг, — у вас неправильно представление о настроениях во Франции; вы не привлекли бы ни одного солдата". — Он говорил правду. Ночью вероломный друг проводил офицеров полиции к двери Пишегрю, и тот подробно описал им свою комнату и способы самозащиты. У Пишегрю на столике в спальне лежали пистолеты, и он поддерживал свет, пока спал. Офицеры осторожно отперли дверь с помощью фальшивых ключей, которые раздобыл для них вероломный друг. Стол был опрокинут, свеча погасла, и офицеры схватили Пишегрю, который немедленно вскочил с кровати. Он был очень сильным человеком; он отчаянно сопротивлялся, и было сочтено необходимым связать его и отвести в тюрьму, не дожидаясь, пока его оденут".

Став во главе правительства, Первый консул чрезвычайно стремился успокоить западные департаменты. Он созвал почти всех ведущих людей этих округов и преуспел в пробуждении у некоторых из них чувства интересов и славы своей страны; он добавил, что у некоторых из них даже выступили слезы на глазах. Настала очередь Жоржа среди остальных. Император сказал, что он пытался затронуть каждую струнку своего сердца, но тщетно, он не смог вызвать никакой вибрации. Он обнаружил, что тот утратил всякое благородное чувство и холодно сосредоточился на своих собственных амбициозных расчетах. Он упорствовал в своей решимости командовать своими кантонами. Консул, исчерпав все примирительные доводы, наконец перешел на язык первого магистрата Франции. Он отпустил его и порекомендовал вернуться домой и жить тихо и покорно; и, прежде всего, не ошибаться в характере принятого им в тот момент курса действий и не приписывать слабости то, что было всего лишь результатом его умеренности и сознания своей силы. Он хотел, чтобы тот повторил себе и всем, кто был связан с ним, что до тех пор, пока Первый консул будет держать бразды правления в своих руках, у любого, кто осмелится участвовать в заговоре, не будет никаких шансов на безопасность. Жорж откланялся, но, как показали события, не без того, чтобы усвоить из этого совещания чувство уважения к Наполеону, к уничтожению которого, однако, он все еще продолжал стремиться.

Моро был местом сбора и центром притяжения заговорщиков, которые прибыли из Лондона, чтобы напасть на Париж. Оказалось, что Лайоле, его адъютант, обманул этих людей,

обратившись к ним от имени Моро и сказав им, что этот генерал пользуется популярностью во всей Франции и может распоряжаться всей армией. Моро постоянно уверял их, что он никому не может приказывать, даже своему адъютанту, но что если они убьют Первого консула, то смогут сделать все, что угодно.

Моро, когда его предоставляли самому себе, был очень хорошим человеком. Им легко было руководить, и это объясняет его непоследовательность. Он покинул дворец в восторге и вернулся в него, полный раздражения и злобы, успев тем временем повидаться со своей тещей и женой. Первый консул, который был бы очень рад привлечь его на свою сторону, однажды полностью помирился с ним; но их дружба продлилась всего четыре дня. Тогда консул поклялся, что никогда не возобновит его. Фактически, впоследствии часто предпринимались попытки примирить их; но Наполеон никогда не соглашался на это. Он предвидел, что Моро совершит какую-нибудь ошибку, что он потеряет себя; и, конечно, он не мог бы сделать это более выгодным для Первого консула способом.

За несколько дней до Лейпцигской битвы несколько вагонов с имуществом и документами, принадлежащими Моро, которые направлялись к его вдове в Англию, были перехвачены в Виттемберге. Среди этих бумаг было письмо от самой мадам Моро, в котором она советовала своему мужу отбросить свои глупые колебания и смело прийти к решению. Она убеждала его содействовать торжеству законного дела бурбонов. В ответ на это Моро написал за несколько дней до своей смерти, умоляя ее не беспокоить его своими химерами. "Я достаточно близко подъехал к Франции, - сказал он, - чтобы узнать все, что там происходит. Я попал в настоящее осиное гнездо".

Император был близок к тому, чтобы опубликовать эти перехваченные бумаги в "Монитер"; но во Франции все еще существовали люди, слепо придерживавшиеся того мнения, которого они всегда придерживались в отношении Моро, и которые упорно считали его жертвой тирании. Контрреволюция еще не предоставила возможности обнародовать эти действия, которые до сих пор отвергались, и потребовать компенсации за них. Обстоятельства личной вражды помешали императору осуществить свое намерение. Он считал, что не подобает возрождать эту вражду ради собственной выгоды и очернять память о человеке, который только что пал на поле боя.

Судебный процесс над Моро и Пишегрю, затянувшийся на такой долгий срок, сильно взволновал общественное мнение. Что добавило этому судебному процессу дурной славы и интереса, так это его связь с делом герцога Энгиенского, с которым он был переплетен. "Меня, - сказал император, - упрекали в том, что я совершил большую ошибку на этом процессе. Это сравнивали с делом об ожерелье в царствование Людовика XVI, которое этот монарх передал в руки парламента вместо того, чтобы поручить его рассмотрению Комиссией. Политики утверждали, что я должен был довольствоваться передачей преступников на суд Военной комиссии. Все закончилось бы за сорок восемь часов. Я мог бы это сделать; это было законно, и от меня ничего больше не требовалось бы; я должен был избежать риска, которому подвергался. Но я чувствовал, что моя власть настолько безгранична, и в то же время я был так уверен в справедливости своего дела, что был полон решимости выставить это дело на обозрение всего мира. По этой причине на слушаниях присутствовали послы и агенты иностранных держав!"

Один из присутствующих здесь заметил императору, что курс, который он тогда избрал, оказался выгодным для истории и благородным для его собственного характера. Суд предоставил три тома подлинных документов, относящихся к судебному процессу.

Другой человек из свиты императора, который во время этого знаменитого судебного процесса находился с армией в Булони, сказал, что все эти события, даже дело герцога д'Энгиена d'Enghien, не вызвали там особого интереса и что, вернувшись некоторое время спустя в Париж, он был поражен, увидев шумиху, которую они произвели в столице. В

Император отметил, что общественное мнение действительно было крайне взволновано, особенно по случаю смерти герцога Энгиенского, о котором, по его словам, в Европе до сих пор судят слепо и предвзято. Он настаивал на своем праве предпринять тот шаг, который он предпринял, и перечислил причины, побудившие его к этому. Затем он упомянул о многочисленных попытках покушения на него и заметил, что по справедливости он обязан сказать, что так и не обнаружил Людовика XVIII. ни в каком прямом заговоре против его жизни, хотя такие заговоры постоянно возобновлялись в других кругах. Что касается этого принца, то он слышал только о его систематических планах, идеальных операциях и т. Д.

“Если бы, ” продолжал он, “ я продолжал жить во Франции в 1815 году, я намеревался предать огласке некоторые из более поздних покушений, которые были предприняты против меня. Дело Мобрейля, в частности, должно было быть тщательно расследовано первым судом Империи, и Европа содрогнулась бы, увидев, до каких пределов может дойти преступление тайного убийства ”.

## **БЕСЕДА О ПОЛОЖЕНИИ Англии.—ПИСЬМА, ЗАДЕРЖАННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ.—ХАРАКТЕРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.**

31—го.- В пять часов я отправился присоединиться к императору в саду; мы все собрались там. Разговор зашел о политике. Он описал печальное положение Англии в разгар ее триумфов. Он ссылаясь на огромный ее долг, безумие, невозможность стать континентальной державой, опасности, угрожавшие ее конституции, замешательство ее министров и справедливый протест народа. Англия со своими 150 или 200 тысячами человек приложила столько усилий, сколько он, император, когда-либо прилагал за период своего великого могущества, а возможно, и больше. Он никогда не задействовал более 500 тысяч французских военнослужащих. По следам его континентальной системы следовали все державы на Континенте, и их будут преследовать еще дальше по мере того, как эти державы станут более устойчивыми. Он без колебаний сказал и доказал это, что Англия выиграла бы, присоединившись к Амьенскому мирному договору; что такая линия поведения была бы выгодна всей Европе, но что сам Наполеон и его слава пострадали бы из-за этого. И все же именно Англия, а не он, нарушила договор.

Англии, продолжал он, оставалось следовать только одним курсом, а именно: вернуться к своей конституции и отказаться от военной системы; вмешиваться в дела Континента только через свое морское влияние, в котором она была выдающейся. По его словам, легко было предвидеть, что ее постигнут великие бедствия, если она изберет какой-либо другой курс, и это она неизбежно сделала бы, потому что вся ее аристократия побуждала ее к этому, и потому что глупость, гордыня или продажность ее нынешнего служения заставляли ее упорствовать в системе, которой она следовала.

Закончив разговор, император вернулся в свой кабинет и попросил меня следовать за ним. Он сказал мне, что письмо, которое было отправлено ему из Англии по почте, как говорили, было задержано губернатором, потому что оно не было адресовано ему официально; и было сказано, что письмо для великого маршала было задержано по той же причине. Император заметил, что, если это правда, было что-то особенно жестокое в поведении губернатора, в том, что он отослал письма обратно, даже не упомянув о них нам, и не предоставив нам утешения узнать, от кого они пришли.... Пренебрежение формой, сказал он, могло бы быть легко исправлено на Острове, но его не так легко было бы заметить на расстоянии 2000 лиг. Я сказал императору, что восемь или десять дней назад со мной произошло обстоятельство, почти аналогичное тому, о котором он только что упомянул. “Человек, направлявшийся в Европу, замучил меня своими предложениями услуг. Я уступил его просьбам и поручил ему заказать мне какую-нибудь обувь и поменять для меня часы, потому что здесь нет человека, который знает, как починить часы. Губернатор запретил выполнять эти поручения, поскольку они были адресованы не ему самому. Я никому ничего не говорил на эту тему, сир, потому что у меня есть принцип скрывать оскорбление, за которое я не могу получить возмещения; но я найду возможность высказать губернатору свое мнение. Тем временем ни он, ни человек, которому я дал поручение, не смогли вытянуть из меня ни строчки, ни единого слова, хотя последний предпринял несколько попыток сделать это”.

После обеда император, беседуя о нашем положении и поведении губернатора, который приехал сегодня и совершил быстрый обход Лонгвуда, вернулся к теме их последней беседы и высказал несколько поразительных замечаний по этому поводу. “Без сомнения, я вел себя с ним очень дурно, - сказал он, - и ничто, кроме моего нынешнего положения, не могло меня извинить; но я был не в духе и ничего не мог с этим поделать; в любой другой ситуации я бы покраснел за это. Если бы такая сцена произошла в Тюильри, я чувствовал бы себя обязанным по совести как-то искупить свою вину. Никогда, за все время моей власти, я ни с кем не разговаривал резко, не сказав впоследствии чего-нибудь, чтобы загладить свою вину. Но тут я не произнес ни слова в знак примирения, да у меня и не было желания это делать. Однако губернатор оказался совершенно нечувствительным к моей строгости; его деликатность, казалось, не пострадала от нее. Мне бы хотелось, ради него самого, увидеть, как он выражает немного гнева, или хлопнуть за собой дверью, когда он уходил. Это, по крайней мере, показало бы, что в нем была какая-то пружинистость, но я ничего подобного не обнаружил”.

Затем император снова возобновил свой разговор о политических делах, который он вел с таким воодушевлением и интересом, что я мог бы на время забыть, в какой части света я нахожусь. Я мог бы поверить, что все еще нахожусь в Тюильри или на Бургундской улице.

## ВОЛЬТЕР.—ЖАН—ЖАК РУССО.—ХАРАКТЕРНОЕ РАЗЛИЧИЕ Между АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИЯМИ.—М. ДЕ ШАТОБРИАН.—ЕГО РЕЧЬ В ИНСТИТУТЕ.— НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫЗЫВАЛ ГНЕВ ИМПЕРАТОРА.-ЕГО ПРИНЦИПЫ НА ЭТОТ СЧЕТ.

Суббота, 1 июня.—Император послал за мной. Он только что вышел из ванны, где провел три часа, и попросил меня угадать, какую книгу он читал, находясь в воде; это была "Новая Элоиза" Руссо. Он выразил, что был совершенно очарован этой работой, когда впервые прочитал ее в the Briars; но, анализируя ее снова, теперь он критиковал ее с беспощадной суровостью. Упомянув скалу *Мейерри*, он сказал, что, по его мнению, она была разрушена, когда он велел прокладывать дорогу через Симплон; но я заверил его, что осталось достаточно, чтобы сохранить о ней прекрасное воспоминание: она возвышается над дорогой и, подобно Левкате древности, предлагает прекрасный прыжок отчаявшимся влюбленным.

Благородному характеру, который Руссо придал лорду Эдуарду в его "Новой Элоизе", и впечатлению, произведенному некоторыми пьесами Вольтера, император в значительной степени приписывал высокую оценку английского характера, сложившуюся во Франции. Легкость, с которой в те дни управлялось общественное мнение, вызвала у него удивление; Вольтер и Руссо, которые *тогда* направляли его по своему усмотрению, как ему казалось, не смогли бы сделать этого в настоящее время; и Вольтер, в частности, оказал столь сильное влияние на своих современников и считался великим человеком своего времени только потому, что все вокруг него были пигмеями.

Затем император перешел к сравнению характера английского и французского народов. "Высшие классы среди англичан, - сказал он, - горды; у нас, к сожалению, они только тщеславны; в этом состоит большое характерное различие между двумя нациями. Народная масса Франции, несомненно, обладает большей долей национального чувства, чем любая другая, существующая в настоящее время в Европе; они извлекли пользу из опыта своей двадцатипятилетней революции; но, к сожалению, тот класс, который революция выдвинула, оказался не на том жизненном уровне, на который они были подняты; они показали себя коррумпированными и неустойчивыми: в последней борьбе они не отличались ни талантами, ни твердостью, ни добродетелью; короче говоря, они унизили честь нации".

Императору была зачитана речь господина де Шатобриана о целесообразности предоставления духовенству права наследования. Император заметил, что это была скорее академическая речь, чем мнение законодателя — в ней было остроумие, но мало здравого смысла и не содержалось никаких взглядов вообще. — "Позвольте духовенству наследовать, - сказал он, - и никто не умрет, не будучи обязанным купить отпущение грехов: ибо, каковы бы ни были наши мнения, никто из нас не знает, куда мы отправимся, покидая этот мир. Тогда мы должны вспомнить наш последний отчет, и никто не может ни сказать, каковы будут его чувства в его последний час, ни ответить за силу его духа в тот ужасный момент. Кто может поручиться, что я не умру на руках исповедника? и что он не заставит меня признать себя виновным в том зле, которого я не совершал, и молить о прощении за это?" Однако в данном случае, как кто-то заметил, можно сказать, что г-н де Шатобриан скорее отстаивает мнение, чем выражает собственное чувство; и есть веские основания полагать, что в религии, так же как и в политике, он часто излагал доктрины, которые не были убедительны для его собственного разума.

Что касается статьи о религии, например, хорошо известно, что до того, как он написал "Красоты христианства", он опубликовал в Лондоне другую работу, явно антирелигиозного толка.<sup>[18]</sup> Книготорговцем, которому он доверил продажу этого труда, был Дулау, в прошлом монах-бенедиктинец из Сореза, который во время революции нашел убежище в Лондоне. Будучи человеком умным и здравомыслящим, он взял на себя смелость дать г-ну де Шатобриану несколько полезных советов. Он объяснил ему, что и место, и время были неудачно выбраны для того, чтобы предаваться разглагольствованиям против религии; что прошел момент, когда они были благосклонно приняты; что они стали обычным явлением и вошли в дурной вкус; и что самым верным способом привлечь внимание публики было бы встать на другую сторону вопроса и, напротив, отстаивать дело религии. Г-н де Шатобриан прислушался к этому совету и написал свои "Красоты христианства"; и событие доказало, что Дюло не ошибся в своем выборе темы. момент, ибо очень сомнительно, что если бы работа появилась сейчас, то имела бы она тот блестящий успех, который имела тогда, несмотря на большие достоинства, которыми она, несомненно, обладает.

Назначение автора "Красот христианства" в посольство Рима рассматривалось в то время как проявление очень деликатного внимания со стороны Первого консула [Consul](#) к М. де Шатобриану, который, в свою очередь, приветствовал это как первый триумф и предвестие еще больших триумфов, которые ожидали его в столице христианского мира среди правителей церкви. Но вскоре он был обречен на то, что сильно ошибался, поскольку люди в Риме были крайне возмущены тем, что религия превратилась в романтику, а богословы без колебаний осудили Красоты христианства, которое, по их словам, изобиловало ересями.

Однако г-н де Шатобриан, полностью убежденный в своих достоинствах, утешал себя тем, что притворялся, будто с жалостью посмеивается над такими ребяческими выходками; и, оказавшись примерно в то же время крестным отцом маленькой девочки, он дал ей имя Аталы; однако священник категорически отказался окрестить ее этим именем, в то время как г-н де Шатобриан, в свою очередь, настаивал на этом со всем упрямством писателя и всей гордостью посла. Это дело наделало шуму, и г-н де Шатобриан подал жалобу кардиналу-губернатору, который принял решение в пользу священника; более того, он почувствовал себя крайне оскорбленным по этому поводу, поскольку г-н де Шатобриан, полагая, что его заслуги в деле религии дали ему право говорить тоном человека, посвященного в тайны церкви, завершил свой спор с кардиналом словами: "Очень нелепо, что на его пути возникают такие препятствия; ибо, - добавил он, - *между нами*, ваш отец..." Ваше высокопреосвященство должно знать, что между Аталой и любым другим Святым нет большой разницы".

Императора очень позабавили эти анекдоты, которые, по его словам, были для него совершенно новыми, и человек, рассказавший их, заметил, что, хотя он и не мог ручаться за их подлинность, тем не менее, он сам в этом не сомневался, услышав их от одного из лиц, сменивших г-на де Шатобриана при римском дворе.

В политике г-на де Шатобриана попеременно видели среди сторонников и противников Наполеона; и император обвиняет его, когда он находился у него на службе, в недоброжелательности и отсутствии честности, особенно во время его посольства к старому королю Сардинии в Риме.

Во время катастрофических событий 1814 года он проявил себя, написав памфлеты, настолько возмутительно жестокие и ядовитые, и опозоренный такой неприкрытой клеветой, что они

вызывали чувство отвращения. Он, без сомнения, должен сожалеть о том, что был их автором, и теперь не стал бы унижать свои таланты подобными сочинениями.

За несколько лет до наших бедствий император, прочитав однажды некоторые фрагменты работ этого автора, выразил свое удивление по поводу того, что он не был членом Института. Эти слова послужили веской рекомендацией в пользу г-на де Шатобриана, который поспешил внести себя в список кандидатов и был выбран почти единогласно.

Согласно одному из неизменных правил Института, вновь выбранный кандидат должен был произнести речь в похвалу члену, которого он затем сменял; но г-н де Шатобриан, убежденный, что для человека, который когда-то привлекал внимание публики, самый верный способ приобрести известность - это сойти с проторенной дорожки и вступить на новый путь к славе, изменил этот обычай, посвятив часть своей речи клеймению политических принципов г-на Шенье, своего предшественника, и объявив его цареубийцей. Его речь была настоящим политическим спором, в котором обсуждались восстановление монархии, суд и смерть Людовика XVI.; весь Институт был в смятении, некоторые члены отказались слушать речь, которая показалась им неприличной, а другие, напротив, настаивали на том, чтобы ее зачитали. Из Института спор быстро распространился по различным кругам Парижа, которые были полны споров и разделились во мнениях по этому предмету; и, наконец, дошел до ушей императора, которому все было доведено и который желал быть обо всем осведомленным. Он приказал показать ему эту речь, назвал ее крайне экстравагантной и немедленно запретил ее публикацию. Случилось так, что один из членов Института, принявший живое участие в обсуждении и проголосовавший за чтение речи, был также одним из высших должностных лиц императорского двора; и император воспользовался этим обстоятельством, чтобы выразить свое мнение, обратившись к одному из своих кучеров следующим образом: "Сколько времени прошло, сэр, - сказал он с предельной строгостью, - с тех пор, как Институт взял на себя смелость принять характер политического собрания? В обязанности Института входит создавать поэзию и выносить порицание языковым недостаткам; пусть он остерегается того, что покидает область литературы, или я приму меры, чтобы вернуть его в надлежащие пределы. И возможно ли, что *вы*, сэр, своим одобрением санкционировали столь несдержанную речь? Если господин де Шатобриан безумен или склонен к недоброжелательству, сумасшедший дом может вылечить его или наказание исправит его; однако может случиться так, что высказанные им мнения являются его собственными, и он не обязан подчинять их моей политике, которая ему неизвестна; но с вами дело обстоит совершенно иначе - *вы* постоянно находитесь рядом со мной, вам известны все мои поступки, вы знаете мою волю; *может* быть оправдание в пользу господина де Шатобриана, *может* быть оправдание в пользу господина де Шатобриана. в твоём — ни одного. Сэр, я считаю вас виновным, я считаю ваше поведение преступным: оно возвращает нас ко временам беспорядка и неразберихи, анархии и кровопролития. Значит, мы бандиты? И разве я всего лишь узурпатор? Сэр, я взошел на трон не путем сбрасывания с него другого; я нашел корону; я поднял ее из конуры, и нация возложила ее мне на голову: уважайте поступок нации. Выносить на общественное обсуждение факты, которые так недавно произошли, в нынешних обстоятельствах - значит вызывать новые потрясения и быть врагом общественного спокойствия. Восстановление монархии окутано тайной и должно оставаться таковой; зачем же тогда, молю вас, это новое предлагаемое запрещение конвенционалистов и цареубийц? Почему столь деликатные темы снова всплывают на свет? Только Богу должно принадлежать высказываться о том, что больше не подвластно суждению людей! Неужели вы должны быть более щепетильны, чем императрица? Ее интересы в этом вопросе так же дороги,

как и ваши, и гораздо более непосредственны, однако она не задавала вопросов, она не наводила справки; берите пример с ее сдержанности.

"Неужели я потерял плод всех своих трудов? неужели все мои усилия были настолько бесполезны, что, как только мое присутствие больше не сдерживает вас, вы готовы перерезать друг другу глотки?" Говоря это, он быстрыми шагами прошелся по комнате и, ударив себя рукой по лбу, воскликнул: "Увы! бедная Франция, тебе еще долго придется нуждаться в заботе опекуна.

"Я сделал все, что было в моих силах, - продолжал он, - чтобы подавить все ваши разногласия; объединение всех партий было постоянным предметом моей заботы. Я собрал всех под одной крышей, усадил за один стол и испил из одной чаши. Я имею право ожидать, что вы поддержите мои начинания.

"С тех пор как я взял бразды правления в свои руки, интересовался ли я когда-нибудь жизнью, действиями, мнениями или трудами кого-либо?— Подражай моей выдержке.

"У меня никогда не было другой цели, я никогда не задавался другим вопросом; будете ли вы искренне помогать мне в продвижении истинных интересов Франции? и все те, кто ответил утвердительно, были помещены мной в гранитное ущелье без выхода с обеих сторон, через которое я подтолкнул их к другому концу, где мой палец указывал на честь, славу и великолепие Франции".

Этот выговор был настолько суров, что человек, которому он был адресован, человек чести и тонких чувств, решил попросить аудиенции на следующий день, чтобы подать заявление об отставке. Он был допущен к императору, который немедленно сказал ему: "Мой дорогой сэр, вы пришли из-за вчерашнего разговора; вы чувствовали себя оскорбленным по этому поводу, и я чувствовал себя не менее обиженным; но это был совет, который я счел правильным дать более чем одному человеку; если это вызовет желаемый эффект и принесет какое-то общественное благо, мы оба не должны сожалеть об этом обстоятельстве; не думайте больше об этом". И он заговорил о другом.

Таким образом, император часто порицал целые группы в лице одного-единственного человека; и, чтобы внушить еще больший трепет, он делал это самым торжественным и внушительным образом. Но гнев, который он иногда проявлял публично и о котором так много говорилось, был лишь притворным и надевался на время. Император подтвердил, что такими средствами он часто удерживал многих от совершения проступка и избавлял себя от необходимости наказывать.

Однажды, на одной из своих грандиозных аудиенций, он с особой яростью и совершенно гневным тоном набросился на полковника по поводу некоторых незначительных беспорядков, в которых его полк был повинен по отношению к жителям стран, через которые они проезжали, возвращаясь во Францию. Во время выговора полковник, считая наказание несоразмерным вине, в которой его обвиняли, неоднократно пытался оправдаться; но император, не прерывая его речи, сказал ему вполголоса: "Очень хорошо, но придержи язык; я верю тебе, но ничего не говори". и когда он впоследствии встретился с ним наедине, он сказал ему: "Обращаясь к вам таким образом, я в вашем лице наказывал некоторых генералов, которых я видел рядом с вами, и которые, если бы я поговорил с ними напрямую, были бы признаны заслуживающими наказания". самая низкая деградация, а возможно, и кое-что похуже".

Но иногда случалось и так, что к императору публично обращались: я был свидетелем нескольких случаев подобного рода.

Однажды в Сен-Клу, на большой аудиенции, которая проводилась каждое воскресенье, супрефект или какой-то другой государственный служащий Пьемонта, стоявший рядом со мной, обратился к императору громким голосом и с величайшим волнением, призывая к справедливости, утверждая, что он был ложно обвинен, несправедливо осужден и уволен со службы. “Обратитесь к моим министрам”, - ответил император. “Нет, сир, я хочу, чтобы вы судили меня”. “Это невозможно, мое время полностью поглощено общими интересами Империи, и мои министры назначены для рассмотрения конкретных случаев отдельных людей”. “Но они осудят меня”. “По какой причине?” “Потому что все против меня”. “Почему?” “Потому что я люблю вас — Любить вас, сир, - достаточный мотив, чтобы внушить каждому ненависть. Всеприсутствующие были сбиты с толку этим ответом и покраснели от смущения; но император ответил с предельным спокойствием: “Это довольно странное утверждение, сэр, но я готов надеяться, что вы ошибаетесь”, - и он перешел к следующему человеку. В другом случае также, на параде, молодой офицер вышел из строя в крайнем возбуждении, чтобы пожаловаться, что с ним плохо обращались, им пренебрегали и обошли его стороной, и что он пять лет был лейтенантом, не имея возможности получить повышение. “Успокойтесь, - сказал император, - я был семь лет лейтенантом, и все же вы видите, что человек может при всем этом стремиться вперед”. Все рассмеялись, и молодой офицер, внезапно остывший от этих нескольких слов, вернулся на свое место. Нет ничего более обычного, чем видеть, как частные лица нападают на императора и выступают против него, и я часто видел, как он так резко и горячо спорил со своим оппонентом и не мог заставить его замолчать, отказаться от состязания, обратившись к другому человеку или переведя разговор на другую тему.

В качестве общего принципа можно отметить, что какими бы жестокими ни казались действия императора, они всегда были результатом расчета. “Когда один из моих министров, - сказал он, - или какая-либо другая важная персона совершала проступок столь серьезного характера, что мне становилось абсолютно необходимым сильно разозлиться, я всегда заботился о том, чтобы в этом случае присутствовало третье лицо, чтобы засвидетельствовать сцену, которая должна была последовать; для меня было общим правилом, что, когда я решаю нанести удар, это должны почувствовать многие одновременно; непосредственный объект моего негодования не испытывал большего гнева на меня из-за этого, а сторонний наблюдатель, чей смущенный вид был в высшей степени нелепый, он не преминул запустить и распространить, самым незаметным образом, насколько это было возможно, все, что он видел и слышал. Спасительный ужас пробежал, таким образом, от вены к вене по общественному телу: новый импульс был дан ходу дел; мне было меньше наказывать, и было получено большое общественное благо без особых личных лишений ”.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГУБЕРНАТОРЕ.—РАСХОДЫ ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА В ТЮИЛЬРИ.—О ХОРОШЕЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ.—ГОСПОДА. МОЛЬЕН И ЛАБУЙЕРИ.

Воскресенье, 2. — Император выехал верхом около восьми часов; он уже давно воздерживался от этого занятия. Возвращаясь через долину Ротного сада, он зашел в дом одного из адъютантов Роты, жена которого католичка; он пробыл там всего несколько минут и был в приподнятом настроении. Затем мы отправились в дом мадам Бертран, которой император

нанес продолжительный визит. Он в самых решительных выражениях и с бесконечным юмором намекал на поведение губернатора по отношению к нам; на его ничтожные меры, на его полное невнимание, на абсурдную манеру, с которой он руководил делами правительства острова, и на его полное невежество в бизнесе и нравах жизни. “У нас, конечно, были некоторые основания жаловаться на адмирала, - сказал император, - но он, по крайней мере, был англичанином, а этот человек - не кто иной, как итальянский *пират*. У нас разные манеры, - добавил он, - мы не можем понимать друг друга; наши чувства говорят на разных языках. Он, вероятно, не может себе представить, например, что груды бриллиантов будет недостаточно, чтобы искупить оскорбление, которое он нанес, заставив арестовать одну из моих слуг почти в моем присутствии. С того дня все мои домочадцы в ужасе”.

Вернувшись с прогулки, мы позавтракали в саду. Вечером, пока мы проветривались в коляске и совершали то, что мы называли двойным обходом, мы коротали время, подсчитывая расходы человека, имеющего доход в 150 000 ливров в Париже. Император сказал, что шестая часть этой суммы должна пойти на конюшни, четвертая - на стол и так далее. Я уже говорил, что он любил производить подобные расчеты, которые всегда умел представить в новом и неожиданном свете.

Разговор привел нас к некоторым заслуживающим внимания деталям гражданского устава и расходов императорского двора. Среди тех, что я запомнил, следующие:

На стол был выделен миллион, и все же расходы на собственный обед императора не превышали ста франков в день. Никогда не удавалось накормить его горячим обедом, потому что, когда он однажды заглядывал в свой чулан, невозможно было предугадать, когда он покинет его. Поэтому, когда наступал час обеда, для него каждые полчаса нанизывали на вертел по птице; и иногда случалось, что десятки изжаривались до того, как перед ним наконец ставили ту, что подавалась на стол.

Теперь разговор зашел о преимуществах хорошего управления финансами. Император высоко отзывался о талантах господ Дж. де Моллиен и Лабуийерри, в этой отрасли. Г-н де Моллиен, в частности, поставил казначейство на уровень простого банкирского дома; и император постоянно имел перед глазами в предназначенной для этой цели небольшой книжечке полный отчет о доходах, поступлениях, расходах, недоимках, ресурсах и т. Д.

Император хранил в своих подвалах в Тюильри, добавил он, целых 400 миллионов золотом, которые были полностью его собственностью; их было настолько много, что никаких других отчетов об этом не существовало, кроме маленькой книжечки в руках его личного казначея. Все эти сокровища мало-помалу исчезли и пошли на расходы Империи, особенно во время наших бедствий. “Как я мог подумать, “ сказал он, - оставить что-нибудь для себя! Я отождествлял себя с нацией”. Далее он добавил, что он отправил во Францию 2000 миллионов долларов наличными, не считая того, что частные лица могли привезти за свой счет.

Император сказал, что он был сильно задет поведением г-на де Лабуийери, который, находясь в Орлеане в 1814 году и распоряжаясь несколькими миллионами, принадлежащими ему (Наполеону), его собственной частной собственностью, отнес их графу д'Артуа в Париж вместо того, чтобы отвезти их в Фонтенбло, как он был обязан сделать по долгу службы и совести. “И все же Лабуийери не был плохим человеком”, - сказал император. “Я любил его и уважал. По моем возвращении в 1815 году он горячо умолял меня увидеться с ним и услышать, что он

скажет в свою защиту; он, без сомнения, доказал бы, что его вина проистекала из его невежества, а не из сердца. Он знал меня; он понимал, что, если бы ему удалось приблизиться ко мне, дело было бы улажено несколькими гневными выражениями с моей стороны; но я также знал свою собственную слабость, я был полон решимости больше не брать его к себе на службу и поэтому отказался принять его. Это был единственный способ, которым я мог надеяться в тот момент выстоять против него и нескольких других. Эстев, предшественник Лабуэри, не поступил бы подобным образом; он был всецело предан мне; он привез бы мои сокровища в Фонтенбло во что бы то ни стало; или, если бы его попытка потерпела неудачу, он скорее выбросил бы их в реку или распределил по разным местам, чем отдал”.

## О ЖЕНЩИНАХ И С.—ПОЛИГАМИЯ.

Понедельник, 3-е число. Император, проведя три часа в ванне, около пяти часов вышел прогуляться по саду. Он был молчалив и подавлен, и вид у него был страдающий. Потом мы выехали в коляске, и мало-помалу он стал веселее и разговорчивее.

По нашем возвращении он еще некоторое время продолжал прогуливаться; и чтобы вступить в шутивную перепалку с одной из присутствующих дам, он притворился, что выступает с критикой в адрес женщин. “Мы, мужчины Запада, - сказал он, одновременно подмигивая нам, давая понять, что он шутит, - вообще ничего не смыслим в этом вопросе, мы поступили крайне неразумно, слишком хорошо обращаясь с женщинами; мы неосторожно позволили им быть почти равными нам. На Востоке у них больше здравого смысла и рассудительности; там женщины считаются действительной собственностью мужчины; и это действительно так. Природа сделала их нашими рабами, и только полагаясь на нашу глупость, они могут стремиться управлять нами, и злоупотребляя преимуществами, которыми они обладают, им удастся очаровать нас и установить свою власть над нами. На одну женщину, которая внушает нам правильные чувства, приходится сотня тех, кто вводит нас в заблуждение”. Затем он выразил свое одобрение принципам восточных народов, высоко оценил практику многоженства, на которую, по его мнению, указывала природа, и проявил значительную изобретательность и изобретательность в выборе и количестве аргументов, которые он привел в поддержку своего мнения. “Женщина, ” сказал он, - дана мужчине, чтобы рожать ему детей; но одной женщины одному мужчине для этой цели недостаточно, ибо женщина не может выполнять обязанности жены в период своей беременности, пока она кормит грудью своего ребенка или когда она больна; и она вообще перестает быть женой, когда она больше не в состоянии рожать детей. Человеку, напротив, природа не противопоставляла подобных препятствий ни в один период его существования; следовательно, мужчина должен иметь несколько жен.

“ В конце концов, ” продолжал он, многозначительно улыбаясь, “ на что вам жаловаться, леди? разве мы не признали, что у вас есть душа? хотя некоторые философы, как вы знаете, высказывали сомнения на этот счет. Вы стремитесь к равенству, но *это* безумие: женщина - наша собственность, мы не принадлежим ей; ибо это она рождает нам детей, а не мы ей; следовательно, она является собственностью мужчины, точно так же, как фруктовое дерево является собственностью садовника. Если муж изменяет своей жене, и он признает свою вину и раскаивается в ней, то делу конец; от него не остается и следа: жена сердится, прощает или примиряется; и нередко от этого выигрывает. Но ситуация совершенно иная, когда жена не обращает внимания на брачный обет; ей бесполезно раскаиваться; последствия ее вины

неисчислимы, зло непоправимо, она никогда не должна, она никогда не сможет признаться в этом. Поэтому вы согласитесь со мной, леди, что только ошибка суждения, недостаток образования или преобладание вульгарных представлений могут побудить жену считать себя равной своему мужу во всех отношениях. Однако в неравенстве нет ничего унижительного; у каждого пола есть свои атрибуты и свои обязанности; ваши атрибуты, леди, - это красота, изящество, обаяние; ваши обязанности - подчинение и зависимость, и т.д. "и т.д."

После обеда император пожелал, чтобы мой сын принес ему Мемуары шевалье де Граммона и томик пьес Вольтера. Взяв, как он сказал, на себя задачу не ложиться спать до одиннадцати часов, император некоторое время читал Мемуары, заметив, что очень немного можно сделать забавным, приправив подлинным остроумием. Впоследствии он перечитал "Магомета", "Семирамиду" и другие пьесы Вольтера, указав на их недостатки и недочеты и заключив, как он обычно делал, что Вольтер ничего не знал ни о делах, ни о людях, ни об истинных страстях человеческой природы.

## ИМПЕРАТОР ВОЗОБНОВЛЯЕТ ДИКТОВКУ СВОИХ МЕМУАРОВ И С.

Вторник, 4-е число.—Император прислал за мной около четырех часов, чтобы я прокатился в коляске. Он сказал мне, что наконец-то снова начал диктовать и что то, что было сделано, не будет сочтено лишенным интереса. Он добавил, что все утро был очень не в духе: что сначала он попытался выйти около часа дня, но обнаружил, что вынужден вернуться в дом, преследуемый отвращением и скукой; и что, не зная, чем себя занять, он подумывал возобновить свои записи.

Император уже давно перестал регулярно заниматься этим занятием. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как были закончены мои Кампании в Италии; кампания в Египте, которую он продиктовал генералу Бертрону, также была завершена; и генерал Гурго был очень болен. Все эти обстоятельства привели к перерывам, которые вызвали отвращение; император не продвинулся дальше и не мог набраться смелости начать все сначала.

Я воспользовался тем, что он только что сказал, чтобы объяснить ему, что диктовать было для него самым верным, единственным средством против скуки, единственным способом, которым он мог скрасить утомительные часы, а для нас - средством получения неоценимого преимущества от обладания сокровищами, в существовании которых честь и слава Франции были одинаково заинтересованы. Я настаивал на том, что крайне важно, чтобы он продолжал писать свою собственную историю. "Каждый из нас," сказал я, - охотно отдал бы свою жизнь, чтобы заполучить его; это было связано с его памятью, с его семьей, с нами. Где бы его сын нашел достоверно записанные события из жизни своего отца? Какое перо можно было бы найти, способное воспроизвести их в манере, достойной данной темы? и все же, без таких бесценных документов, сколько событий было бы похоронено вместе с Наполеоном и навсегда осталось бы неизвестным! Мы, окружавшие его раньше, что мы *тогда* знали? как многому мы здесь не научились" и т.д. и т.п. Император ответил, что продолжит свои мемуары, и посоветовался со мной относительно плана, которому следует следовать при их переработке; следует ли их публиковать в виде истории? или в виде анналов? Он долго обсуждал этот вопрос, но так и не пришел ни к какому выводу.

За обедом он сказал: "Сегодня я получил строгий выговор за мое безделье; поэтому я собираюсь снова взяться за свое дело и охватить несколько периодов одновременно: каждый

из вас получит свою долю. Разве Геродот, ” сказал он, глядя на меня, “ не дал своим книгам имена муз? Я намереваюсь, чтобы каждая из моих книг носила имя одной из вас. Даже маленький Эммануэль отдаст свое одному из них. Я начну историю консульства с Монтолона, Гурго запишет события какого-нибудь другого периода или отдельные сражения; а маленький Эммануэль подготовит документы и материалы эпохи коронации”.

## ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА.—ПЛАН ОБУЧЕНИЯ, ПРЕДПИСАННЫЙ ИМПЕРАТОРОМ.—ЕГО НАМЕРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЕТЕРАНОВ.—ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НРАВЫ СТОЛИЦЫ.

Среда, 5-е число. Император вышел около четырех часов; он провел три часа в ванне и чувствовал себя неважно. И все же погода была восхитительной; это было похоже на погожий полдень в Европе. Мы шли пешком, пока не подошли к "калашу", а затем отправились в нашу обычную поездку. Наш разговор зашел о парижской военной школе до революции, и мы сравнили роскошь, в которой мы учились в этой школе, с суровой дисциплиной, введенной императором в этих учреждениях во время его правления.

В парижской военной школе к нам относились во всех отношениях как к офицерам удачи, размещали и обслуживали с величайшим великолепием, действительно большим, чем того требовали обстоятельства большинства наших семей, и большим, чем большинство из нас могло надеяться сохранить в последующей жизни. Император, по его словам, стремился избежать этой ошибки; он хотел, прежде всего, чтобы его молодые офицеры, которым однажды предстояло командовать солдатами, начали с того, что сами стали солдатами и на собственном опыте изучили все технические тонкости службы: система образования, добавил он, которая всегда должна приносить огромное преимущество офицеру в ходе его будущей карьеры, позволяя ему следовать им и добиваться соблюдения этих тонкостей другими людьми, находящимися под его командованием. Именно по этому принципу в Сен-Жермене юных студентов обязывали самостоятельно ухаживать за своими лошадьми, учили подковывать их и так далее. Тот же дух господствовал над правилами в Сен-Сире: там несколько учеников селились вместе в одной большой квартире, для всех без разбора был предусмотрен общий беспорядок и т. Д.: Однако внимание, уделяемое этим деталям, не мешало заботе, уделяемой обучению, необходимому для подготовки их к будущей карьере: короче говоря, они не покидали Сен-Сир до того, как действительно заслужили офицерское звание и были признаны способными руководить солдатами и командовать ими. “И следует признать, - заметил император, - что если на молодых людей, перешедших из этого учебного заведения при его зарождении в разные части армии, поначалу смотрели с завистью, то вскоре их дисциплине и способностям была воздана должное”.

Учреждения в Экуэне, Сен-Дени и других городах, которые благожелательная забота Наполеона создала для дочерей кавалеров ордена почетного легиона, строились на принципах аналогичного характера. Некоторые правила, установленные самим императором, предписывали, чтобы все предметы для использования в учебном заведении изготавливались дома и руками самих воспитанниц, и запрещали любые виды роскоши, экстравагантность в одежде и спектаклях; цель, по его словам, состояла в том, чтобы воспитать хороших домохозяек и респектабельных женщин.

Общественное мнение во времена его возвышения создало Наполеону репутацию человека сурового нрава, лишенного чувствительности; однако несомненно, что ни один государь никогда не действовал в большей степени под влиянием подлинных чувств, чем он; но, благодаря особому складу ума, он скрывал все сердечные эмоции с такой же тщательностью, с какой другие проявляют их.

Он усыновил всех детей солдат и офицеров, погибших при Аустерлице, и для него такой поступок не был простой формальностью; он обеспечил их всех.

Я услышал следующий анекдот от молодого человека, который со слезами благодарности рассказывал его мне после моего возвращения в Европу. Будучи достаточно удачлив, когда еще очень молод, привлечен внимание императора каким-либо явным доказательством своей привязанности; Наполеон спросил его, какую профессию он хотел бы избрать; и, не дожидаясь его ответа, указал на одну из них сам. Молодой человек заметил, что состояния его отца недостаточно, чтобы позволить ему последовать этому примеру. “Что это значит?” - поспешно ответил император. “Разве я не так же и твой отец?” Те люди, которые знали Наполеона в его личной жизни, которые жили рядом с ним, могут назвать тысячи черт того же рода.

Он многое сделал для армии и ветеранов, и собирался сделать гораздо больше: каждый день какая-нибудь новая мысль, связанная с этой целью, занимала его ум. Однажды перед нами в Государственном совете был представлен план указа, в котором предлагалось, чтобы в будущем все вакантные должности на таможне, в сфере сбора доходов и акцизов передавались раненым солдатам или ветеранам, способным их занять, от рядового до высших армейских чинов. Этот план был холодно принят, и император обратился к одному из тех, кто выступал против него, в своей обычной манере, призывая его свободно обсудить этот вопрос и высказать свое мнение без утайки. “Сир, ” ответил г-н Малуэ, - мое возражение состоит в том, что я боюсь, что другие классы нации почувствуют себя оскорбленными, увидев, что армии отдают предпочтение перед ними”. “Сир, ” горячо ответил император, - вы проводите различие, которого не существует; армия больше не составляет отдельного класса нации. В ситуации, в которой мы сейчас оказались, ни один член государства не освобожден от обязанности быть солдатом; выбор военной карьеры больше не является вопросом выбора, это вопрос необходимости. Наибольшее число тех, кто занимается этой карьерой, были вынуждены оставить свою профессию против своей воли, поэтому справедливо, что они должны получать за это какую-то компенсацию”. — “Но, - снова замечает член парламента, выступавший против этого плана, - не следует ли из этого сделать вывод, что ваше величество намеревается, чтобы в будущем почти все вакантные должности были предоставлены солдатам?” —

“И таково действительно мое намерение”, - сказал император. “Сэр, вопрос только в том, имею ли я право так поступать и не совершаю ли я тем самым акт несправедливости? Теперь конституция дает мне право выдвигаться на все места, и я думаю, что принцип строгой справедливости заключается в том, что те, кто пострадал больше всего, имеют наибольшие претензии на компенсацию”. Затем, повысив голос, он добавил: “Джентльмены, война - это не профессия, приносящая легкость и комфорт: спокойно сидя здесь на своих скамьях, вы узнаете об этом, только прочитав наши бюллетени или услышав о наших победах. Ты ничего не знаешь о наших ночных дежурствах, о наших форсированных маршах, о страданиях и лишениях всякого рода, которым мы подвергаемся; но я знаю их, потому что я их свидетель и иногда участвую в них”.

Однако от этого плана, как и от многих других, в конце концов отказались после того, как он несколько раз обсуждался и в него вносились различные изменения; и я полагаю, что благие намерения императора даже не были известны общественности, хотя он, по-видимому, проявлял живой интерес к принятию этого указа и защищал его в мельчайших деталях.

Среди возражений, выдвинутых против этого плана в начале обсуждения, и аргументов, к которым они привели, были следующие: — "Стало бы ваше величество, например, предоставлять такие ситуации солдату, который не умеет читать?" — "Почему бы и нет?" - "Но как бы он смог выполнять свои обязанности? как он мог вести свои счета?" — "Сэр, он обратился бы к своему соседу, он послал бы за своими родственниками, и благо, предназначенное для одного, почувствовали бы многие. Кроме того, я не считаю ваше возражение обоснованным; мы должны только оговорить, что назначенный человек должен быть квалифицирован для выполнения этой задачи" и т.д.

Ближе к вечеру император послал за мной в свою комнату. Я застал его одного, у небольшого камина, но почти в темноте, так как свет горел в соседних покоях. Эта неизвестность, по его словам, гармонировала с его меланхолией. Он был молчалив и удручен.

После обеда император взялся за Мемуары шевалье де Граммона, но обнаружил, что не в состоянии продолжать их читать.

Затем возникла дискуссия о том, как проводилось время в Париже. Были рассмотрены привычки общества в прежние времена и в настоящее время. Император сказал, что он много и часто думал о том, как внести разнообразие в светские развлечения. У него были собрания при дворе, спектакли, экскурсии в Фонтенбло, но, по его словам, они лишь создавали неудобства при Дворе, не влияя на круги метрополии. В этих разнородных частях еще не было достаточной степени сцепления, чтобы они могли воздействовать друг на друга с должным эффектом; но это, по его утверждению, было бы достигнуто течением времени. Ему было замечено, что он внес большой вклад в сокращение продолжительности вечеров в Париже, поскольку все лица, нанятые правительством, имея много дел и будучи вынужденными вставать очень рано, были вынуждены рано ложиться спать. "Однако это вызвало большое удивление в Париже, - сказал император, - произвело настоящую революцию в нравах и едва не вызвало мятеж в кругах столицы, когда Первый консул потребовал, чтобы сапоги заменили башмаками и чтобы немного внимания уделялось одежде для появления в обществе".

Император с большим удовольствием остановился на причинах хорошего воспитания и любезных манер, которыми отличалось общество в наши молодые годы. Он особо выделил те моменты, которые способствовали тому, чтобы сделать близость приятной, такие как легкий оттенок лести с обеих сторон или, по крайней мере, противодействие, приправленное деликатностью и вежливостью, и т.д.

## ОТВРАЩЕНИЕ К ФИЗИКЕ.—ЖИЛЬ БЛАЗ.—ГЕНЕРАЛ БИЗАНЕ.—ГЕРОИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ДОБЛЕСТИ.—РАЗМЫШЛЕНИЯ И С.

Четверг, 6—е число. Я не видел императора до шести часов; будучи нездоровым, он оставался в своей комнате и ничего не ел весь день. Он сказал, что почувствовал недомогание и развлекался, просматривая несколько гравюр с видами Лондона, которые ему одолжил Доктор. Доктор имел честь видеть императора в течение дня и рассмешил его. "Услышав, что я

нездоров, - сказал Наполеон, - он объявил меня своей добычей, немедленно посоветовав принять какое-нибудь лекарство; лекарство для меня, который, насколько я помню, никогда ничего не принимал за всю свою жизнь!"

Было уже больше семи: император сказал, что человек, который чувствует голод, не очень болен. Он попросил принести чего-нибудь поесть, и ему принесли цыпленка, который ему очень понравился. Это немного подняло его настроение, он стал более разговорчивым и высказался по поводу нескольких французских романов. Большую часть дня он был занят чтением Жиль Блаза, который, по его мнению, был полон остроумия; но герой и все его товарищи, по его словам, заслуживали отправки на галеры. Затем он пролистал хронологический список и остановился на блестящем деле при Бергенопзуме, которым командовал генерал Бизане.

"Сколько доблестных поступков, - сказал император, - были либо забыты в сумятице наших бедствий, либо упущены из виду в количестве наших подвигов. Дело Бергенопцума - одно из таких. Боеспособный гарнизон этого города насчитывал бы, вероятно, от восьми до десяти тысяч человек, но тогда в нем насчитывалось не более двух тысяч семисот. Английскому генералу, которому благоприятствовала ночная тьма и сведения, которыми он делился с жителями, удалось проникнуть в город во главе четырех тысяч восьмисот отборных людей. Они в городе, жители на их стороне, но ничто не может превзойти французскую доблесть! На улицах происходит отчаянное сражение, и почти все английские войска убиты или остаются в плену. Это, несомненно, - воскликнул император, - доблестный поступок! Генерал Бизане - доблестный офицер!"

Несомненно, как заметил Наполеон, что в последние минуты существования Империи бесчисленные героические деяния и исторические черты были упущены из виду в сумятице наших бедствий или исчезли в бездне наших несчастий. Таковы экстраординарная оборона Хунингена бесстрашным Барбанегре и доблестное сопротивление генерала Теста при Намюре, где в открытом городе с горсткой храбрых парней он остановил быстрое продвижение пруссаков и способствовал возвращению Груши, не понеся при этом никаких потерь. Такова была блестящая экспедиция храбрых Эксельманов в Версаль, которая могла бы привести к важнейшим результатам, если бы ее поддержали так, как было решено, что так и должно быть; и некоторые другие.

Во всяком случае, эти благородные поступки в тот критический период пролили свет на ряды армии, а не на ее главных руководителей. Было бы хорошо, если бы в момент этой ужасной катастрофы, во время этого рокового кризиса кто-нибудь из наших первых генералов снова проявил некоторые из тех благородных актов мужества, тех знаменательных усилий, которые ознаменовали наши первые триумфы и которые при правлении Наполеона стали почти национальной привычкой; каким бы ни был результат, эта попытка послужила бы источником утешения для нашей славы, и Франция с удовлетворением наблюдала бы героические конвульсии своей агонии. Нам не следовало заканчивать нашу карьеру общими действиями.

В тот катастрофический период у нас было больше войск за границей, чем дома: Дрезден содержал армию; вторая армия была заперта в Гамбурге; третья в Данциге; а четвертую можно было бы легко собрать, объединив огромное количество наших солдат, которые образовали несколько других промежуточных гарнизонов. Все усилия наших врагов были направлены только на то, чтобы удержать эти храбрые войска вдали от Франции и отрезать им путь к возвращению. О, если бы кто-нибудь из их вождей был вдохновлен мыслью воспользоваться

этими обстоятельствами для освобождения священной земли, смело атаковав землю врага и вынудив его таким образом вернуться по своим следам! Неужели было бы невозможно объединить эти разные корпуса?

Разве объединение гарнизонов Дрездена, Торгау, Магдебурга, Гамбурга не создало бы в тылу врага грозную армию, способную прорвать его линию обороны или поставить его в самое критическое положение? Разве не могла бы такая армия овладеть Берлином, освободить гарнизоны на Одере, отправиться на помощь Данцигу, поднять восстание в Польше, так хорошо подготовившись к нему, или, короче говоря, совершить что-нибудь смелое, поразительное, неожиданное, одним словом, достойное нас?

Что же тогда требовалось, чтобы придать нашим судьбам благоприятный поворот? самого незначительного события до вступления союзников во Францию было бы достаточно, чтобы дать нам возможность заключить мир на разумных условиях во Франсфоре; а в более поздний период, когда враг был уже на нашей собственной территории, малейшая причина беспокойства в его тылу во время героических действий при Шампобере, Монмирайле, Вошане, Краоне, Монтероу, вероятно, обусловила бы поспешное отступление союзников и обеспечила бы наш триумф, а возможно, и их уничтожение. И если бы генерал, который таким образом осмелился посвятить себя делу, потерпел неудачу в этой попытке, для нас это не было бы хуже, поскольку в конечном итоге мы пали; и он, в духе нашего национального характера, приобрел бы репутацию героя и сделал свое имя бессмертным.

Вместо этого Франция потеряла около ста тысяч человек из-за того, что они покорно придерживались буквы своих инструкций; система, от которой мы давно отказались. Но, возможно, я говорю необдуманно и без должного знания предмета; возможно, местные обстоятельства и возражения, о которых я совершенно ничего не знаю, могут быть приведены в качестве убедительных ответов против меня; такие как состояние здоровья войск, состояние нищеты, в котором они находились; неполучение приказов от императора, который действительно пытался отдать некоторые приказы такого рода; страх сорвать главный план; страх взять на себя слишком большую ответственность и т.д. Но не является ли скорее, что источник этих высоких концепций и причину их героического воплощения следовало искать только в Наполеоне, и что там, где его не было, как это часто можно было наблюдать, дела опускались до уровня их обычного хода? Как бы то ни было, однако нечто подобное было предложено генералу, командующему армией в Данцике, во время капитуляции этого города. Правда, идея исходила от офицера низшего ранга, но от человека, чья храбрость и бесстрашие, а также успех, которым они увенчались, возможно, дали ему право высказать такое мнение: это был капитан де Шамбур, командир того знаменитого отряда партизан, который покрыл себя славой во время осады. Эта рота была сформирована для этой конкретной службы из ста отборных людей, отобранных из числа самых известных своей отвагой во всех армейских корпусах; она оправдала и даже превзошла все ожидания, которые на нее возлагались; и осаждающие, пораженные ужасом при виде ее подвигов, удостоили ее эпитета *адский*. Иногда он приземлялся ночью в тылу русской армии, убивал их часовых, закалывал их ружья, сжигал их склады, разрушал их парки, угрожал жизни даже генералов и возвращался в город через вражеский лагерь потелам всех, кто препятствовал его проходу. Эти и некоторые другие факты зафиксированы в общих приказах этой армии.

Нельзя отрицать, что в обычные времена, в дни, предшествовавшие нашим, каждого из этих действий было бы достаточно, чтобы увековечить каждого человека, принявшего в них участие, и что даже среди чудес нашего века они заслуживают особого внимания. По возвращении с Эльбы Наполеон пожелал увидеть храброго Шамбура, покрытого ранами: военный министр представил его императору и немедленно назначил командовать партизанским корпусом на восточных границах Франции, где он снова показал себя достойным своей славы. Два английских офицера попали в его руки в самом сердце Франции, в момент сильного раздражения, вызванного недавними бедствиями, которые снова обрушились на нас. Де Шамбур защитил этих офицеров от ярости своих солдат и сохранил их экипировку и даже багаж. Поверят ли этому? Некоторое время спустя этот офицер, чья храбрость, верность и, прежде всего, благородное поведение заслуживали высшей награды, был французским трибуналом приговорен к пожизненным галерам, а также к клейму и выставлению у позорного столба за то, что, как утверждалось, остановил и ограбил двух офицеров вражеской армии на большой дороге! Такова справедливость партийного духа! Таковы чудовищные отклонения, с которыми суждение и совесть людей могут быть примирены бурными гражданскими волнениями!

При таких обстоятельствах полковнику де Шамбур не оставалось иного выхода, кроме как поскорее покинуть свою страну: тщетно он пытался донести правду из своего изгнания; тщетно два английских офицера предавали широкой огласке слова своей благодарности: прошло немало времени, прежде чем полковник де Шамбур смог воспользоваться моментом политического затишья, передать его трибуналу и потребовать пересмотра судебного процесса над ним.— Этот пересмотр состоялся, и на этот раз результатом стало заявление о том, что против него даже не было никаких оснований для обвинений! Это действительно одно из своеобразных знамений времени!

## ВООБРАЖАЕМЫЕ ПЛАНЫ ИМПЕРАТОРА НА БУДУЩЕЕ.—О НАПОЛЕОНЕ МАЛО ЗНАЛИ ДАЖЕ ЕГО ДОМАШНИЕ —ЕГО РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ.

С пятницы 7—го по субботу 8-го.—Во время продолжительной частной беседы этим утром император вернулся ко всем ужасам нашего нынешнего положения и перечислил все шансы, которые давала надежда на лучшие дни.

После своих замечаний на эти темы, которые я не могу здесь повторить, он дал волю своему воображению и сказал, что единственными странами, в которых он мог бы жить в будущем, были Англия и Америка. Его склонность, добавил он, побудила его отправиться в Америку, потому что *там* он был бы по-настоящему свободен, а независимость и покой — это все, о чем он сейчас мечтал: затем последовал воображаемому плану жизни: он воображал себя со своим братом Джозефом среди маленькой Франции и т. Д. И все же политика, заметил он, может решить за Англию. Возможно, он был обречен оставаться рабом событий — он был обязан пожертвовать собой ради нации, которая сделала для него больше, чем он сделал для нее в ответ; а затем последовал другому воображаемому плану на будущее.

В ходе нашей последующей беседы император не смог в достаточной мере выразить свое удивление по поводу полученного им убеждения, что некоторые из тех, кто окружал его и составлял его Двор, верили большей части многочисленных нелепостей и досужих слухов, которые распространялись о нем, и что они даже зашли так далеко, что усомнились в лживости чудовищ, которыми была запятнана его репутация.—Таким образом, мы верили, что он носил

доспехи среди нас — был подвержен суеверию предчувствий и фатальности — подвержен приступам безумия или эпилепсии — что он задушил Пишегрю - заставил перерезать горло бедному английскому капитану и т. Д. Мы не могли не признать, что его выпад в наш адрес по этому поводу был заслуженным; все, что мы могли привести в свою защиту, это то, что многие обстоятельства сложились так, что те, кто раньше окружал его персону, были настолько невежественны по этому вопросу, насколько это возможно для большей части нации. Я сказал, что мы часто виделись с ним, но никогда не поддерживали с ним никакого общения: все оставалось для нас загадкой. Ни один голос не был поднят, чтобы опровергнуть это, в то время как многие тайно, и некоторые из тех, кто был ближе всего к его персоне, либо по извращенности, либо с дурными намерениями, казалось, всегда были заняты распространением инсинуаций. Что касается меня, то я откровенно признался, что у меня не сложилось правильного представления о его характере до того, как я приехал сюда, хотя я мог поздравить себя с тем, что, безусловно, отчасти угадал его. “И все же, - заметил он в ответ, - вы часто видели меня и слышали в Государственном совете”.

Вечером, после ужина, разговор зашел о религии. Император подробно остановился на этом предмете. Ниже приводится точное изложение его аргументов; я привожу его как весьма характерное по вопросу, который, вероятно, часто возбуждал любопытство многих.

Император, поговорив некоторое время с теплотой и воодушевлением, сказал: “Все провозглашает существование Бога, *это* не подлежит сомнению; но все наши религии, очевидно, являются делом рук людей. Почему их так много?—Почему наш не существовал всегда?—Почему он считает себя исключительно правильным?—Что становится в таком случае со всеми добродетельными людьми, которые были до нас?—Почему эти религии поносят, противостоят, уничтожают друг друга?—Почему так было всегда и везде?— Потому что мужчины всегда остаются мужчинами; потому что священники всегда и везде внедряли обман. Однако, как только я получил власть, я немедленно восстановил религию. Я сделал это основой, на которой я строил. Я рассматривал это как поддержку здравых принципов и хорошей морали, как в доктрине, так и на практике. Кроме того, таково беспокойство человека, что его разум требует чего-то неопределенного и чудесного, что предлагает религия; и для него лучше найти это там, чем искать у Калиостро, мадемуазель Ленорман или у гадалок и самозванцев”. Когда кто-то осмелился сказать ему, что он, возможно, в конце концов станет набожным, император с видом убежденности ответил, что он не боится и что он сказал это с сожалением; ибо это, без сомнения, было большим источником утешения; но что его недоверие проистекало не из извращенности или распушенности ума, а из силы его разума. “И все же, ” добавил он, - ни один человек не может ответить за то, что произойдет, особенно в его последние минуты. В настоящее время я определенно верю, что умру без исповедника; и все же есть один (указывая на одного из нас), кто, возможно, примет мою исповедь. Я, конечно, очень далек от того, чтобы быть атеистом, но я не могу верить всему, чему меня учат, вопреки здравому смыслу, не будучи при этом лживым и лицемерным. Когда я стал императором, и особенно после моей женитьбы на Марии Луизе, были приложены все усилия, чтобы побудить меня с большой помпой, согласно обычаю королей Франции, принять причастие в церкви Нотр-Дам; но я категорически отказался это сделать: я недостаточно верил в этот акт, чтобы извлечь из него какую-либо пользу, и все же я слишком сильно верил в него, чтобы подвергнуться риску совершения профанации ”. В этом случае упоминался некий человек, который как бы хвастался, что он никогда не принимал причастия. “Это очень неправильно, ” сказал император. “ либо он не выполнил цели своего образования, либо его образованием пренебрегли”. Затем, возвращаясь

к теме разговора, он сказал: “Объяснить, откуда я пришел, кто я такой и куда иду, выше моего понимания; и все же все это так. Я подобен часам, которые существуют, не обладая сознанием существования. Однако религиозное чувство настолько утешительно, что его следует рассматривать как дар Небес: каким ресурсом не было бы для нас здесь обладать им! Какое влияние могли бы оказывать на меня люди и события, если бы, перенося свои несчастья так, как будто они причинены Богом, я ожидал, что он вознаградит меня будущим счастьем! На какие награды не вправе рассчитывать, сделавший такую экстраординарную, такую бурную карьеру, не совершив ни единого преступления, и все же в скольких из них я мог бы не быть виновен? Я могу предстать перед судом Божиим, я могу без страха ожидать его суда. Он не сочтет мою совесть запятнанной мыслями об убийствах и отравлениях, о причинении насильственной и преднамеренной смерти - событиях, столь распространенных в истории тех, чья жизнь была похожа на мою. Я стремился только к славе, власти, величию Франции. Все мои способности, все мои усилия, все мои мгновения были направлены на достижение этой цели. Это не может быть преступлением; мне они казались добродетельными поступками. Каким же тогда было бы мое счастье, если бы блестящая перспектива будущего представилась мне, чтобы увенчать последние мгновения моего существования!”

После паузы он продолжил: “Как возможно, что убеждение может найти путь к нашим сердцам, когда мы слышим абсурдный язык и становимся свидетелями беззакония величайшего числа тех, чье дело проповедовать нам? Я окружен священниками, которые непрестанно повторяют, что их правление не от мира сего, и все же они прибирают к рукам все, что могут заполучить. Папа Римский - глава этой религии с небес, и он думает только об этом мире. Чего только не предложил нынешний Верховный понтифик, который, несомненно, хороший и святой человек, чтобы ему разрешили вернуться в Рим! Отказ от управления церковью, от института епископов был для него не слишком высокой ценой за то, чтобы снова стать светским князем. Даже сейчас он друг всех протестантов, которые предоставляют ему все, потому что не боятся его. Он враг только католической Австрии, потому что ее территория окружает его собственную.

“Тем не менее, ” снова заметил он, “ не подлежит сомнению, что, будучи императором, я испытывал недоверие, благоприятное для народов, которыми мне приходилось управлять. Как мог бы я одинаково благоволить сектам, столь противоположным друг другу, если бы находился под влиянием какой-либо из них? Как мог бы я сохранить независимость своих мыслей и поступков под присмотром исповедника, который управлял бы мной с помощью страха ада? Какую власть не может злой человек, самый глупый из людей, таким образом осуществлять над теми, кто управляет целыми нациями? Разве это не декорация в опере, которая из-за кулис перемещает Геркулеса по его желанию? Кто может сомневаться, что последние годы правления Людовика XIV. все было бы совсем по-другому, если бы им руководил другой исповедник? На меня произвела такое глубокое впечатление истинность этих мнений, что я пообещал сделать все, что в моих силах, чтобы воспитать моего сына в тех же религиозных убеждениях, которых придерживаюсь я сам ”.

Император закончил разговор, пожелав, чтобы мой сын принес ему Новый Завет; и, взяв его с начала, он дочитал до конца нагорную речь Иисуса. Он выразил свое глубочайшее восхищение чистотой, возвышенностью, красотой морали, которая в ней содержалась; и мы все испытали то же чувство.

## ПОРТРЕТ РЕЖИССЕРОВ.—АНЕКДОТЫ.—18-Й ФРУКТИДОР.

Воскресенье, 9.—Император много говорил о создании Директории; он установил ее, будучи в то время главнокомандующим Внутренней армией. Это побудило его обратиться к пяти режиссерам, чьи портреты и характеры он нарисовал. Он живо обрисовал их безумства и пороки, и это привело его к событиям во Фруктидоре и сообщило много любопытных подробностей. Я собрал нижеследующее, частично из некоторых его отрывочных бесед, а частично из его записей о кампаниях в Италии.

“Баррас, ” сказал император, - происходил из хорошей семьи в Провансе, был офицером полка на острове Франция; во время революции он был избран депутатом Национального собрания от департамента Вар. У него не было ни ораторского таланта, ни деловых привычек. После 31 мая он вместе с Фрероном был назначен комиссаром итальянской армии и в Прованс, который в то время был очагом гражданской войны. По возвращении в Париж он примкнул к термидорианской партии; под угрозой Робеспьера, а также Тальена и остальной части партии Дантона они объединились и привели к событиям 9 Термидора. В момент кризиса Конвент назначил его выступить против *коммуны*, которая встала на сторону Робеспьера; ему это удалось.

Это событие принесло ему большую известность. После падения Робеспьера все термидорианцы стали ведущими людьми Франции.

"В критический период 12-й Вандемии было решено, чтобы сразу избавиться от трех комиссаров Армии внутренних дел, объединить в лице Барраса полномочия комиссара и командующего этой армией. Но обстоятельства, в которые он попал, были для него непосильны; они были выше его сил. У Барраса не было военного опыта, он уволился со службы, когда был всего лишь капитаном; он ничего не знал о военном деле.

"События Термидора и Вандемьера привели его в Директорию; он не обладал квалификацией, необходимой для выполнения этой задачи, но действовал лучше, чем от него ожидали те, кто его знал.

"Он содержал великолепное заведение, держал свору гончих, и его расходы были значительными. Когда 18 брюмера он уволился из Директории, у него все еще было большое состояние, и он не пытался его скрывать. Это состояние было недостаточно большим, чтобы хоть в малейшей степени способствовать финансовому упадку, но способ, которым оно было приобретено в пользу подрядчиков, подорвал общественную мораль.

"Баррас был высоким; иногда он говорил в минуты волнения, и его голос наполнял весь дом. Его интеллектуальные способности не позволяли ему ограничиться несколькими предложениями, но оживление, с которым он говорил, могло бы произвести впечатление человека решительного; однако это было не так; и у него не было собственного мнения ни по одной части управления государственными делами.

"Во Фруктидоре он объединился с Ребелем и La Reveillere Leraux, составив большинство против Карно и Бартелеми; после этого события он, по всей видимости, стал самым важным членом Директории, но на самом деле именно Ребель обладал наибольшим влиянием. Баррас всегда появлялся на публике как сердечный друг Наполеона. Во время 30-го Прериала он обладал

искусством умиротворять преобладающую партию в ассамблее и не разделял позора своих коллег.

“Ла Ревейер Лепо, родившаяся в Анже, принадлежала к низшим слоям среднего класса общества. Он был невысокого роста, и его внешность была настолько невзрачной, насколько это можно себе представить; он был настоящим эзопом. Писал он сносно, но кругозор его был узок, и у него не было ни деловых привычек, ни знаний о людях. Им попеременно руководили, в зависимости от обстоятельств, Карно или Ребель. *Ботанический сад* теофилантропия, новая религия, основателем которой он имел глупость стать, занимали все его время. В других отношениях он был патриотом, теплым и искренним, честным человеком и гражданином, полным честности и образованности; он был беден, когда стал членом Директории, и беден, когда покинул ее. Природа не дала ему права занимать какое-либо более высокое положение, чем должность судьи низшего ранга”.

Наполеон после своего возвращения из итальянской армии оказался, сам не зная почему, объектом особого усердия, заметного внимания и лести директора La Reveillere, который однажды пригласил его отобедать с ним, строго *по-семейному*, чтобы, по его словам, у них было больше свободы для совместной беседы. Молодой генерал принял приглашение и, как и обещал, не застал никого, кроме Директора, его жены и дочери, “которые, между прочим, “ добавил Император, - были тремя образцами уродства”. После десерта обе дамы удалились, и разговор принял серьезный оборот. Ла Ревейер подробно остановился на недостатках нашей религии, на необходимости, однако, иметь таковую, и превознес и перечислил преимущества религии, которую он хотел установить, - теофилантропии. “Я уже начал находить наш разговор довольно утомительным и скучным, - сказал император, - когда внезапно Ла Ревильер, с довольным видом потирая руки, сказал мне жеманно и с лукавым видом: ‘Каким ценным приобретением для нас был бы такой человек, как вы!— какое преимущество, какой вес имело бы ваше имя! — и каким славным было бы для вас это обстоятельство!— Итак, что вы об этом думаете?’” — Молодой генерал был далек от того, чтобы получить такое предложение; однако он ответил со смирением, что не считает себя достойным такой чести; и его принципы заключались в том, что, ступая по темному пути, следовать по стопам тех, кто был на нем до него, он был полон решимости поступать в соответствии с религиозным догматом, как поступали его отец и мать. Этот положительный ответ убедил верховного жреца в том, что ничего не следует предпринимать; он не настаивал, но с этого момента всем его ухаживаниям и лести по отношению к молодому генералу пришел конец.

“Ребель, ” сказал император, - родился в Эльзасе и был одним из лучших юристов в городе Кольмар. Он обладал тем типом интеллекта, который характеризует человека, опытного в адвокатуре, — его влияние всегда ощущалось в прениях, — он легко поддавался предрассудкам, — не очень верил в существование добродетели, — и его патриотизм был окрашен некоторой долей энтузиазма. Неясно, сколотил он состояние или нет за то время, пока был в Директории; правда, его окружали подрядчики, — но, учитывая его склад ума, возможно, что он только развлекался, беседуя с людьми деятельными и предприимчивыми, и что он наслаждался их лестью, не заставляя их платить за любезность, которую он им оказывал. Он питал особую ненависть к германской системе — он проявлял большую энергию в собраниях, как до, так и после того, как стал мировым судьей, и любил жизнь, полную приложения сил и активности. Он был членом Учредительного собрания и Конвента; последний назначил его комиссаром в Менце, где он не проявил ни твердости, ни военного таланта; он способствовал

сдаче города, который мог бы продержаться дольше. Как и все юристы, он перенял от своей профессии предубеждение против армии.

"Карно, родившийся в Бургундии, очень молодым поступил в инженерный корпус и проявил себя сторонником системы Монталамбера. Его товарищи считали его эксцентричным персонажем, и в начале революции он уже был кавалером ордена Святого Людовика, принципы которого он горячо поддерживал. Он стал членом Конвента, и был одним из членов комитета общественного благосостояния вместе с Робеспьером, Баррером, Кутоном, Сен-Жюстом, Бийо-Варенном, Колло-д'Эрбуа и др. Он был особенно непримирим к дворянству и, как следствие, часто вступал в ссоры с Робеспьером, который к концу своей жизни взял под свою защиту очень многих дворян.

"Карно был трудолюбив, искренен по любому поводу, но не привык к интригам и его легко было обмануть. Он был прикреплен к Журдану в качестве комиссара от Конвента в то время, когда Журдан участвовал в освобождении города Менца, который был осажден; и он оказал некоторые услуги по этому случаю. В Комитете общественного благосостояния он руководил военными операциями и был признан полезным, но у него не было ни опыта, ни практики в военных вопросах. При каждом удобном случае он проявлял большое моральное мужество.

"После событий Термидора, когда Конвент приказал арестовать всех членов комитета общественного благосостояния, за исключением его самого, Карно настоял на том, чтобы разделить их судьбу. Такое поведение было тем более благородным, что общественное мнение яростно высказалось против Комитета. После Вандемьера он был назначен членом Директории; но после 9 термидора на него глубоко повлияли упреки общественного мнения, которое приписывало комитету всю кровь, пролитую на эшафоте. Он чувствовал необходимость завоевать уважение и, полагая, что взял на себя инициативу, позволил некоторым из тех, кто руководил партией из-за границы, руководить собой. Его заслуги тогда превозносились до небес, но он не заслужил похвал врагов Франции; он оказался в критическом положении и пал во Фруктидоре.

"После 18 Брюмера Первый консул отозвал Карно и назначил его в военное министерство; у него было несколько ссор с министром финансов и Дюфреном, директором казначейства, в которых, справедливости ради, следует сказать, что он всегда оказывался неправ. В конце концов он покинул департамент, убедившись, что так больше продолжаться не может из-за нехватки денег.

"Будучи членом трибуната, он выступал и голосовал против установления Империи; но его поведение, открытое и мужественное, не вызывало беспокойства у администрации. Позднее он был назначен главным инспектором по надзору и при увольнении со службы получил от императора пенсию в размере двадцати тысяч франков. Пока все шло благополучно, император ничего о нем не слышал; но после похода на Россию, во время бедствий Франции, Карно попросил о приеме на работу: его назначили командовать городом Антверпеном, и он хорошо вел себя на своем посту. По его возвращении в 1815 году император, после небольшого колебания, назначил его министром внутренних дел, и у него не было причин раскаиваться в том, что он это сделал; он нашел его верным, трудолюбивым, честным и всегда искренним. В июне Карно был назначен одним из членов Комиссии Временного правительства, но, будучи непригодным для этого места, он был обманут.

“Ле Турнер де Ламанш родился в Нормандии; до революции он был инженерным офицером. Трудно объяснить, как он попал в Директорию; это может быть вызвано только одним из тех необъяснимых капризов, примерами которых так часто служат большие собрания. Он был человеком ограниченных способностей, малообразованным и со слабым умом. В Конвенте было пятьсот депутатов, более подходящих для этой ситуации; однако он был человеком строгой честности и покинул Директорию без всякого состояния”.

Ле Турнер стал предметом обсуждения и насмешек всего Парижа; говорили, что он приехал из своего департамента, чтобы вступить во владение Директорией, на тележке, вместе со своим домработником, кухонной утварью и домашней птицей. Столичные остряки отметили его, и он был ошеломлен насмешками. Его, например, заставили вернуться из *Ботанического сада*, куда он побежал сразу по прибытии в Париж, и рассказать о редких вещах, которые он там нашел; и, когда его спросили, видел ли он Кружевницу,<sup>[19]</sup> он был удивлен, что прошел мимо нее незамеченным, заявив, что *la Giraffe* (название "Жираф") была опубликована в журнале. (каamelопард) было единственным, на что ему указали.<sup>[20]</sup>

"Директория едва успела утвердиться, как начала унижать себя в глазах общественности своими капризами, дурной моралью и ложными мерами. Ошибки и нелепости, которые он совершал ежедневно, довершили его дискредитацию, и репутация его была утрачена почти в самый момент его формирования. Опьяненные своим возвышением, Режиссеры решили, что им подобает напустить на себя определенный вид, и стремились приобрести внешность и манеры *bon ton*. Чтобы лучше преуспеть, они образовали каждый по небольшому Двору, где принимали представителей высших классов, до сих пор находившихся в опале и которые, естественно, были их врагами, и из которого они исключили большую часть своих старых знакомых и бывших компаньонов, как отныне слишком вульгарных. Все те, кто во время Революции проявил больше энергии, чем члены Директории, или кто шел по тому же пути, что и они, стали им ненавистны и немедленно были отстранены; и таким образом Директория стала смешной для одной партии и вызвала отчуждение у другой. Эти пять маленьких Дворов требовали большей степени подобострастия по мере того, как они были низшими и смешными; но нашлось много людей, которые не могли заставить себя подчиниться формальностям, которые воспоминание о недавних обстоятельствах, характере правительства и личностях губернаторов сделало недопустимыми.

Однако все, что могла сделать Директория, чтобы завоевать власть в парижских салонах, оказалось безрезультатным: ей не удалось приобрести на них никакого влияния, и партия Бурбонов набирала силу. Как только Директора поняли это, они поспешно вернулись по своим следам; но было слишком поздно восстанавливать добрую волю республиканцев, которых они оттолкнули своим поведением. Это привело к колебаниям системы, которые выглядели как каприз; не было проложено никакого курса, которым можно было бы руководствоваться, не было видно никакой цели, не царил единства. Против правления террора и королевской власти в равной степени возражали, но в то же время путь, который должен был привести к цели, оставался неиспытанным. Директория думала положить конец этому состоянию неопределенности и избежать этих постоянных колебаний, нанеся один удар по двум крайним партиям, независимо от того, заслуживали они этого или нет: таким образом, если роялист, участвовавший в заговоре или нарушивший общественное спокойствие, был арестован по их приказу, они заставили республиканца, невиновного или виновного, быть арестованным в тот же момент. Эта система получила прозвище *Политические качели*, но несправедливость и

мошенничество, которые характеризовали ее, полностью дискредитировали правительство; все сердца были закрыты; это было правительство руководства. Все истинные и великодушные чувства были направлены против Директории.

"Деловые люди, джобберы и интриганы, завладев источниками власти, приобрели наибольшее влияние; все места были отданы никчемным личностям, *протежеили* родственникам — коррупция проникла в каждую ветвь администрации. Это вскоре было понято, и те, кто имел возможность тратить государственные деньги впустую, могли действовать без страха; международные отношения, армия, финансы, министерство внутренних дел - все ощутили пагубное воздействие столь порочной системы. Такое положение вещей вскоре вызвало бурю на политическом горизонте, и мы быстрыми шагами направились к кризису Фруктидора.

"В тот период меры Директории были слабыми, капризными и неуверенными; эмигранты возвращались во Францию, а газеты, которым платили иностранцы, осмеливались открыто клеймить позором самых достойных наших патриотов. Ярость врагов нашей национальной славы привела в ярость солдат итальянской армии, которая громко выступила против них; в то время как Советы, в свою очередь, действуя как настоящие контрреволюционеры, не говорили ни о чем, кроме священников, колоколов и эмигрантов. Все армейские офицеры, более или менее отличившиеся в своих подразделениях, в добровольческих батальонах или даже в линейных полках, подвергаясь таким нападкам в своих самых заветных интересах, все больше и больше разжигали гнев своих солдат; умы всех сторон были в состоянии возбуждения. В момент такого сильного волнения, какие меры мог принять генерал итальянской армии? У него был выбор из трех:

"1-й. Встать на сторону преобладающей партии в Советах — но было слишком поздно; армия заявила о себе, и лидеры этой партии, ораторы Совета, беспрестанно нападая как на генерала, так и на его армию, не оставили ему возможности принять эту резолюцию.

2дл. "Принять партию Директории и Республики. Это был самый простой путь, тот, на который указывал долг, к которому склонялась армия и которым он уже был занят; ибо все писатели, оставшиеся верными делу Революции, по собственной воле объявили себя горячими защитниками армии и ее командиров.

3дл. "Одержатъ верх над обеими фракциями, смело выйдя вперед и открыто участвуя в соревновании в качестве регулятора Республики. Но, несмотря на силу, которую, как чувствовал Наполеон, он черпал из поддержки армии, хотя его характер высоко ценился во Франции, он не думал, что дух времени и общественное мнение были таковы, чтобы позволить ему совершить столь смелый шаг. И кроме того, если бы эта третья мера была той, к которой он втайне склонялся, он не смог бы принять ее немедленно, не примкнув предварительно к одной из двух партий, фигурировавших в тот момент в политических списках. Было абсолютно необходимо, даже для того, чтобы сформировать третью партию, сначала встать на сторону либо Советов, либо Директории.

Таким образом, из трех мер, которые должны были быть приняты, третья по своему исполнению слилась с двумя первыми, и он был полностью лишен возможности принять первую из этих двух из-за нового формирования Советов и нападков, уже сделанных на него ими.

“Эти соображения и выводы, - заметил император, - были естественным результатом глубокого размышления о существовавшем тогда положении дел во Франции. Поэтому генералу ничего не оставалось делать, кроме как позволить событиям идти своим чередом и поддержать порыв своих войск. И такой взгляд на предмет привел к обращению к итальянской армии и широко известному приказу о награждении ее генерала.

“Солдаты! - сказал он. - Я знаю, что ваши сердца полны скорби из-за бедствий, постигших нашу страну; но если бы было возможно, чтобы иностранные армии одержали победу, мы бы полетели с вершины Альп с быстротой орла, чтобы еще раз защитить то дело, которое уже стоило нам столькой крови”.

Эти слова решили вопрос; солдаты в восторге были за то, чтобы немедленно двинуться на Париж. Слух об этом событии немедленно распространился по столице и произвел самую сильную сенсацию. Директория, которую все считали погибшей, которая минуту назад шаталась в одиночестве и была покинута, сразу же нашла поддержку общественного мнения; она немедленно заняла позицию победоносной партии и нанесла поражение всем своим врагам.

“Генерал армии Италии направил воззвание своим солдатам к Директории через Ожеро, потому что он был парижанином и решительно поддерживал господствующие взгляды того времени.

Тем не менее политики того времени высказали следующие предположения: что сделал бы Наполеон, если бы Советы восторжествовали; если бы эта фракция, вместо того чтобы быть свергнутой, напротив, свергла Директорию? В таком случае, по-видимому, он был полон решимости выступить на Лион и Мирбель с пятнадцатитысячным войском, где к нему присоединились бы все республиканцы с юга и из Бургундии. Победоносный Собор не продержался бы и трех-четырех дней, не придя к какому-нибудь насильственному разрыву и расколу: ибо известно, что, если многие из этих Советов были единодушны в своих действиях против Директории, они были далеки от того дальнейшего курса, который они намеревались проводить. Лидеры, такие как Пишегрю, Имберт-Колонн и другие, продавшись иностранным державам, использовали все свое влияние, чтобы восстановить королевскую власть и вызвать контрреволюцию; в то время как Карно и другие стремились добиться результатов, прямо противоположных этим. Таким образом, Франция немедленно стала бы жертвой беспорядка и анархии, и в этом случае все фракции с удовлетворением увидели бы, что Наполеон стал объединяющим фактором, якорем безопасности, способным спасти их одновременно от террора королевской власти и от террора демагогов. Тогда Наполеон, естественно, отправился бы в Париж и оказался бы во главе событий по единодушному желанию и согласию всех сторон. Большинство Советов было сильным и позитивным, это правда, но оно было направлено только против Директоров; оно разделилось бы до бесконечности, как только они были бы отменены.

“Выбор трех новых директоров, открыто разоблачивших истинные намерения мер контрреволюции, привел к тому, что наибольшее число граждан в тревоге были готовы вылететь навстречу Наполеону с национальной орифламмой”<sup>[21]</sup> развернуто; ибо истинных

контрреволюционеров, в конце концов, было немного, и их претензии были слишком смешными и абсурдными. Все отступило бы перед Наполеоном. Если бы его называли цезарем или Кромвелем, он все равно шел бы с религией, с партией, идеи которой были устоявшимися и популярными; он был хозяином своих солдат, казна армии была полна, и он располагал всеми другими средствами, рассчитанными на то, чтобы обеспечить их постоянство и верность. Если бы сейчас был задан вопрос, желал ли бы Наполеон в глубине своего сознания, чтобы дело приняло такой оборот, мы бы высказали свое мнение утвердительно; и следующий факт заставляет нас полагать, что его желания и надежды были направлены в пользу триумфа большинства Советов. В момент кризиса между двумя фракциями секретным декретом, подписанным тремя членами, входившими в партию Директории, от него требовалось три миллиона для отражения нападения Советов, но Наполеон под разными предложениями не прислал их, хотя ему было бы легко это сделать; однако хорошо известно, что колебаться в денежных вопросах не в его характере.

Поэтому, когда борьба закончилась и Директория с удовольствием открыто признала, что обязана своим существованием Наполеону, у нее все еще оставались некоторые смутные подозрения, что Наполеон поддержал ее дело только в надежде увидеть его свержение и занять его место.

“Как бы то ни было, после 18-го Фруктидора энтузиазм армии достиг своего апогея, а триумф Наполеона был полным. Но Директория, несмотря на свою кажущуюся благодарность, с этого момента окружила Наполеона многочисленными агентами, которые следили за его действиями и пытались проникнуть в его мысли.

“Положение Наполеона было крайне деликатным, хотя его поведение было настолько хорошо регламентировано и достойно восхищения, что даже в этот период мы можем строить лишь простые догадки по этому вопросу; но именно в деликатности его положения, как нам кажется, можно проследить основные причины, которые привели к заключению мира на Кампо Формио, к его отказу остаться на конгрессе в Раштадте и, наконец, к предпринятию экспедиции в Египет.

“Как это всегда бывает во Франции, сразу после 18-го Фруктидора свергнутая партия внезапно исчезла, и большинство членов Директории одержало безоговорочную победу. Это стало всем и свело Советы на нет.

“Тогда Наполеон почувствовал необходимость мира, который, положив конец нынешнему положению дел, повысил бы его популярность: ему было чего опасаться в связи с продолжением войны; это могло предоставить тем, кто должен был подозревать его, готовые предложения для нанесения ему вреда; или намерение могло заключаться в том, чтобы поставить его в затруднительное положение и объединить против него других генералов.

“Двое“Два генерала, пользовавшиеся в то время наибольшей репутацией, открыто проявили свои чувства по отношению к великому делу Фруктидора: это были Моро и Гош.

“Моро решительно выступил против Директории и своим поведением, одновременно малодушным и преступным, не выполнил свой долг и скомпрометировал свою честь.

“Гош был полностью на стороне Директории, побуждаемый стремительностью своего характера, он двинул часть своей армии на Париж и потерпел неудачу, действуя слишком поспешно. Его войска были отозваны под влиянием Советов, и он сам был вынужден покинуть

Париж, чтобы избежать ареста по приказу этих Советов. Таким образом, Гош не сделал ничего, чтобы способствовать успеху 18-го Фруктидора; напротив, он навредил делу чрезмерным усердием. Но он показал себя человеком, всецело преданным Директории, и большинство из них могло безоговорочно положиться на него, хотя его неосторожность едва не стала причиной их разорения.

Напротив, то же самое большинство членов Директории питало сомнения по отношению к Наполеону, который был причиной их триумфа; они все еще считали возможным, что генерал итальянской армии рассчитал, что Директория падет в борьбе с Советами и что он может тогда восстать на ее развалинах.

Но как могла Директория согласовать это предположение с действиями генерала, который сделал все, чтобы обеспечить ее триумф? ибо очевидно, что без дневного приказа Наполеона и обращения к его армии Директория была бы отменена.

Некоторые люди, хорошо осведомленные по этому вопросу, по—видимому, думают, что Наполеон на самом деле не оценил должным образом влияние, которым он пользовался во Франции, — что он позволил ввести себя в заблуждение клеветой и газетами, в которых он подвергался нападкам, - и что он считал принятые им меры рассчитанными не на обеспечение полного триумфа Директории, а на то, чтобы произвести именно тот эффект, который сделает его освободителем и истинной поддержкой республики. Те же люди добавляют, что когда офицеры, находившиеся у Наполеона в Париже, и письма со всех концов Франции сообщили ему, что его прокламация в одно мгновение полностью изменила общественное настроение во внутренних районах, тогда, и только тогда, он увидел, что сделал слишком много. Мы тем более готовы согласиться с этим мнением, что не можем понять, почему Наполеону пришло в голову сохранить трех Директоров, о которых он не заботился. Единственный, кого он уважал (Карно), был из противоположной партии, и мы знаем, что он был возмущен продажностью и слабостью других.

“Человек по имени Ботто, личный агент Барраса, был направлен к Наполеону с секретными инструкциями попытаться проникнуть в его взгляды и выяснить, почему он не отправил три миллиона, в которых так нуждалась Директория. Ботто нашел французского генерала в Пассериано и начал интриговать направо и налево с теми, кто окружал Наполеона; но он обнаружил, что все они горячо привязаны к победившей партии; и, поскольку ему нужно было уладить кое-какие свои дела, он, наконец, в ходе нескольких частных бесед признался в тайне своей миссии и в смутных подозрениях, питаемых Директорией. Вскоре он был выведен из заблуждения кажущейся простотой, отличавшей учреждение Наполеона, откровенностью самого Наполеона и, прежде всего, энтузиазмом армии и всей Италии в пользу генерала. Но, даже если бы подозрения Директории были вполне обоснованными, было бы нетрудно, с помощью нескольких знаков внимания и нескольких откровенных бесед, не затронувших Ботто, в окружении которого он тогда находился, устранить все причины для обиды.

“Он написал в Париж, что опасения, которые были высказаны, совершенно беспочвенны, и их следует опасаться гораздо меньше, чем порочности тех, кто хотел их возбудить. Но против трех миллионов ему возражали, почему же в них было отказано? Наполеон доказал, что приказ Директории был таинственным и нерегулярным, и что, поскольку он был окружен такими негодяями, как Ф. и другими, которые уже ограбили государственную казну, он счел благоразумным установить истину; что он немедленно отправил Лавалетта, своего доверенного

помощника, в Париж, и что, как только Лавалетт сообщил ему об истинном положении дел, он был готов отослать три миллиона, когда судьба дня была решена”.

## АНГЛИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ.—ЛОРД УИТВОРТ.—ЧАТАМ.—КАСЛРИ.—КОРНУОЛЛИС.—ФОКС И Др.

Понедельник, 10—е число - Ход нашей сегодняшней беседы привел императора к выводу, что нет ничего более опасного и коварного, чем официальные беседы с дипломатическими агентами Великобритании. “Английские министры, ” сказал он, - никогда не представляют дела своей нации перед другой страной, а представляют их самих перед своей собственной нацией. Их мало волнует, что сказали или не договаривают их противники; они смело выдвигают на первый план то, что сказали их дипломатические агенты, или то, что они заставляют их говорить, на том основании, что эти агенты имеют публичный и признанный характер, и их сообщениям следует доверять. Именно в соответствии с этим принципом, добавил Наполеон, английские министры опубликовали в то время под именем лорда Уитворта длинный разговор между мной и Уитвортом, отчет о котором был полностью ложным”.<sup>[22]</sup>

Этот посол попросил аудиенции у Первого консула и личного общения. Первый консул, который сам любил решать дела напрямую, охотно согласился. - Но-Но это послужило для меня уроком, - сказал император, - который навсегда изменил мой метод. С этого момента я никогда официально не занимался политическими делами, кроме как через вмешательство моего министра иностранных дел. Он, во всяком случае, мог дать положительное и формальное опровержение, чего государь сделать не мог.

“Совершенно неверно, ” добавил император, - что в ходе нашей личной беседы произошло что-либо, что не соответствовало общепринятым правилам приличия. Сам лорд Уитворт после нашей конференции, находясь в компании других послов, выразил полное удовлетворение и добавил, что он не сомневается, что все будет удовлетворительно улажено. Но каково же было удивление тех же послов, когда вскоре после этого они прочитали в английских газетах сообщение лорда Уитворта, в котором он обвинил меня в том, что я вел себя во время интервью с неподобающей жестокостью! У нас было несколько теплых друзей среди этих послов, и некоторые из них зашли так далеко, что выразили свое удивление английскому дипломату, заметив ему, что его доклад сильно отличается от того, что он сказал им сразу после конференции. Лорд Уитворт извинился как мог, но настаивал на положениях официального документа.

“Дело в том, ” сказал император, “ что каждый политический агент Великобритании имеет привычку составлять два отчета по одному и тому же вопросу: один публичный и фальшивый для министерских архивов, другой конфиденциальный и достоверный для самих министров и только для них; и когда на карту поставлена ответственность министров, они представляют первый из этих документов, который, хотя и фальшивый, отвечает всем требованиям и служит их оправданию. И таким образом, ” добавил император, - лучшие институты становятся порочными, когда они больше не основаны на морали и когда их агентами движут только эгоизм, гордыня и дерзость. Абсолютная власть не нуждается в маскировке; она безмолвствует: ответственные правительства, будучи вынуждены говорить, прибегают к уловкам и бесстыдной лжи.

"Однако заслуживает внимания то обстоятельство, что во время моей великой борьбы с Англией правительство этой страны постоянно ухитрялось приписывать столько гнусности моей личности и действиям; и что они так дерзко выступали против моего деспотизма, моего эгоизма, моего честолюбия и моего вероломства, когда они одни были виновны во всем, что они осмелились выдвинуть против меня. Должно быть, против меня существовало очень сильное предубеждение, меня, должно быть, действительно очень боялись, раз люди могли допустить, чтобы их так обманули. Я могу понять это по королям и Кабинетам министров, их существование было поставлено на карту; но от народа!!...

"Британские министры постоянно говорили о моем двуличии; но разве что-нибудь может сравниться с их макиавеллизмом, их эгоизмом во время беспорядков и конвульсий, которые они поддерживали?

"Они пожертвовали несчастной Австрией в 1805 году только для того, чтобы избежать вторжения, которым я им угрожал.

"Они снова пожертвовали ею в 1809 году, чтобы иметь больше свободы действий на полуострове.

"Они пожертвовали Пруссией в 1806 году в надежде вернуть Ганновер.

"Они не помогли России в 1807 году, потому что предпочли захватить отдаленные колонии и потому что пытались завладеть Египтом.

"Они подарили миру печально известное зрелище бомбардировки Копенгагена в мирное время и устроили засаду, чтобы украсть датский флот. Они уже однажды устроили подобное представление, захватив, подобно разбойникам с большой дороги, также в мирное время, четыре испанских фрегата, груженных богатыми сокровищами.

Наконец, во время войны на полуострове, где они пытались продлить существование анархии и неразберихи, их главной целью было потакать нуждам и крови испанской нации, заставляя ее покупать их услуги и припасы за счет золота и концессий.

"В то время как вся Европа, благодаря их интригам и субсидиям, была залита кровью, они были намерены только обеспечить свою собственную безопасность, получить преимущества для своей торговли и получить суверенитет на море и мировую монополию. Что касается меня, то я никогда не делал ничего подобного, и до злополучного дела с Испанией, которое, в конце концов, не идет ни в какое сравнение с делом в Копенгагене, я могу сказать, что моя нравственность была безупречной. Мои действия, возможно, были диктаторскими и безапелляционными, но никогда не были запятнаны вероломством. Кого после всего этого можно удивить, если в 1814 году, хотя Англия действительно была избавительницей Европы, ни один англичанин не мог показаться на Континенте, не встречаясь на каждом шагу с проклятиями, ненавистью и поношениями? Кто может спросить, как это произошло? Каждое дерево приносит свои плоды; мы пожинаем только то, что посеяли; и таков был неизбежный результат злодеяний английского правительства, тирании и наглости министров в Лондоне и их агентов по всему земному шару.

"В течение последних пятидесяти лет администрации Великобритании постепенно снижались во внимании и общественной оценке. Раньше борьба за власть велась между великими

национальными партиями, для которых были характерны грандиозные и отличные друг от друга системы; но теперь мы видим только пререкания одной и той же олигархии, постоянно преследующей одну и ту же цель, и несогласные члены которой улаживают свои разногласия путем компромиссов и уступок: они превратили Кабинет в Сент-Джеймском университете в лавку.

"Политика лорда Чатема, без сомнения, была отмечена актами несправедливости; но, по крайней мере, он провозглашал их смело и энергично; в них чувствовалось определенное величие. Питт внедрил в Кабинет министров систему лицемерия и фальши. Лорд Каслри, самозванный наследник Питта, привнес в это дело крайности всякого рода распущенности и безнравственности. Чатем гордился тем, что был торговцем; лорд Каслри, к серьезному ущербу своей нации, позволил себе удовольствие вести себя как *благородный джентльмен*; он пожертвовал своей страной ради братания с великими людьми континента и с этого момента объединил в своем лице пороки салуна с алчностью конторы; двуличие и подбострастие придворного с высокомерием и наглостью выскочки. Бедная английская конституция находится в неминуемой опасности. Какая разница между такими людьми и Лисами, шериданами и Серыми, этими великолепными талантами, этими благородными персонажами Оппозиции, которые были объектами насмешек победившей олигархии!

"Лорд Корнуоллис, - сказал император, - первый англичанин, который искренне высказал мне благоприятное мнение о своей нации; после него Фокс, и я мог бы добавить к ним, если бы это было необходимо, нашего нынешнего адмирала (Малькольма).

"Корнуоллис был во всех смыслах этого слова достойным, хорошим и честным человеком. Во время заключения Амьенского мирного договора, когда условия были согласованы, он пообещал подписать его на следующий день в определенный час; что-то важное задержало его дома, но он дал свое слово. Вечером того же дня из Лондона прибыл курьер, запрещающий некоторые статьи договора, но он ответил, что подписал, и немедленно приехал и действительно подписал. Мы прекрасно понимали друг друга; я предоставил в его распоряжение полк, и он с удовольствием наблюдал за его маневрами. У меня сохранились приятные воспоминания о нем во всех отношениях, и я уверен, что просьба от него имела бы для меня, возможно, больший вес, чем просьба от коронованной особы. Его семья, похоже, догадалась, что это так; от ее имени мне было сделано несколько просьб, и все они были удовлетворены.

Фокс приехал во Францию сразу после заключения Амьенского мира. Он работал над написанием истории Стюартов и попросил моего разрешения покопаться в наших дипломатических архивах. Я отдал приказ, чтобы все было предоставлено в его распоряжение. Я часто принимал его. Слава сообщила мне о его талантах, и вскоре я обнаружил, что он обладает благородным характером, добрым сердцем, либеральными, великодушными и просвещенными взглядами. Я считал его украшением человечества и был очень привязан к нему. Мы часто беседовали на разные темы без малейшего предубеждения; когда я хотел вступить в небольшую полемику, я переводил разговор на тему адской машины и говорил ему, что его министры пытались убить меня; тогда он горячо возражал против моего мнения и неизменно заканчивал разговор словами на своем плохом французском: 'Первый консул, прошу вас, выбросьте это из головы'. Но он не был убежден в истинности дела, которое взялся

отстаивать, и есть все основания полагать, что он выступал больше в защиту своей страны, чем в защиту морали ее министров".

Император закончил разговор словами: "Полудюжины таких людей, как Фокс и Корнуоллис, было бы достаточно, чтобы утвердить моральный облик нации.... С такими людьми я бы всегда соглашался; мы бы вскоре урегулировали наши разногласия, и Франция не только жила бы в мире с нацией, в глубине души достойной уважения, но и вместе мы бы совершили великие дела".

## ИСТОРИЯ КОНВЕНЦИИ ЛАКРЕТЕЛЯ.—СТАТИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ О БЫКАХ ОСТРОВА.—КАЛАМБУРЫ.—СТАТИСТИКА В ЦЕЛОМ.

Вторник, 11—е. - Это был один из тех дней с ветром и дождем, которые здесь так обычны. Император около трех часов воспользовался коротким перерывом, чтобы посетить сад. Он послал за мной; он только что читал "Историю конвента" Лакретеля. Он заметил, что это, конечно, не плохо написано; но это плохо усваивается и не производит никакого впечатления на память; в целом это гладкая поверхность без единой неровности, привлекающей внимание. Он недостаточно тщательно исследует свой предмет: он не отдал должное многим знаменитым персонажам; он не придает должной окраски преступлениям нескольких других и т.д.

Дождь заставил нас вернуться, и мы долго гуляли в одиночестве по салону и столовой.

Нам сообщили, что на острове четыре тысячи быков и что ежегодное потребление составляет пятьсот голов, из которых сто пятьдесят выделяются нам, пятьдесят - колонии и триста - судоходству. Было добавлено, что для воспроизводства поголовья требовалось четыре года, и это послужило предметом наших расчетов; занятие, к которому хорошо известен особый вкус императора.

Пропитание и потребление этих быков - важное дело на острове. Ни одно животное не может быть убито без предварительного приказа губернатора, и один из наших людей сообщил, что владелец одного из домов или хижин на острове, разговаривая с ним по этому поводу, сказал: "Говорят, что вы жалуетесь там, наверху, и считаете, что вам плохо; (он говорил о Лонгвуде) но мы затрудняемся разобраться; потому что говорят, что у вас есть говядина каждый день, в то время как мы получаем ее только три или четыре раза в год, и даже тогда мы платим за нее пятнадцать или двадцать пенсов". фунт." Император, от души посмеявшийся над этой историей, заметил: "Вам следовало бы заверить его, что это обошлось нам дороже кроны".

Некоторое время спустя я заметил, что это был единственный каламбур, который я до сих пор слышал из уст императора, но человек, которому я сделал это замечание, сказал, что слышал о том, что он произнес похожий каламбур на ту же тему на острове Эльба. Каменщик, работавший в нескольких зданиях, которые должны были быть построены по приказу императора, упал и ушибся; император, желая ободрить его, заверил его, что это не будет иметь никакого значения. "Я падал, - сказал он, - гораздо хуже вашего, но посмотрите на меня, несмотря ни на что, я на ногах и в полном здравии".

Внимание императора на мгновение переключилось на политическую статистику. Он высоко превозносил прогресс и полезность этой новой науки, которая, по его словам, так хорошо приспособлена указывать путь к истине, устанавливая и подтверждая мнения. Он называл это *бюджетом вещей*, и "без бюджета, - весело сказал он, - нет безопасности".

Необычное применение этой науки англичанином или немцем, у которых хватило терпения и решимости установить, сколько раз каждая буква алфавита встречается в Библии, было затем замечено присутствующим. Он также упомянул о другом его применении, менее скучном, но не менее необычном. Это было приготовлено восьмидесятилетним немцем, который забавлялся тем, что подсчитывалподсчитывая, что он мог съесть за свою жизнь из говядины, баранины, птицы, овощей и т.д., А также из того, что он выпил. Оценка охватывала огромные толпы, отары и скопления всех видов. Общественная рыночная площадь была неспособна вместить все, что он съел. Этот мелкий соискатель науки на этом не остановился. У него хватило любопытства поинтересоваться, как часто он мог бы снова проглатывать те же самые продукты. Ибо, как он рассудительно заметил, их трансмутация в его лице обязательно должна была способствовать их размножению. Император много смеялся над этим подсчетом, и особенно над причудливым повторением одних и тех же блюд.

### Персонажи. BAILLI, LAFAYETTE, MONGES, GRÉGOIRE, &C.—ST. ДОМИНГО.—СИСТЕМА, КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ СЛЕДОВАТЬ.—ПРЕДПИСАНИЯ КОНВЕНЦИИ.

12 июня. — У нас было три дня ужасной погоды, когда момент, обещавший оставаться прекрасным, побудил императора проветриться в своей карете. Он только что закончил читать "Историю учредительного собрания" Рабо де Сент-Этьена. Он был почти того же мнения об этом писателе, что и о Лакретеле. Затем он воспользовался случаем, чтобы обратить внимание на несколько персонажей.

“Байи, - сказал он, - был неплохим человеком, но, несомненно, жалким политиком. Лафайет был еще одним простаком, и он никоим образом не соответствовал выдающемуся персонажу, которого он хотел представлять. Его политическая простота была такова, что он не мог избежать постоянного одурачивания людей и вещей. То, что он разгромил "чемберс" по моем возвращении с Ватерлоо, стало моим крахом. Кто мог бы убедить его, что я прибыл только для того, чтобы распустить их, — я, чья единственная безопасность была сосредоточена в них?”

Один из участников сказал в качестве оправдания: “Однако, сир, это был тот же самый человек, который, общаясь впоследствии с союзниками, был полон негодования по поводу их предложения выдать ваше Величество и нетерпеливо спросил, осмелились ли они обратиться к узнику Ольмюца?” — “Но, сир, - ответил император, - вы перебегаете от одного предмета к другому, или, скорее, вы согласны с моим мнением, вместо того чтобы противостоять ему. Я не нападал на чувства или намерения господина де Лафайета; я только жаловался на их фатальные последствия”.

Затем император продолжил в том же духе обзор ведущих людей того периода. Он довольно подробно остановился на деле Фавраса и т. Д.

“В остальном, - заметил император, - нет ничего более обычного, чем видеть людей той эпохи совершенно противоположными по характеру тому, что, казалось, утверждалось их словами и поступками. Монжеса, например, можно было бы считать ужасным человеком. Когда вопрос о войне был решен, он заявил с трибуны якобинцев, что отдаст двух своих дочерей замуж за двух первых солдат, которые могут быть ранены врагом. Это он был волен делать в строгом смысле слова, поскольку это касалось его самого; но он настаивал, что другие должны быть вынуждены следовать его примеру и что вся знать должна быть предана смерти и т. Д. И все же Монжес был одним из самых кротких и слабых людей на свете и не допустил бы, чтобы зарезали курицу, если

бы ему пришлось сделать это самому или увидеть, как это делается. Этот яростный республиканец, каким он считал себя, питал, однако, ко мне своего рода преклонение, которое он довел до обожания. Он любил меня, как мужчина любит свою любовницу.

"Грегуар, чья враждебность к духовенству, которое он хотел вернуть к их первоначальной простоте, была настолько велика, что он мог бы сойти за поборника безбожия, может быть упомянут в качестве другого примера; однако Грегуар, когда революционеры отрицали своего Бога и упраздняли духовенство, был очень близок к тому, чтобы быть убитым, когда поднимался на трибуну с целью смело заявить о своих религиозных чувствах и заявить, что умрет священником. В тот самый момент, когда во всех церквях шла разрушительная работа против алтарей, Грегуар воздвиг один из них в своих собственных покоях и каждый день служил там мессу. Однако судьба этого человека решительно предрешена. Если его выгонят из Франции, он должен найти убежище в Сан-Доминго. Друг, защитник, восхвалитель негров будет среди них богом или святым".

Следующей темой нашего разговора, естественно, стал Сан-Доминго. В дни своей молодости я видел эту колонию в ее самом цветущем состоянии. Император задал мне много вопросов и лично ознакомился со всеми обстоятельствами, относящимися к тому отдаленному периоду. Когда его расспросы были закончены, он сказал: "Я, без сомнения, удивлю вас, но я убежден, даже извасих собственных заявлений, что остров в данный момент не потерял и трети, и уж точно не половины своей стоимости, и что через короткое время он вернет себе все свое прежнее процветание".

На самом деле я бы не удивлялся этому, поскольку все абсурдные истории, распространяемые в Европе о Франции, должны были бы предостеречь нас от тех, которые можно было бы без опаски рассказать о Сан-Доминго.

Император сказал, что после реставрации французское правительство разослало эмиссаров с предложениями, над которыми негры посмеялись. "Что касается меня, - добавил он, - то по возвращении с Эльбы я бы уладил с ними все разногласия; я бы признал их независимость, удовлетворился несколькими фабриками, подобными тем, что на африканском побережье, постарался бы сблизить их с метрополией и установить с ними что-то вроде семейных отношений, что, по моему мнению, было бы легко осуществить".

"Я должен упрекнуть себя за покушение, совершенное на колонию во время консульства. Намерение подчинить ее силой было большой ошибкой. Я должен был бы удовлетвориться управлением ею через посредство Туссена. Мир с Англией не был достаточно прочным, и территориальные богатства, которые я приобрел бы в результате его сокращения, послужили бы лишь обогащению наших врагов ". По его словам, у него было больше оснований упрекать себя в этой ошибке, потому что он предвидел ее провал, и она была осуществлена вопреки его желанию. Он подчинился исключительно мнению государственного совета и своих министров, которых поторопили крики колонистов, образовавших значительную партию в Париже и, кроме того, по его словам, почти все были роялистами или находились на жалованье у английской фракции.

Император заверил нас, что высланная армия состояла всего из шестнадцати тысяч человек и была вполне достаточной. Неудачу экспедиции следовало отнести исключительно на счет

случайных обстоятельств, таких как желтая лихорадка, смерть главнокомандующего, но прежде всего на счет его грубых ошибок, новой войны и т. Д.

“За прибытием капитан-генерала Леклера, - сказал император, ” последовал полный успех, но у него не хватило умения обеспечить его продолжение. Если бы он следовал секретным инструкциям, которые я сам для него составил, он спас бы много жизней и избавил себя от тяжких унижений. Я приказал ему, среди прочего, присоединить к себе цветных людей, чтобы он мог лучше удерживать чернокожих в повиновении; и, как только он уменьшит колонию, отправить во Францию всех чернокожих генералов и высших офицеров для передачи в распоряжение военного министра, который использовал бы их в соответствующих званиях. Эта мера, которая лишила бы негритянское население его вождей, была бы решающим ударом, не нанося ущерба военным законам и постановлениям в их отношении. Но Леклер поступил как раз наоборот: он подавил цветных людей и оказал свое доверие черным генералам. В результате, как и следовало естественно ожидать, он был обманут последним, столкнулся с трудностями, и Колония была потеряна. Сначала он не хотел посылать во Францию Туссена, который занимал там выдающийся пост; но через некоторое время он оказался вынужден отдать приказ о его задержании и отправить его пленником к нам. Недоброжелатели не преминули обрисовать этот акт в отвратительных тонах тирании и вероломства, представив Туссена невинной жертвой, заслуживающей глубочайшего интереса; и все же он был в высшей степени преступным.

"Туссен не был человеком, лишенным достоинств; хотя, конечно, он не был таким, каким люди пытались описать его в то время. Кроме того, его характер не был рассчитан на то, чтобы внушать настоящее доверие; он давал нам серьезные основания для жалоб. Должно быть, мы всегда не доверяли ему.<sup>[23]</sup> В основном им руководил офицер инженерных войск или артиллерии, директор укреплений Сан-Доминго. (Полковник Винсент). Этот офицер прибыл во Францию до экспедиции Леклера, и с ним долгое время проводились совещания. Он приложил все усилия, чтобы предотвратить эту попытку, и с большой точностью описал все ее трудности, не притворяясь, однако, что это невозможно". Император полагал, что бурбонам удалось бы взять Сан-Доминго, если бы они применили силу; но в этом вопросе на результат применения оружия рассчитывать не приходилось; это был скорее результат торговли и грандиозных политических взглядов. Триста или четыреста миллионов капитала, переведенных из Франции в отдаленную страну; неопределенный срок для пожинания плодов такой жертвы; очень большая уверенность в том, что они будут поглощены англичанами или поглощены революциями, и т. Д.: Таковы были пункты для рассмотрения. В заключение император сказал: "Колониальная система, свидетелями которой мы были, закрыта для нас, как и для всего европейского континента; мы должны отказаться от нее и впредь ограничиваться свободным судоходством по морям и полной свободой всеобщего обмена".[обмен.](#)

История Конвента, по поводу которой Наполеон уже выразил свое неодобрение, снова пришла ему в голову; он был далек от того, чтобы быть удовлетворенным Лакретелем. “Предложений в избытке, ” повторил он, - и почти нет красок, нет глубины: он академик, но ни в коем случае не историк”. Он заставил меня позвонить моему сыну и продиктовал две нижеследующие заметки, которые я привожу дословно, какими бы несовершенными они ни были, поскольку он никогда не перечитывал их во второй раз. Все, что исходит от него, на мой взгляд, ценно.

## ПРИМЕЧАНИЕ I.

"Конвент, созданный законом Законодательного собрания для принятия новой конституции Франции, провозгласил Республику; не потому, что самые просвещенные не считали республиканский строй несовместимым с существующим состоянием нравов во Франции, а потому, что монархия не могла продолжаться без восшествия на трон герцога Орлеанского, что оттолкнуло бы значительную часть нации.

"Исполнительная власть, состоящая из пяти министров, была учреждена Конвенцией для ведения дел республики.

"Две партии боролись за господство в Национальном собрании: партия *жирондистов*, состоявшая из людей, имевших влияние на Законодательное собрание, и партия *Горы*, образованная Парижской коммуной, которая руководила зверствами 10 августа и 2 сентября и командовала населением столицы.

"Верньо, Бриссо, Кондорсе, Гваде и Ролан были лидерами жирондистов; Дантон, Робеспьер, Марат, Колло д'Эрбуа и Бийо-Варенн возглавляли Горы. Своим возвышением эти две партии были в равной степени обязаны принципам революции. Их проводники вышли из народных обществ, которые они последовательно подчинили своим взглядам.

"Партия жирондистов была более могущественна талантами и пользовалась исключительной популярностью в крупных провинциальных городах, особенно в Бурдо, Монпелье, Марселе, Кане, Лионе и др.

"Партия горы обладала большей энергией и энтузиазмом и была не менее популярна в столице и среди клубов департаментов.

"Партия жирондистов, которая в Законодательном собрании была самой яркой сторонницей революции, стала в Конвенте самой умеренной, потому что ей пришлось бороться там с фракцией гораздо более яростной, чем она сама, которая не нашла своего места в Собрании.

"Жирондисты называли своих противников фракцией сентября и постоянно упрекали их в ужасной резне, в которой они были повинны. Они обвинили их во вражде к национальному собранию и в попытке передать управление Францией Парижской коммуне; но этими средствами жирондисты только возбудили против себя якобинцев всех департаментов.

"Со своей стороны, Парижская коммуна (горцы) заклеила жирондистов именем федералистов и обвинила их в намерении установить во Франции федеративную систему, подобную Швейцарской. Они также обвинили их в попытке настроить провинции против столицы и таким образом вызвали к ним отвращение жителей Парижа, который мог поддерживать свое величие только за счет объединения всей территории. Когда жирондисты обвиняли горцев в массовых убийствах 2 сентября, последние упрекали первых в том, что во время Законодательного собрания они опрометчиво и без причины объявили войну всей Европе.

"Поначалу казалось, что жирондисты взяли верх в Конвенте, и они распорядились, чтобы Марат предстал перед судом и чтобы было возбуждено дело против сентябрьских убийц. Но Марат, поддержанный якобинцами и парижской коммуной, был оправдан революционным трибуналом и с триумфом вернулся в лоно собрания.

"Судебный процесс над королем стал еще одним яблоком раздора. Обе партии, казалось, действовали в унисон и, правда, проголосовали за его смерть; но большая часть жирондистов также проголосовала за обращение к народу; и здесь трудно понять причину их поведения во время этого кризиса. Если они хотели спасти короля, они были вольны это сделать; им нужно было только проголосовать за депортацию, изгнание или отсрочку рассмотрения вопроса; но приговорить его к смерти и поставить его судьбу в зависимость от воли народа было в высшей степени абсурдно и невежливо. Казалось, они желали, чтобы после падения монархии Франция была разорвана на куски гражданской войной.

"Общее мнение с самого начала революции, что самая дерзкая и неразумная фракция всегда будет преобладать, с этого момента подтвердилось. Жирондисты, однако, мужественно продолжали борьбу и очень часто имели большинство в собрании в течение всех месяцев марта, апреля и мая. Но партия горцев прибегла в этих обстоятельствах к средству, к которому она постоянно прибегала. 31 мая судьба жирондистов была решена восстанием парижских секций. Двадцать семь человек были арестованы, предстали перед революционным трибуналом и приговорены к смертной казни; семьдесят три были брошены в тюрьму, и с этого периода "Триумфальная гора" не встречала препятствий в работе Конвента. Однако несколько депутатов от жирондистов нашли убежище в Кане и там подняли знамя восстания. Лион, Марсель, Бордо, Монпелье и несколько городов Бретани встали на сторону этой партии, а также подняли оружие против Конвента.

"Все эти разрозненные усилия против столицы были бесполезны, и Гора оставалась в спокойном владении национальной трибуны. Совершенно исключительное обстоятельство способствовало утверждению превосходства Парижа. Это были ассигнации, которые в то время были единственным источником пополнения казны; тогда не было уплачено ни единого налога.

"Провинции с большим волнением узнали о событии 31 мая и смерти самого знаменитого представителя партии жирондистов. Армии не были взволнованы этими результатами; они не принимали участия в восстаниях в некоторых провинциях и оставались полностью приверженными Конвенту и господствующей партии в Париже.

"Когда стало известно о частичном восстании некоторых городов в пользу жирондистов, все армии уже принесли присягу и засвидетельствовали свою приверженность Горе; кроме того, в глазах французов Париж был Францией. Департаменты Эльзас, Мозель, Фландрия, Франш-Конте и Дофине, где были расквартированы основные силы республики, также не разделяли чувств городов-федералистов.

"31 мая лишило Францию людей больших талантов, ревностно преданных свободе и принципам революции. Катастрофа могла огорчить благонамеренных людей, но не могла заставить их врасплох. Для ассамблеи, которая вывела Францию из критического положения, в которое она попала, было невозможно заниматься общественными делами с двумя партиями, столь яростно и непримиримо противостоящими друг другу. Для безопасности республики было необходимо, чтобы одно уничтожило другое, и не может быть сомнения, что, одержи жирондисты победу, они отправили бы своих противников на эшафот".

Здесь император, который диктовал в своей обычной манере, только по памяти, без каких-либо исследований, независимо от того, был ли он недоволен выполненной задачей или покакой-

либо другой причине, остановился, чтобы, как он сказал, возобновить новую диктовку на ту же тему.

## ПРИМЕЧАНИЕ II.

"Конвент был учрежден в сентябре 1792 года и прекращен в октябре 1795 года, Его правление, длившееся почти три года, насчитывает четыре эпохи.

"1—е, от его начала до 31 мая 1793 года - эпоха разгрома жирондистов.

"2 марта 1794 года — свержение Парижской коммуны.

"3 июля 1794 года — падение Робеспьера.

"С 4—й по 14-ю Вандею (4 октября 1795 г.) - установление правительства Директории.

"Его *первая эра* состояла из восьми месяцев, вторая - из десяти, третья - из четырех, четвертая - из четырнадцати. Итого, три года.

"В свою первую эпоху Конвент постоянно был разделен между партиями Горы и Жиронды.

Дантон, Робеспьер, Марат, Колло-д'Эрбуа, Бийо-Варенн, Карно, Эро де Сешель были лидерами партии Горы.

"Бриссо, Кондорсе, Верняуд., Годе, Генсонне, Петион, Ласурс, Барбару возглавляли партию Жиронды.,

"Обе партии были одинаково враждебны бурбонам и роялистам.

"Люди первого отличались исключительной энергией, второго - выдающимися талантами. Они оба были сторонниками республиканского истеблишмента. Горцы стремились к Республике с целью уничтожения того, что существовало до революции, - как людей, так и вещей. Жирондисты были воодушевлены юношеским увлечением, которое сразу представило их взору Афины и Рим и оживило воспоминания о возвышенной древности.

"Существование горцев можно датировать временем Учредительного собрания. Они были зачинщиками клубов, широко известных под названием "Якобинский". Восстание на Марсовом поле было спланировано ими.

"Эта партия не получила допуска в Учредительное и Законодательное собрания.

"Жирондисты, преобладавшие в законодательном органе, были враждебны Конституции 1794 года и королю. Они не захотели браться за его защиту и позволили принести его в жертву усилиям Горы, которая, однако, также была их врагом. Именно горцы были виновниками зверств 20 июня, 10 августа и 2 сентября; тогда у них не было партии в ассамблее; но они вынудили жирондистов присоединиться к ним после их победы.

"*Первая эра* Конвента представляет собой борьбу жирондистов и альпинистов; жирондисты преобладали в то время благодаря своим выдающимся талантам, красноречию и уже приобретенной репутации. Президенты почти все были жирондистами; они обвинили Гору в намерении уничтожить Национальное собрание и установить на его месте Парижскую диктатуру. Они также упрекали его в сентябрьской резне.

"Гора", в свою очередь, обвинила их в желании создать федеративную республику, подобную Швейцарии, во враждебности по отношению к столице и в том, что они без причины ввели республику в состояние войны со всей Европой.

"Гора имела в своем распоряжении парижских якобинцев и большую часть народных обществ республики; парижская коммуна, секции, революционный трибунал и низшие классы населения столицы были преданы ее интересам.

"Жирондисты обладали большим влиянием на департаменты в целом и просвещенную часть нации; их партизаны были более многочисленны среди высшего класса общества. Жирондисты, которые занимали левую сторону в Законодательном собрании и проявляли такую враждебность к королю, министрам и правой стороне, или умеренной партии, были вынуждены поменяться местами и, в свою очередь, стать правой стороной, или умеренной партией, противостоящей неистовому и властному Маунтину, который отныне составлял левую сторону.

"Горцы, действуя по плану, принятому ими в Учредительном собрании, поставили себе на службу все страсти и с громкими криками потребовали смерти короля. Жирондисты могли бы, открыто защищая его, сохранить ему жизнь; они прибегли к своеобразной системе его осуждения и, уничтожив таким образом монархию, пожелали, чтобы приговор был подтвержден обращением к народу: другими словами, они хотели уничтожить Францию ужасами гражданской войны. Эта ложная комбинация погубила их. —Верньо, один из столпов их партии, объявил смертный приговор королю.

"Жирондисты были настолько сильны в Собрании, что потребовалось несколько месяцев труда и несколько дней восстания, чтобы уничтожить их влияние в Конвенте.

"Эта партия управляла бы Съездом и сокрушила бы Гору, если бы ее система поведения была более прямой и откровенной. Метафизики имели в этом слишком весомый перевес.

"*Вторая эра* Конвента - это царствование Горы. Двадцать два главных жирондиста погибли на эшафоте или пали от собственной руки; семьдесят три были брошены в тюрьму. Гора, управляемая абсолютной властью; она создала революционное правительство, и Конвент в массе своей добровольно подчинился игу Комитета общественного спасения и Революционного трибунала.

"В эту вторую эпоху заседания Конвента уже не походили на заседания первой; дискуссиям и свободе пришел конец; это был деспотизм Децемвиров. Некоторые из депутатов руководили Комитетами общей безопасности, финансов и т. Д. Другие были направлены Комитетом общественной безопасности в Армии и департаменты и стали настоящими проконсулами.

"С каждым месяцем, с каждой неделей, с каждым днем правительствовало все более свирепым и кровожадным. Всех тех, из высших слоев общества, кто не эмигрировал, сгрудили вместе в тюрьмах, как объекты подозрения, и сотнями отправляли на эшафот

"После такого обращения со всеми, кто происходил из знатной семьи, со священником, купцом или крупным собственником, крайности партии обернулись против нее самой, она железной рукой управляла якобинцами и Парижской коммуной: она поработила Конвент и угрожала ему полным уничтожением; она проповедовала атеизм и запрещала искусства, науки и все виды талантов. Художники и деятели науки были брошены в тюрьму как объекты подозрения, и было

время, когда Национальная библиотека и Сад растений были на грани сожжения и опустошения.

"Робеспьер и Дантон, преисполненные негодования по поводу этих безобразий, объединили свои усилия, чтобы остановить ужасающий рост народного безумия. Капуцины Шабо, Базир, Фабр д'Эглантин, Эбер, Шоме, Винсент и все их сообщники погибли на эшафоте.

"Впервые с начала Революции люди увидели людей, преданных смерти как ультрареволюционеров, а не как тех, кто хотел остановить Революцию. Их идеи были перевернуты с ног на голову и претерпели настоящую революцию.

"Тюрьмы были заполнены санкюлотами и всем, что было самым низменным в обществе. Было отмечено, что священники-отступники были многочисленны в этом классе.

"Народ без удивления и радости наблюдал за наказанием тех, кто до тех пор правил им, и это чувство было революцией, которая ускользнула от внимания Робеспьера и Дантона и которую они не знали, как обратить в свою пользу.

*"Третья эра* представляет собой зрелище, отличное от двух других. Дантон и Робеспьер без труда остановили революцию и положили конец власти Парижской коммуны; но после своего успеха они поссорились между собой.

Дантон, Камиль де Мулен, Эро де Сешель и Лакруа желали пойти еще дальше и положить конец убийствам Революционного трибунала. Дантон и Лакруа обогатились во время своей миссии в Бельгии. Камиль де Мулен, который с начала революции присвоил себе титул генерального прокурора "Фонаря", был очарован и смягчен молодой женой. У них хватило смелости потребовать, чтобы удар, который только что был нанесен Эберу или остальным членам партии Марата, был обращен на благо всей Республики — чтобы ни один невинный человек в будущем не был осужден — чтобы система террора была отменена — и чтобы был создан Комитет помилования.

Бийо-Варенн и Колло-д'Эрбуа, возглавлявшие Комитет общественного спасения и большую часть якобинцев, отвергли эти требования с негодованием и яростью; а Робеспьер, после некоторых колебаний, не осмелился поддержать Дантона и принес его в жертву. Дантон, Камиль де Мулен, Эро де Сешель и другие погибли на эшафоте, куда их потащил весь Комитет общественного спасения и разъяренные якобинцы. Люди были поражены ужасом и впервые не выразили никаких признаков удовлетворения.

"То, на что Робеспьер, однако, не осмелился и что он мог бы легко осуществить, если бы поддержал Дантона, он имел наглость предпринять после смерти Дантона. Чтобы положить конец атеизму, он провозгласил существование Бога и попытался восстановить добродетели, науки и искусства. Бийо-Варенн, Колло-д'Эрбуа и Баррер были поражены ужасом, увидев конец революционного правительства. Они сформировали коалицию со всеми представителями, которые своими миссиями вызвали пролитие человеческой крови, и со всеми многочисленными друзьями, которые были у Дантона в Конвенте, такими как Тальен, Фрерон, Лежандр; и когда Робеспьер набрался смелости изложить свой план подавления правления проконсулов и необходимости привлечения к ответственности низких личностей, которые сделали Революцию отвратительной в провинциях, он был отправлен на эшафот.

"Деяния 9 Термидора на самом деле представляли собой триумф Колло-д'Эрбуа и Бийо-Варенна, людей более ужасных и кровожадных, чем Робеспьер; но эта победа не могла быть одержана над якобинцами и коммуной, не призвав к действию всех граждан; так что по отношению к средним классам и народу смерть Робеспьера была смертью революционного правительства; и после различных колебаний те, кто хотел продолжать систему террора и пожертвовал собой, отказались от нее". Робеспьер, пожертвовавший Дантоном, потому что он желал смягчить и умерить революцию, оказался втянутым в нее общественным мнением и оказался под его властью.

"В течение последних десяти месяцев Робеспьер часто жаловался, что стал одиозным из-за того, что ему приписали все массовые убийства, которые были совершены. Люди, ставшие причиной его гибели, были более кровожадными и ужасными, чем он, но вся нация, которая долгое время приписывала все убийства Робеспьеру, воскликнула, что это была победа над тиранией, и эта вера положила этому конец".

На этом диктовка закончилась; император присоединился к общему разговору, и поскольку он никогда его не возобновлял, мы лишены четвертой эпохи.

## "МОНИТЕР" И СВОБОДА ПРЕССЫ.

13 июня. — Император только что просмотрел огромное количество номеров "Монитор". "Эти обозреватели, " сказал он, " столь ужасные и опасные для стольких репутаций, одинаково полезны и благоприятны только для меня. Именно с помощью официальных документов разумные люди и настоящие таланты будут писать историю; теперь эти документы полны духа моего правительства, и к ним я обращаюсь с серьезным и торжественным призывом". Он добавил, что сделал "Монитор" душой и кровью своего правительства и что это был промежуточный инструмент его общения с общественным мнением, как за границей, так и дома. С тех пор все правительства в той или иной степени следовали его примеру в этом отношении.

"Какая бы серьезная ошибка ни была совершена кем-либо из высокопоставленных чиновников, занятых во внутренних делах, немедленно, - сказал император, " было начато расследование тремя государственными советниками. Они представили мне свой отчет, подтвердили факты и обсудили принципы. Что касается меня, то мне ничего не оставалось, как написать внизу: *"Отправлен на казнь в соответствии с законами республики или империи"*. Мое вмешательство подошло к концу, общественный результат был достигнут, и общественное мнение отдало должное сделке. Это был самый грозный из моих трибуналов. Возникали ли какие-либо вопросы за границей относительно определенных крупных политических комбинаций или некоторых деликатных моментов дипломатии? На объекты косвенно намекали в *Moniteur*. Они мгновенно привлекли всеобщее внимание и стали темами общего расследования. Такое поведение было одновременно и закономерным сигналом для приверженцев трона, и в то же время обращением ко всеобщему мнению. "Монитор" подвергался упрекам за язвительность его заметок против врага. Но прежде чем мы осудим их, мы обязаны принять во внимание пользу, которую они могли принести, беспокойство, которое они иногда вселяли в противника, ужас, с которым они обрушивались на колеблющийся кабинет министров, стимул, который они придавали нашим союзникам, уверенность и дерзость, с которыми они вдохновляли наши войска".

Затем разговор зашел о свободе печати, и император поинтересовался нашим мнением. Мы долго и очень празднично беседовали на эту тему и высказали множество банальных идей. Некоторые отнеслись к этому враждебно. “Ничто, ” говорили они, “ не может противостоять свободе прессы. Она способна свергнуть любое правительство, взбудоражить любое общество, разрушить любую репутацию”. “Опасен только, ” замечали другие, “ его запрет. Если его ограничить, он превращается в мину, которая должна взорваться, но если предоставить его самому себе, это всего лишь разогнутый лук, который не может нанести раны ”. Здесь император заметил, что он далек от убеждения относительно этого пункта, но что это больше не является вопросом для рассмотрения; что в настоящее время существуют институты, и свобода печати входит в их число, о совершенстве которых мы больше не призваны судить, а единственно для определения возможности ограждения их от подавляющего влияния общественного мнения. Он заявил, что запрет при представительном правительстве является грубым анахронизмом, откровенным абсурдом. Поэтому, вернувшись с острова Эльба, он предоставил прессе заниматься всеми ее эксцессами и был твердо уверен, что они ни в коей мере не способствовали его недавнему падению. Когда в совете в его присутствии было предложено обсудить способы защиты авторитета государства от его посягательств, он шутливо заметил: “Джентльмены, вы, вероятно, хотите защитить самих себя, поскольку, что касается меня, отныне я буду оставаться посторонним ко всем подобным процедурам. Пресса исчерпала себя за время моего отсутствия, и теперь я бросаю вызов ей, чтобы она опубликовала что-либо новое или провоцирующее против меня ”.

## ВОЙНА И КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ ИСПАНИИ.—ФЕРДИНАНД В ВАЛЕНСИИ.— ОШИБКИ В ДЕЛАХ ИСПАНИИ.—ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЭТИХ СОБЫТИЙ И С.— ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО НАПОЛЕОНА МЮРАТУ.

14 Июня. Император был болен всю ночь и продолжал болеть в течение дня; он принял ванну для ног и не был расположен выходить; он обедал один в своих апартаментах и послал за мной ближе к вечеру.

Император начал разговор, постоянной темой которого была война в Испании. Из того уведомления, которое я уже сделал по этому поводу, было видно, что император взял на себя всю вину за эту меру. Я хочу по возможности избегать повторений и поэтому коснусь только тех тем, которые показались мне новыми.

“Старые король и королева, ” сказал император, - в момент этого события были объектами ненависти и презрения своих подданных. Принц Астурийский устроил против них заговор, вынудил их отречься от престола и сразу же объединил в своем лице любовь и надежды нации. Однако эта нация созрела для великих перемен и энергично требовала их. Я пользовался огромной популярностью в стране, и именно при таком положении вещей все эти личности встретились в Байонне: старый король взывал ко мне о мести своему сыну, а молодой принц просил моей защиты от своего отца и умолял дать ему жену из моих рук. Я решил использовать этот исключительный случай в своих интересах, чтобы избавиться от этой ветви Бурбонов и продолжить в моей собственной династии семейную систему Людовика XIV. и о том, чтобы связать Испанию с судьбами Франции. Фердинанда отправили в Валенсию, старого короля - в Марсель, как он и хотел, а мой брат Жозеф отправился править в Мадрид с либеральной конституцией, принятой испанской национальной хунтой, которая прибыла принять ее в Байонне.

“Мне кажется, - продолжал он, - что Европа и даже Франция никогда не имели правильного представления о положении Фердинанда в Валенсии. В мире существует странное непонимание по отношению к обращению, которому он подвергся, и, тем более, по отношению к его желаниям и личному мнению относительно этой ситуации. Дело в том, что в Валенсии его почти не охраняли и что он не хотел бежать. Если и были придуманы какие-то заговоры, чтобы способствовать его побегу, он был первым, кто сообщил о них. Ирландец (барон де Колли) получил доступ к его персоне и предложил от имени Георга Третьего похитить его; но Фердинанд, столь далекий от того, чтобы принять предложение, немедленно сообщил об этом в соответствующие инстанции.

“Его просьбы о том, чтобы я взял его в жены, не прекращались. Он спонтанно писал мне поздравительные письма по поводу каждого события, которое происходило в мою пользу. Он адресовал испанцам прокламации с рекомендацией подчиниться; он узнал Джозефа. Все это были обстоятельства, которые, действительно, можно было бы считать навязанными ему; но он попросил у него знаки отличия его великого ордена; он предложил мне услуги своего брата, дона Карлоса, принять командование испанскими полками, которые направлялись в Россию, — действия, которым он ни в коем случае не был обязан. Подводя итог всему, он искренне просил моего разрешения посетить мой двор в Париже, и если бы не позволил себе устроить зрелище, которое поразило бы Европу, продемонстрировав полное укрепление моей власти, то это было потому, что важные обстоятельства, вызвавшие меня за границу, и мои частые отлучки из столицы лишили меня надлежащей возможности”.

Примерно в начале года на одном из приемов императора я случайно оказался рядом с камергером графом д'Арбергом, который нес службу в Валенсии, рядом с особами испанских принцев. Когда император приблизился, он поинтересовался, прилично ли вели себя эти принцы, и добавил: “Вы принесли мне очень милое письмо; но, между нами говоря, это вы написали его для них”. Д'Арберг заверил его, что он совершенно не знаком даже с характером его содержания. “Что ж, - сказал император, - сын не мог бы написать своему отцу более сердечно”.

“Когда наше положение в Испании, ” заметил император, - стало опасным, я не раз предлагал Фердинанду вернуться и править своим народом; чтобы мы открыто вели войну друг против друга; и чтобы исход состязания решался судьбой оружия”. “Нет”, - ответил принц, который, по-видимому, получил хороший совет и никогда не отклонялся от этого образа мыслей. “Моя страна взбудоражена политическими беспорядками; я бы только умножил ее затруднения: я мог бы стать их жертвой и лишиться головы на эшафоте. Я остаюсь; но, если ты выберешь мне жену, если ты предоставишь мне свою защиту и поддержку своего оружия, я отправлюсь в путь и окажусь верным союзником”.

Позже, во время наших бедствий, ближе к концу 1813 года, я согласился на это предложение, и вопрос о браке Фердинанда со старшей дочерью Иосифа был решен; но обстоятельства тогда были уже не те, и Фердинанд пожелал, чтобы этот брак был отложен. “Ты больше не можешь, - заметил он, - поддерживать меня своими руками, и я не должен превращать свою жену в исключительный титул в глазах моего народа”. “Он покинул меня, - продолжал император, - как казалось, с самыми добрыми намерениями, ибо он придерживался принципов, которые он исповедовал при своем отъезде, вплоть до событий в Фонтенбло”.

Император заявил, что, сложись дела в 1814 году иначе, он, несомненно, заключил бы брак с дочерью Иосифа.

Император, возвращаясь к этим делам, сказал, что неблагоразумие его собственного поведения было бесповоротно решено результатами; но что независимо от такого рода доказательств, в зависимости от последствий, он должен был упрекать себя в серьезных ошибках в осуществлении своих планов. Одним из величайших было рассмотрение свержения династии Бурбонов как важного вопроса и сохранение в качестве основы этой системы для ее преемника именно того человека, который по своим качествам и характеру был уверен в ее крахе.

Во время встречи в Байонне бывший наставник Фердинанда и его главный советник (Эскойквис), сразу поняв масштабные планы императора и вступившись за своего учителя, сказал ему: "Ты хочешь совершить для себя своего рода геркулесов труд, когда у тебя в руках всего лишь детская игра. Вы хотите избавиться от испанских бурбонов; почему вы должны их опасаться? Они перестали существовать; они больше не французы. Вам нечего их бояться; они совершенно чужие по отношению к вашей нации и вашим манерам. У вас здесь мадам де Монморанси и несколько новых придворных дам; они знакомы с одной не больше, чем с другой, и относятся ко всем одинаково равнодушно. К сожалению, император принял иное решение.

Я взял на себя смелость сказать ему, что, по заверению некоторых испанцев, если бы национальная гордость была уважена и испанская хунта удерживалась в Мадриде, а не в Байонне, или даже если бы Карл IV. если бы Фердинанда отправили в отставку, а Фердинанда сохранили, революция была бы популярной, и дела приняли бы другой оборот. Император не сомневался в этом и согласился, что предприятие было предпринято неосмотрительно и что многие обстоятельства могли бы сложиться лучше. "Карл IV, - сказал он, - был, однако, слишком черств для испанцев. Фердинанда следовало рассматривать в том же свете. Наиболее достойным с моей стороны и наилучшим образом подходящим для моего проекта планом было бы своего рода посредничество, подобное швейцарскому. Я должен был дать либеральную конституцию испанскому народу и поручить Фердинанду ее исполнение. Если бы он действовал добросовестно, Испания должна была бы процветать и соответствовать нашим новым нравам. Великая цель была бы достигнута, и Франция приобрела бы близкого союзника и прибавку к мощи, поистине внушительную. Если бы Фердинанд, напротив, оказался неверным своим новым обязательствам, испанцы сами не преминули бы уволить его и обратились бы ко мне с просьбой назначить на его место правителя.

"Во всяком случае, " заключил император, - эта злосчастная война в Испании была настоящим бедствием и первой причиной бедствий Франции. После моих переговоров в Эрфурте с Александром Англия должна была быть вынуждена заключить мир силой оружия или разума. Она потеряла уважение континента; ее атака на Копенгаген вызвала отвращение в общественном мнении, в то время как я отличился в тот момент всеми противоположными преимуществами, когда представилась эта катастрофическая история с Испанией, которая внезапно изменила отношение ко мне и восстановила Англию в глазах общественности. С этого момента она получила возможность продолжать войну; перед ней открылась торговля с Южной Америкой; она сформировала для себя армию на полуострове и затем стала победоносным действующим лицом, главной точкой всех заговоров, которые вынашивались на континенте. Все это привело к моему краху.

Затем на меня обрушились обвинения, для которых, однако, я не давал никаких оснований. История воздаст мне должное. В том деле меня обвинили в вероломстве, в расставлении ловушек и недобросовестности, и все же я был совершенно невиновен. Что бы ни говорили об обратном, я никогда не разрывал никаких обязательств и не нарушал своего обещания ни в отношении Испании, ни в отношении какой-либо другой державы.

"Однажды мир убедится, что в основных сделках, связанных с Испанией, я был совершенно чужд всех внутренних интриг ее двора: что я также не нарушил ни одного обещания, данного Карлу IV. или Фердинанду VII: что я не нарушал никаких обязательств ни с отцом, ни с сыном; что я не прибегал к лжи, чтобы заманить их обоих в Байонну, но что они оба боролись за то, кто там должен быть первым. Когда я увидел их у своих ног и смог составить правильное мнение об их полной неспособности, я с состраданием взирал на судьбу великого народа; я с готовностью ухватился за единственную возможность, предоставленную мне судьбой, возродить Испанию, выволить ее из-под ига Англии и тесно объединить ее с нашей системой. По моему замыслу, это закладывало фундаментальную основу спокойствия и безопасности Европы. Но я был далек от того, чтобы прибегать для этой цели, как уже сообщалось, к каким-либо низким и ничтожным уловкам. Если я и ошибся, то, напротив, из-за смелой открытости и необычайной энергии. Байонна была ареной не преднамеренной засады, а грандиозного мастерского хода государственной политики. Я мог бы уберечь себя от этих обвинений, проявив немного лицемерия или отдав Князя Мира на растерзание народу; но сама мысль об этом показалась мне ужасной и поразила меня так, словно я должен был расплатиться кровью. Кроме того, следует также признать, что Мюрат причинил мне много вреда во всем этом деле.

"Как бы то ни было, я побрезговал прибегать к нечестным и банальным средствам - я обнаружил, что обладаю таким могуществом!— Я позволил себе нанести удар из слишком возвышенной ситуации. Я хотел действовать подобно Провидению, которое само по себе применяет средства к страданиям человечества, иногда жестокие, но за которые оно неподвластно человеческому суждению.

Однако я откровенно признаюсь, что я поступил во всем этом деле очень неосмотрительно; его безнравственность, должно быть, проявилась слишком открыто, его несправедливость - слишком вопиюще, и сделки, взятые в целом, представляют собой отвратительный аспект, особенно после моего провала; ибо безобразие больше видно только в его отвратительной наготе, лишенное всякой возвышенности идеи и многочисленных выгод, которые я намеревался даровать. Потомки, однако, превозносили бы это, если бы я преуспел, и, возможно, не без оснований, из-за его обширных и счастливых результатов. Такова наша участь и таково наше суждение в этом мире!... Но я еще раз заявляю, что ни в коем случае не было никакого нарушения веры, никакого вероломства или лжи, и, более того, для них не было повода". Здесь император возобновил, во всей полноте и по своему происхождению, историю испанского дела, повторив многое из того, что уже было замечено.

"Двор и царствующая семья, - сказал император, - разделились на две партии. Один был монархом, слепо управляемым своим фаворитом, Принцем Мира, который провозгласил себя настоящим королем; другой был предполагаемым наследником, возглавляемым его

наставником Эскойкисом, который стремился к власти. Эти две партии одинаково нуждались в моей поддержке и давали мне самые лестные обещания. Я, без сомнения, был полон решимости извлечь из их положения все возможные выгоды.

"Фаворит, чтобы остаться на своем посту, а также укрыться от мести сына в случае смерти отца, предложил меня от имени Карла IV. совместно осуществить завоевание Португалии, сохранив за собой в качестве убежища суверенитет Алгарве.

С другой стороны, принц Астурийский написал мне конфиденциально, без ведома своего отца, прося выбрать мне жену по моему выбору и умоляя меня о защите.

"Я заключил соглашение с первым и не дал ответа второму. Мои войска уже были допущены на полуостров, когда сын воспользовался суматохой, чтобы заставить своего отца отречься от престола и править вместо него.

"Мне безрассудно приписывали, что я принимал участие во всех этих интригах, но я был так далек от того, чтобы иметь о них какое-либо представление, что последнее событие, в частности, расстроило все мои планы с отцом, вследствие чего мои войска уже были в сердце Испании. С этого момента обе стороны осознали, что я могу и должен быть арбитром между ними. Свергнутый монарх и его сын обратились ко мне, один с целью отомстить, а другой - с целью быть признанным. Они оба поспешили отстаивать свое дело передо мной, и их подтолкнули соответствующие советники, те самые люди, которые безраздельно управляли ими и которые не видели иного способа сохранить свои жизни, кроме как броситься в мои объятия.

"Принц Мира, чудом избежавший смерти, легко убедил Карла IV. и его королеву отправиться в путешествие, поскольку им самим грозила опасность стать жертвами ярости толпы.

Со своей стороны, наставник Эскойквис, истинный виновник всех бедствий Испании, встревоженный протестом Карла IV против его отречения и в страхе перед эшафотом, если его ученик не восторжествует, использовал все средства, чтобы повлиять на молодого короля. Этот каноник, который, кроме того, был очень высокого мнения о своих собственных талантах, не отчаивался произвести впечатление на мои решения своими доводами и побудить меня признать Фердинанда, сделав меня от его имени претендентом на его услуги по управлению государством, полностью под моим контролем, настолько эффективно, насколько это было возможно принцу Мира, от имени Карла IV. И следует признать, - сказал император, - что, если бы я прислушался к некоторым из его доводов и принял некоторые из его идей, для меня было бы намного лучше.

"Когда я собрал их всех в Байонне, я почувствовал уверенность в своей политической системе, к которой раньше никогда не осмеливался стремиться. Я не продумал свои комбинации, но воспользовался моментом. Здесь я обнаружил перед собой Гордиев узел и разрубил его. Я сделал предложение Карлу IV. а королева - передать корону Испании мне и спокойно жить во Франции. Они согласились, я могу сказать, почти с радостью на это предложение, так сильно они были озлоблены на своего сына и так искренне они и их любимица желали наслаждаться в будущем спокойствием и безопасностью. Принц Астурийский не оказал особого сопротивления этому плану, но против него не применялись ни насилие, ни угрозы; и если он находился под влиянием страха, во что я очень хочу верить, это могло касаться только его.

"Вот вам в очень немногих словах полный исторический очерк событий в Испании; что бы ни было сказано или написано по этому поводу, оно должно соответствовать этому; и вы видите, что у меня не могло быть повода прибегать к ничтожным уловкам, лжи, нарушению веры или обязательств. Чтобы установить мою вину, было бы необходимо показать мою склонность к беспричинному самоуничтожению; но я никогда не приводил примеров этой склонности.

Что касается остального, то в тот момент, когда стало известно о моем решении, толпа интриганов, которые кишат при каждом дворе, и даже те из них, кто был наиболее активен в причинении несчастий своей стране, попытались выслужиться перед Иосифом, как они это сделали с Карлом IV. и Фердинанд VII. Они с необычайным усердием следили за развитием событий и позже перешли на другую сторону, по мере того как трудности возрастали, а наши бедствия приближались. Они осуществили свой план настолько успешно, что являются теми людьми, которые в данный момент управляют Фердинандом. И, что поистине ужасно, чтобы лучше укрепить свое влияние, они без колебаний приписывали все одиозное и преступное в прошлых бедствиях массе *простак*ов, которых они объявляли вне закона и изгоняли; из тех людей, которые от природы были доброжелательны и которые, в принципе, решительно винули путешествие Фердинанда. Из этого последнего класса несколько человек, выступавших против путешествия, впоследствии принесли присягу на верность Джозефу, который, казалось, тогда был связан со счастьем и спокойствием их страны, и продолжали быть верными ему до великой катастрофы, которая свергла его с трона.

"Было бы трудно накопить большую массу наглости и низости, чем та, которую продемонстрировали все эти интриганы, главные исполнители этой грандиозной сцены, которая, кстати, смягчает унижение, до которого подобные акты подлости довели [France](#) [France](#) в глазах Европы. Очевидно, что они принадлежат не только ей. Интригующих, амбициозных, алчных мужчин можно встретить повсюду, и они везде одинаковы. Виновы только отдельные люди; нации не могут нести ответственность. Их единственный недостаток заключается в том, что они вынуждены быть свидетелями этих злодеяний. Несчастлива страна, которая становится их ареной!"

В настоящее время испанское дело прекрасно известно благодаря трудам главных действующих лиц, каноника Эскойкиса, министра Севальоса и других, но прежде всего благодаря трудам достойного и респектабельного мсье Льюоренте, который под анаграмматической подписью Неллерто опубликовал Мемуары того времени, подтвержденные всеми официальными документами. Противоположные противоречия двух первых, их взаимные споры, утверждения и отрицания их современников снизили их реальную ценность, лишив их всего, что было ошибочным, фальшивым или даже сфабрикованным. Результатом является то, что, по мнению каждого хладнокровного и беспристрастного судьи, все они соглашаются, даже невольно, в подтверждении обосновывающих утверждений, выдвинутых Наполеоном; не только потому, что они демонстрируют то различие, которое неизбежно должно проистекать из разнообразия партийных интересов; но исключительно потому, что ни один из них фактически не устанавливает оснований для позитивной криминализации и не предоставляет никаких официальных документов, с помощью которых это можно было бы доказать, в то время как все существующие свидетельствуют и устанавливают обратное.

В истории этих сделок, которую теперь следует считать подлинной, можно также отметить, что сама Англия была совершенно незнакома с ними, по крайней мере, в том, что касалось их

происхождения, - факт, который был далек от образа мыслей Наполеона, который в то время обвинял англичан в том, что они были первой причиной всех интриг, и который все еще настаивал на обвинении на острове Святой Елены: он так привык обнаруживать их в основе каждого заговора, составленного против него.

Что касается этого дела в Испании, то я должен далее обратить внимание на письмо императора, которое проливает на этот предмет больше света, чем тома. Она достойна восхищения, и последующие события провозгласили ее шедевром. Она демонстрирует быстроту, орлиный взор, с которым Наполеон формировал свое мнение о людях и вещах.

К сожалению, это также показывает, насколько казнь подчиненных, применявшаяся в течение большей части того времени, разрушила самые прекрасные и возвышенные концепции; и с этой точки зрения это письмо остается очень ценным документом для истории. Его дата делает его пророческим.

“29 марта 1808 года.

“Господин великий герцог де Берг— я боюсь, как бы вы не обманули меня относительно положения Испании, а также как бы вам не пришлось обманывать себя. События необычайно осложнились в результате сделки, совершенной 20 марта. Я нахожусь в большом замешательстве.

*“Не верьте, что вы собираетесь напасть на безоружную нацию и что вы можете простым парадом своих войск добиться покорения Испании. Революция 20 марта доказывает, что испанцы обладают энергией. Вы должны бороться с новым народом; он обладает всем мужеством и проявит весь энтузиазм, который проявляют люди, не измученные политическими страстями.*

“Аристократия и духовенство - хозяева Испании. Если их привилегии и существование окажутся под угрозой, они в массовом порядке введут войска против нас, что может увековечить войну. Я не лишен своих сторонников, но если я покажу себя победителем, они покинут меня.

“Князя Мира ненавидят, потому что его обвиняют в том, что он предал Испанию Франции. Это та обида, которая способствовала узурпации власти Фердинандом. Народная партия - самая слабая партия.

“Принц Астурийский не обладает ни одним качеством, необходимым для главы нации. Это не помешает ему быть причисленным к героям, чтобы он мог противостоять нам. Я не допущу применения насилия к представителям этой семьи. Возбуждение ненависти и разжигание вражды никогда не достигнет цели. В Испании под ружьем сто тысяч человек, больше, чем необходимо для ведения внутренней войны с преимуществом. Разбросанные по нескольким частям страны, они могут послужить опорными пунктами для тотального свержения монархии.

Я излагаю вам все препятствия, которые неизбежно должны возникнуть. Есть и другие, о которых вы должны знать. Англия не упустит возможности ускользнуть от нее, не усугубив наших затруднений. Она ежедневно отправляет пакетботы вооруженным силам, которые она содержит на побережьях Португалии и в Средиземном море; и она привлекает к своей службе сицилийцев и португальцев.

“Поскольку королевская семья покинула Испанию не с целью обосноваться в ее американских колониях, положение в стране может быть изменено только революцией. Это, пожалуй, самый неподготовленный город в Европе из всех остальных. Тех, кто осознает чудовищные недостатки этого правительства и анархию, заменившую законную власть, меньше всего. Эти недостатки и эта анархия используются в своих интересах наибольшим числом людей.

“Я могу, руководствуясь интересами моей империи, принести много пользы Испании. Какие средства лучше всего использовать?

“Должен ли я отправиться в Мадрид? Должен ли я взять на себя должность великого протектора при выборе между отцом и сыном?” Мне кажется, поддерживать Карла IV непросто. на троне. Его правительство и его фаворит настолько непопулярны, что они не смогли бы продержаться и трех месяцев.

“ Фердинанд - враг Франции, и именно этому соображению он обязан короной. Его восхождение на трон было бы выгодно фракциям, которые в течение двадцати пяти лет стремились к разрушению Франции. Семейный союз был бы лишь слабой связью. *Королева елизавета и другие французские принцессы* погибли ужасной смертью, когда их можно было безнаказанно принести в жертву жестокому духу мести. Мое мнение таково, что ни с чем не следует торопиться и что наши меры должны регулироваться событиями по мере их возникновения. Необходимо будет усилить *corps d'armée d'armée*, который будет размещен на границах Португалии, и ждать....

“Я не одобряю поведение вашего императорского высочества, столь поспешно сделавшего себя хозяином Мадрида. Армию следовало держать в десяти лье от столицы. У вас не было уверенности в том, что народ и магистратура вот-вот признают Фердинанда без борьбы. У Князя Мира, конечно, должны быть сторонники среди тех, кто занят на государственной службе; существует также обычная привязанность к старому королю, которая может привести к неприятным последствиям. Ваше появление в Мадриде, встревожившее испанцев, оказало огромную помощь Фердинанду. Я приказал Савари присутствовать при новом короле и наблюдать за происходящим. Он согласует это с вашим императорским высочеством. Позже я приму решение о мерах, которые необходимо предпринять. В то же время, я считаю уместным предписать вам следующую линию поведения:

- Вы не поручите мне встретиться с Фердинандом в *Испании*, если только не сочтете положение вещей таким, что я должен признать его королем Испании. Вы будете относиться с вниманием и уважением к королю, королеве и принцу Годю. Вы будете требовать от них и оказывать им те же почести, что и раньше. Вы устроите все так, чтобы у испанцев не возникло никаких подозрений относительно курса, которым я буду следовать. Вы не найдете в этом никаких трудностей, поскольку я сам ничего об этом не знаю.

“Вы дадите понять дворянству и духовенству, что, если потребуется вмешательство Франции в дела Испании, их привилегии и иммунитеты должны уважаться. Вы заверите их, что император желает улучшения политических институтов Испании, чтобы поставить ее в положение, сравнимое с положением цивилизованной Европы, и избавить ее от правления фаворитизма. Вы скажете магистратам, жителям городов и просвещенным классам, что правительственная машина нуждается в реконструкции, что Испании нужна система законов, рассчитанных на защиту народа от тирании и узурпации феодализма, и учреждений, которые могут возродить

промышленность, сельское хозяйство и искусство. Выпишите им состояние спокойствия и непринужденности, которым наслаждается Франция, несмотря на войны, в которые она постоянно вовлечена, и великолепие религии, которая обязана своим установлением Конкордату, который я подписал с Папой. Вы объясните им преимущества, которые они могут извлечь из политического возрождения — порядок и мир дома, уважение и влияние за границей. Таким должен быть дух ваших бесед и ваших писем. Не рискуйте ничем поспешно. Я могу подождать в Байонне, я могу перейти Пиренеи и, укрепившись на пути к Португалии, я могу отправиться и вести войну в этом квартале.

“Я позабочусь о ваших конкретных интересах, не думайте о них сами. Португалия будет в моем распоряжении. Не позволяйте никаким могущественным объектам привлекать вас и влиять на ваше поведение; это было бы вредно для меня и еще более вредно для вас самих.

“Вы слишком поспешны в своих инструкциях от 14-го числа; марш, который вы приказываете предпринять генералу Дюпону, слишком стремителен из-за событий 19 марта. Они должны быть изменены; вы примете новые меры; вы получите инструкции от моего министра иностранных дел.

“Я предписываю поддерживать строжайшую дисциплину; малейшие провинности не должны оставаться безнаказанными. К жителям следует относиться с величайшим вниманием. Прежде всего, необходимо уважать церкви и монастыри.

“Армия должна избегать любых недоразумений с корпусами и подразделениями испанской армии; не должно быть ни единой вспышки на сковороде ни с одной из сторон.

“Пусть Солано выйдет за пределы Бадахоса, но следите за его движениями. Вы сами отслеживаете марши моей армии, чтобы ее всегда можно было держать на расстоянии нескольких лье от испанского корпуса. Если начнутся военные действия, все будет потеряно.

“Судьба Испании может быть решена только политическими взглядами и путем переговоров. Я приказываю вам избегать любых объяснений с Солано, а также с другими испанскими генералами и губернаторами. Вы будете присылать мне два экспресса ежедневно. В случае событий, представляющих повышенный интерес, вы пришлете ординарцев. Вы немедленно отправите обратно камергера де Т., доставившего эту депешу, и предоставите ему подробный отчет.

“Я молю Бога, господин великий герцог де Берг и другие.

(Подпись) "Наполеон”.

15 июня. —Погода была превосходная; мы вышли проветриться в нашей коляске и заметили совсем недалеко от берега большое судно, которое, казалось, маневрировало необычным образом. По внешнему виду мы приняли его за "Ньюкасл", который в течение некоторого времени должен был прийти на смену "Нортумберленду"; но это был всего лишь один из кораблей Компании.

В течение части дня император, перебрав множество тем, наконец упомянул нескольких человек, которые, по его словам, были бы на свободе и присоединились бы к нему на острове Святой Елены, и он взялся объяснить мотивы, которыми на них можно было бы повлиять. Перейдя от этой темы, он коснулся мотивов тех, кто был рядом с ним. “Бертран, - сказал он, -

отныне отождествляется с моей судьбой. Это исторический факт. Гурго был моим первым санитаром, он - моя собственная работа, он - мое детище. Монтолон - сын Семонвиля, шурин Жубера, дитя революции и лагерей. Но вы, мой добрый друг, - обратился он к четвертому, “ вы, - и после минутного раздумья продолжил: “ Вы, мой добрый друг, сообщите нам, по какой невероятной случайности вы оказались здесь? Ответ был таков: “Сир, под влиянием моей счастливой звезды и ради чести эмигрантов”.

## СТАТЬИ, ПРИСЛАННЫЕ ИЗ АНГЛИИ.—РЕШЕНИЕ ИМПЕРАТОРА ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОПКА ВО ФРАНЦИИ.—КОНФЕРЕНЦИИ В ТИЛЬЗИТЕ.—КОРОЛЕВА ПРУССИИ.—КОРОЛЬ.—ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР.—АНЕКДОТЫ И Т. Д.

16 июня. Погода была восхитительная; император вошел в мои апартаменты около десяти часов. Я была занята тем, что одевалась, а также диктовала сыну свой дневник. Император на несколько мгновений окинул его взглядом и ничего не сказал; он оставил его, чтобы посмотреть на какие-то рисунки. Это были топографические зарисовки некоторых сражений в Италии, сделанные моим сыном, выполненные пером, и мы с удовольствием приберегли их в качестве приятного сюрприза для императора. До тех пор мы работали над ними тайно.

Я последовал за императором в сад; он много говорил о предметах, которые только что прислали нам из Англии и которые состояли главным образом из мебели. Он разоблачил грубость и неловкость тех, кого наняли, чтобы доставить их нам. Он заметил, что, представляя даже то, что было бы для нас наиболее приятным, они находили способы задеть наши чувства. По этой причине он был полон решимости не пользоваться ими и отказался принять два охотничьих ружья, которые предназначались специально для него. Император завтракал на свежем воздухе, и мы все были приглашены к его столу.

Когда разговор зашел о моде и одежде, император сказал, что в какой-то период он решил запретить использование хлопка во Франции, чтобы более эффективно поощрять торговлю газоном и батистом в наших городах Фландрии. Императрица Жозефина была шокирована этой идеей, против которой она решительно выступила, и от нее отказались.

Император был в хорошем расположении духа для беседы, а погода стояла очень мягкая и сносно приятная. Он пошел по переулку, идущему перпендикулярно перед домом. Разговор зашел о знаменитой эпохе Тильзита, и ниже приводятся интересные подробности, которые я собрал.

Император заметил, что, если бы королева Пруссии прибыла в начале переговоров, она могла бы оказать значительное влияние на результат. К счастью, она прибыла, когда они продвинулись достаточно далеко, чтобы император мог принять решение об их завершении двадцать четыре часа спустя. Считалось, что король воспрепятствовал ее раннему появлению на публике из-за растущей ревности к важной персоне, которая, как уверенно заявлял император, “не была лишена некоторых незначительных оснований”.

В момент ее прибытия император нанес ей визит. “Королева Пруссии, - сказал он, - была очень красива, но она начала терять часть очарования своей юности”.

Император заявил, что королева приняла его как мадемуазель Дюшенуа в образе Химены, принявшую величественную позу, требовательную, громко взывающую к справедливости.

Короче говоря, это была совершенно театральная сцена: представление было поистине трагическим. На мгновение он лишился дара речи и подумал, что единственный способ выкрутиться - это вернуть разговор в русло обычной комедии, что он и попытался, предложив ей стул и мягко заставив ее сесть. Тем не менее она продолжила самым патетическим тоном. “Пруссия, — воскликнула она, - была ослеплена своим могуществом; она осмелилась сразиться с героем, противопоставить себя судьбам Франции, пренебречь его благоприятной дружбой; она была заслуженно наказана за это. Слава великого Фредерика, память о нем и его наследство раздули гордость Пруссии и привели к ее гибели!” Она просила, умоляла, умоляла. Магдебург, в частности, был объектом ее усилий и желаний. Император держался на своем, насколько мог. К счастью, появился муж. Королева выразительным взглядом упрекнула его за несвоевременное вмешательство и проявила некоторую раздражительность. На самом деле король попытался принять участие в разговоре, испортив все дело, “и я был, - сказал император, - освобожден”.

Император развлекал королеву за ужином. Она использовала, сказал он, все свое остроумие против меня; у нее его было много; все ее манеры, которые были очень обворожительны; все ее кокетство; она была не лишена очарования. “Но я был полон решимости не сдаваться. Однако я считал необходимым держать себя в руках, чтобы оставаться свободным от всякого рода обязательств и от любого выражения, которое могло быть воспринято в сомнительном смысле, и тем более потому, что за мной внимательно наблюдали, и особенно со стороны Александра”. Перед тем как сесть за стол ужинать, Наполеон взял с цветочного столика очень красивую розу, которую он подарил королеве. Сначала она движением своей руки выразила своего рода заранее подготовленный отказ; но, внезапно опомнившись, сказала: *Да, но по крайней мере с Магдебургом*. Император ответил: “Но ... Я должен заметить вашему величеству, что это я присутствую, а вы вот-вот его получите”. В таком ключе прошел обед и оставшаяся часть времени.

Королева сидела за столом между двумя императорами, которые соперничали друг с другом в галантности. Ее поместили у самого лучшего уха Александра, которым он почти ничего не слышал. Наступил вечер, и, когда королева удалилась, император, который проявлял самое обаятельное внимание к своим гостям, но в то же время часто доводился до крайности, решил перейти к делу. Он послал за г-ном де Талейраном и принцем Куракином, много говорил с ними и, отпустив несколько резких слов, заметил, что, в конце концов, женщина и проявление галантности не должны изменять систему, разработанную для судьбы великого народа, и что он настаивал на немедленном завершении переговоров и подписании договора, что и произошло по его приказу. “Таким образом, - сказал он, - разговор королевы Пруссии продвинул заключение договора на неделю или две”.

Королева готовилась возобновить свои атаки на следующий день и была возмущена, когда услышала, что договор подписан. Она много плакала и решила больше не встречаться с императором Наполеоном. Она не приняла второго приглашения на обед. Александру пришлось самому уговаривать ее. Она очень горько жаловалась и утверждала, что Наполеон нарушил свое слово. Но Александр всегда был рядом. Он даже был опасным свидетелем, готовым свидетельствовать о малейшем действии или слове Наполеона в ее пользу. “Он не давал вам никакого обещания”, - таково было его замечание ей. “Если вы сможете доказать обратное, я здесь клянусь себе, как мужчина мужчине, заставить его сдержать свое обещание, и он сделает это, я убежден”. — “Но он дал мне понять”, - сказала она... “Нет, ” ответил

Александр, “и тебе не в чем его упрекнуть”. Наконец она пришла. Наполеон, у которого больше не было повода быть настороже по отношению к ней, удвоил свое внимание. Несколько мгновений она изображала из себя оскорбленную кокетку, а когда обед закончился и она собралась уходить, Наполеон подал ей руку и проводил до середины лестницы, где остановился. Она схватила его руку и сказала с некоторой нежностью: “Возможно ли, что после того, как я имел честь быть так близко к герою века и истории, он не оставит мне силы и удовлетворения от возможности заверить его, что привязал меня к нему на всю жизнь?” — “Сударыня, - ответил император серьезным тоном, “меня следует пожалеть; это результат моей несчастливой судьбы”. Затем он попрощался с ней. Добравшись до своей кареты, она бросилась в нее в слезах; послала за Дюроком, которого она очень уважала, повторила ему все свои жалобы и сказала, указывая на дворец: “Вот место, в котором я была жестоко обманута!”

“Королева Пруссии, ” сказал император, - была, несомненно, одарена многими замечательными способностями; она обладала большим объемом информации и многими превосходными способностями. Именно она действительно правила более пятнадцати лет. Она также, несмотря на мою ловкость и все мои усилия, взяла на себя инициативу в разговоре и постоянно сохраняла господство. Возможно, она слишком часто касалась своей любимой темы, но делала это, однако, с большим правдоподобием и без малейшего повода для беспокойства. Следует признать, что она имела в виду важную цель и что времени было мало, но оно было драгоценно”.

“Одна из высоких договаривающихся сторон, ” сказал император, “часто уверяла ее, что ей следовало приехать с самого начала или не приезжать вовсе, и замечала, что, со своей стороны, он сделал все, что было в его силах, чтобы побудить ее приехать немедленно. Подозревалось, ” продолжал император, “что у него были личные мотивы радоваться ее приезду; но, с другой стороны, у мужа были не менее личные мотивы противодействовать этому”. Наполеон считал его очень добрым и искренним другом в этом бизнесе.

“Король Пруссии, - сказал император, - попросил разрешения на аудиенцию в тот же день, но я отложил ее на двадцать четыре часа по тайной просьбе Александра. Король Пруссии так и не простил меня за то, что я отложил эту аудиенцию; ему так ясно казалось, что мое отказом оскорбило королевское величество.

“Еще одним тяжелым обвинением против меня, от которого он так и не смог избавиться, было то, что я нарушил, как он сказал, его территорию Аншпах во время нашей кампании при Аустерлице. Во всех наших последующих интервью, какими бы важными ни были темы нашего обсуждения, он откладывал их все в сторону с целью доказать, что я действительно вторгся на его территорию Аншпах. Он был неправ; но, короче говоря, это было его убеждение, и его негодование было негодованием честного человека. Его жена, однако, была раздосадована этим и хотела, чтобы он занялся более высокой политической деятельностью”.

Наполеон упрекал себя в том, что допустил присутствие короля Пруссии в Тильзите. Его первым решением было предотвратить его приезд. Тогда он был бы менее обязан проявлять какое-либо внимание к своим интересам. Он мог бы сохранить Силезию, он мог бы увеличить Саксонию с ее помощью и, вероятно, оставил бы для себя судьбу иного рода. Далее он заметил: “Я узнал, что политики наших дней придираются к моему Тильзитскому мирному договору; они обнаружили, что таким образом я отдал Европу на милость русских; но если бы я преуспел в Москве, и теперь известно, как близко я был к этому, они, без сомнения, восхитились бы нами за

то, что мы, напротив, этим договором отдали русских на милость Европы. Я вынашивал великие планы в отношении немцев.... Но я потерпел неудачу, и поэтому я был неправ. Это соответствует всем правилам справедливости ....”

Почти каждый день в Тильзите два императора и король выезжали вместе верхом, но, по словам Наполеона, “последний всегда был неуклюжим и невезучим”. Пруссак были явно обескуражены этим. Наполеон постоянно находился между двумя суверенами; но либо король отставал, либо толкал и мешал Наполеону. По возвращении он проявил ту же неловкость: оба императора мгновенно спешили и, взяв друг друга за руки, вместе поднялись по лестнице. Но, поскольку почести были оказаны Наполеоном, он не мог войти, не увидев сначала проходящего короля. Иногда приходилось долго ждать его, и, поскольку погода часто была дождливой, случилось так, что оба императора промокли из-за короля, к большому неудовольствию всех зрителей.

“Эта неловкость, ” сказал император, “ была тем более вопиющей, что Александр обладает всеми достоинствами и по элегантности манер не уступает самым изысканным и милым украшениям наших парижских гостиных. Последний временами так уставал от своего спутника, который, казалось, был погружен в свои собственные огорчения или во что-то еще, что мы обоюднo договорились прервать наше общее собрание, чтобы избавиться от него. Мы расстались сразу после ужина под предлогом какого-то особого дела; но вскоре после этого мы с Александром встретились, чтобы выпить друг с другом чаю, а затем продолжали беседовать до полуночи и даже дольше”.

Александр и Наполеон снова встретились некоторое время спустя в Эрфурте и обменялись самыми поразительными свидетельствами привязанности. Александр искренне выразил чувства нежной дружбы и неподдельного восхищения, которые он питал к Наполеону. Они провели несколько дней вместе, наслаждаясь прелестями совершенной близости и самыми фамильярными разговорами частной жизни. “Мы были, - сказал император, - двумя знатными молодыми людьми, у которых в их общих удовольствиях не было секретов друг от друга”.

Наполеон послал за самыми выдающимися артистами французского театра. Знаменитая актриса, мадемуазель Б., привлекла внимание его гостя, которому на мгновение захотелось познакомиться с ней. Он спросил свою спутницу, не возникнет ли в результате каких-либо неудобств. “ Никаких, ” ответил тот. “ Только, - намеренно добавил он, - это верный и быстрый способ заявить о себе всему Парижу. Послезавтра, послезавтра, самые мельчайшие детали будут отправлены, и в скором времени в Париже появится не скульптура, а модель, изображающая вас с головы до ног ”. Опасность такого рода огласки успокоила растущую страсть монарха; “ибо, - заметил Наполеон, - он был очень осмотрителен в этом вопросе и, без сомнения, помнил старую пословицу: “ Когда маска падает, герой исчезает”.

Император заверил нас, что, будь его воля, Александр, несомненно, выдал бы его замуж за свою сестру; его политика продиктовала бы этот брак, даже если бы он был против него. Он окаменел, когда услышал о браке с Австрией, и воскликнул— “Это отсылает меня в мои родные леса”. Если поначалу казалось, что он колеблется, то это потому, что ему требовалось некоторое время, чтобы прийти к решению. Его сестра была очень молода, и требовалось согласие его матери. Это было решено по воле Павла, а императрица-мать была одним из злейших врагов Наполеона. Она верила всем нелепостям, всем нелепым историям, которые распространялись о нем. “Как, ” воскликнула она, - могу я отдать свою дочь мужчине, который не годится ни одной

женщине в мужа? Может ли другой мужчина завладеть постелью моей дочери, если это будет необходимо, чтобы у нее были дети? Она не создана для такой судьбы". — "Мама, - сказал Александр, - неужели ты настолько легковерна, чтобы верить лондонской клевете и намекам парижских салонов? Если это единственная трудность, если только это причиняет вам боль, я отвечаю за него, и многие другие могут ответить за него вместе со мной".

"Если привязанность Александра ко мне была искренней, - сказал император, - то она была отчуждена от меня силой интриг. Определенные лица, М. или другие, по наущению Т., не упустили удобного случая упомянуть о случаях, когда я выставлял его на посмешище, и они заверили его, что в Тильзите и Эрфурте, как только он поворачивался спиной, я пользовался случаем посмеяться над ним. Александр очень впечатлителен, и они, должно быть, легко запудрили ему мозги. Несомненно, он горько жаловался на это в Вене во время конгресса, и все же ничто не было более фальшивым; он нравился мне, и я любила его".

С., один из адъютантов Наполеона, был направлен сразу после заключения Тильзитского мирного договора к Александру в Петербург и был осыпан милостями. Усилия и щедрость Александра были неистощимы, чтобы сделать себя приятным своему новому союзнику.

Этот же адъютант впоследствии стал министром полиции, а в 1814 году, вскоре после реставрации, он, как говорят, сделал поразительный намек на свою миссию в России. Человек, пользующийся глубоким доверием короля, обращаясь к нему в Тюильри в совершенно небрежной и откровенной манере, сказал: "Теперь, когда все кончено, вы можете высказаться; скажите на милость, кто был вашим агентом в Хартвелле?" (Как всем известно, это была резиденция Людовика XVIII. в Англии.) С., удивленный недостатком деликатности, проявленным г-ном де Б., с достоинством ответил: "Господин граф, император считал убежище королей неприкосновенным убежищем. Это был принцип, который он внушил своей полиции, и мы придерживались его. Впоследствии мы узнали, что в отношении него такого поведения не наблюдалось. Но у вас, сэр, должно быть меньше сомнений по этому поводу, чем у любого другого человека. Когда я прибыл в Петербург, вы были там со стороны короля. Император Александр, в первый момент своего примирения, ознакомил меня со всем, что касалось вас, и спросил меня, желает ли мое правительство, чтобы вам было приказано покинуть его владения. Я не получал никаких инструкций на этот счет. Я написал за ними императору. Его ответ, доставленный курьером, заключался в том, что он удовлетворен искренней дружбой Александра; что он никогда не будет вмешиваться в его личные дела; что он не питает личной ненависти к бурбонам; и что, если он считает, что для них возможно принять это, он предложит им убежище во Франции и любую королевскую резиденцию, которая может быть им приятна. Если вы тогда не знали об этих инструкциях, вы, без сомнения, найдете их среди бумаг министерства иностранных дел".

## ПРИБЫТИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМИССАРОВ.—ВЫНУЖДЕННЫЙ ЭТИКЕТ НАПОЛЕОНА.—АНЕКДОТЫ.—ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ; ПОДРОБНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕСТА ВСТРЕЧИ, ОБЫЧАЕВ И Т.Д.—УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕКОТОРЫХ ЗАСЕДАНИЯХ; ОТСТУПЛЕНИЕ.—ГАССЕНДИ.—ХОРВАТСКИЙ ПОЛК.—ПОСЛЫ.—НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ.—УНИВЕРСИТЕТ И Т.Д.

17 июня.—Император выехал рано утром. Он заказал коляску, чтобы прокатиться перед завтраком. Когда он садился в него, нам сообщили, что военный корабль "Ньюкасл" и фрегат "Оронт" лавируют, чтобы войти в порт. Эти два судна обогнули остров ночью и были вынуждены двигаться с наветренной стороны. Они отплыли из Англии 23 апреля и привезли законопроект о задержании императора. Английское законодательное собрание санкционировало законом решение министров по этому вопросу. На борту этих судов находились представители Австрии, Франции и России.

В течение дня император, говоря о формах и костюмах, которые он установил, и об этикете, который он ввел, сказал, сказал: "Мне было очень трудно подчиняться своим собственным наклонностям. Я начал привлекать всеобщее внимание. Необходимость заставляла меня соблюдать определенную степень торжественности; принять определенную систему торжественности; одним словом, установить этикет. В противном случае я был бы каждый день подвержен тому, что меня хлопнут по плечу. Во Франции мы, естественно, склонны к неуместной фамильярности, и мне приходилось особенно остерегаться тех, кто сразу, без всякой предварительной подготовки, становился образованными людьми. Мы очень легко становимся придворными; вначале мы очень подобострастны и падки на лесть и преклонение; но если это не подавлять, вскоре возникает определенная фамильярность, которая с большой легкостью может дойти до влияния. Хорошо известно, что наши короли не были освобождены от этого неудобства". Здесь император сослался на очень характерный анекдот времен Людовика XIV — о придворном, о количестве детей которого принц поинтересовался на приеме. "Четыре, сир," последовал ответ. Король, имея возможность поговорить с ним два или три раза публично в течение дня, задал ему точно такой же вопрос: "Скажите на милость, сэр, сколько у вас детей?" Ответ был неизменно один и тот же: "Четыре, сир". Наконец, поскольку король вечером был за игрой, он повторил обычный вопрос. "Сколько у вас детей?" — "Шестеро, сир". — Как "Какая это может быть чума?" - спросил король, - "Ведь, если я правильно помню, вы говорили мне, что у вас их всего четыре". - "Право, сир, я боялся утомить вас постоянным повторением одного и того же".

"Сир, - обратился один из присутствующих к императору, - я могу привести случай из соседней страны, достойный того, что мы только что услышали, и который может позволить нам сравнить беспричинную наглость придворного абсолютного монарха с открытым негодованием человека, которому нечего бояться своего конституционного суверена.

"Человек, вращающийся в кругах лондонской светской жизни, должен был пожаловаться на важную персону, которая очень дурно с ним обошлась, и пообещал своим друзьям получить мнимое удовлетворение. Узнав, что великая персона должна почтить своим присутствием очень блестящую компанию, он пришел к себе в ранний час и расположился рядом с хозяйкой дома. Важная персона засвидетельствовал свое почтение даме и, после обычных комплиментов, собираясь присоединиться к остальной компании, едва успел обернуться, как оскорбленный человек, небрежно наклонившись к ней, громко спросил: "Кто твой толстый друг?" Леди

покраснела, тронула его локтем и прошептала: "Умоляю, придержи язык, разве ты не видишь, что это принц?" Джентльмен ответил более высоким тоном, чем прежде: "Как, принц!— Ну, клянусь честью, он растолстел, как свинья".

Каждый волен сам решать, каковы относительные недостатки этих двух наглых персонажей. И то, и другое, без сомнения, заслуживает порицания, и если в поведении нашего соотечественника меньше грубости, то следует также признать, что его дерзость совершенно бесцельна и совершенно беспричинна.

В течение другой части дня император подолгу беседовал о заседаниях Государственного совета. Я указал на некоторые из них, а о других мы имели лишь сомнительные воспоминания; или они вообще выскользнули из нашей памяти. "Что ж", "Что ж", - сказал он, - через короткое время от них не останется и следа". Будучи не в состоянии заснуть, я думал, эти слова, и попытался вспомнить, как тщательно, как только мог, все, что я был знаком с соблюдением Государственный Совет;—место его заседаний, обычаи, формы, и т. д.; и я не думаю, что может лучше использовать досуга наших одиночество на острове Святой Елены, чем рассказ о них здесь. Время от времени я буду добавлять то, что смогу вспомнить о заседаниях, на которых я присутствовал. Есть люди, для которых эти подробности не будут лишены интереса.

Зал Государственного совета в Тюильри, место, где обычно проводились заседания, находился с одной стороны с часовней и по всей длине. В перегородке было несколько больших дверей, которые, распахиваясь по воскресеньям, образовывали проходы в часовню. Это было прекрасное продолговатое помещение. На одном из его концов, по направлению к внутренней части дворца, находилась большая и красивая дверь, через которую входил император, когда в сопровождении своего Двора направлялся в воскресенье на мессу. Для императора он был открыт только до конца недели, когда он отправлялся в свой Государственный совет. Члены Совета вошли только через две маленькие двери, приспособленные для этой цели в противоположном конце.

Ряды столов, занимавшие всю длину зала справа и слева, расставлялись там только тогда, когда собирался совет, и оставляемого пространства было достаточно, чтобы разместить места внутри у стены и обеспечить свободный проход снаружи. Там сидели члены Государственного совета в порядке их старшинства; кроме того, их места были обозначены портфелями с их именами и бумагами. В конце зала, ближе к главному входу, через два ряда были расставлены похожие столы для Мастеров запросов. Аудиторы сидели на табуретках или стульях позади государственных советников.

В верхнем конце зала, напротив парадного входа, находилось место императора на возвышении на одну или две ступеньки. Там стояли его кресло и маленький столик, покрытый куском богатого гобелена и обставленный всеми необходимыми предметами, включая бумагу, перья, чернила, перочинные ножи, которые также были разложены перед членами Совета.

Справа от императора, но ниже и на одном уровне с нами, сидел принц-эрц-канцлер за отдельным маленьким столом; слева от него - принц-эрц-казначей, который присутствовал очень редко; и, наконец, слева от последнего - г-н Локр, который составил официальный отчет о заседании.

Когда случалось, что присутствовали какие-либо принцы семьи, для них накрывался подобный стол в том же ряду и в соответствии с их соответствующим рангом. Если кто-либо из министров присутствовал, а все они были вольны присутствовать, когда им заблагорассудится, они занимали свои места за боковыми столами, во главе государственных советников. Огороженное пространство было пустым, и никто никогда не проходил через него, кроме императора или членов Совета, когда они приносили ему присягу на верность.

Билетеры бесшумно передвигались по залу, обслуживая членов Совета, даже во время заседаний. Члены клуба покидали свои места, когда им заблагорассудится, чтобы получить от своих коллег любые конкретные документы, которые им могли понадобиться, или для любых других целей.

В верхних отсеках зала были выставлены аллегорические картины, относящиеся к функциям Государственного совета, таким как правосудие, торговля, промышленность и т.д. А потолок был украшен прекрасной картиной Гроса "Битва при Аустерлице". Таким образом, под одним из самых славных лавров, которыми он облагородил Францию, Наполеон возглавил ее внутреннее управление.

Именно в этом месте в течение почти восемнадцати месяцев я получал неоценимое преимущество, ни с чем не сравнимое удовлетворение, посещая два раза в неделю заседания, столь интересные своими особыми целями и тем более благодаря постоянному присутствию императора, который, казалось, был душой и жизнью обсуждений. Именно там я видел, как он затягивал дискуссии с одиннадцати утра до девяти вечера и проявлял в конце такую же активность, обильность и свежесть ума и понимания, как и в начале, в то время как мы были готовы упасть духом от усталости.

Пока двор находился в Сен-Клу, там проводился совет, но когда заседание должно было состояться слишком рано или, вероятно, затянуться надолго, император откладывал заседание до тех пор, пока члены суда не смогут подкрепиться, которые, словно по волшебству, подавались в соседних покоях на маленьких столиках, великолепно сервированных. Я могу искренне сказать, что было бы невозможно дать точное представление о том очаровании, которое мы наблюдали в каждой вещи, принадлежащей императорским дворцам.

Время заседания Совета регулярно указывалось в наших письмах о созыве, но обычно было одиннадцать.

Когда присутствовало достаточное количество членов, архи-канцлер [примечание ранее по тексту: Архи-канцлер стр. 2], который всегда присутствовал первым и председательствовал в отсутствие императора, открывал заседание и привлекал внимание Совета к тому, что тогда называлось *небольшим распорядком дня*, и который охватывал исключительно простые вопросы местного характера и простой формы.

Примерно через час, в общем, бой в барабан во внутренних помещениях дворца возвестил о прибытии императора. Парадный вход был распахнут; доложили о его Величестве; весь Совет встал, и появился император в сопровождении своего камергера и дежурного адъютанта, которые подали ему стул, приняли его шляпу и оставались позади него во время заседания, готовые принимать и исполнять его приказы.

Затем архканцлер представил императору *большой приказ дня*, который содержал ряд обсуждаемых вопросов. Император перечитал их и отчетливым тоном указал на то, что он хотел бы обсудить. Государственный советник, назначенный для этой цели, зачитал свой доклад, и обсуждение началось.

Каждый член имел право высказаться; если несколько человек вставали одновременно, порядок очередности устанавливался императором. Члены говорили со своих мест сидя. Никаких письменных речей зачитывать не разрешалось; требовалось, чтобы они произносились экспромтом. Когда император считал, что вопрос, в котором он сам обычно принимал немалое участие, достаточно обсужден, он составил краткое изложение аргументов, которое всегда было ярким и часто отличалось новизной и остротой, пришел к выводу и поставил его на голосование.

Я уже заметил, какой свободой пользовались в этих дебатах. Воодушевление ораторов, возраставшее постепенно, иногда становилось чрезмерным, и дискуссия часто затягивалась сверх всякой меры, особенно когда император, занятый, вероятно, каким-нибудь другим предметом, казался, то ли по рассеянности, то ли по чему-то еще, совершенно неосведомленным о происходящем. Затем он обычно окидывал зал отсутствующим взглядом, резал карандаши своим перочинным ножом, колол острием крышку своего стола или подлокотник кресла или чертил карандашом или ручкой причудливые знаки или наброски, которые после его ухода привлекали жадное внимание молодых членов клуба, которые устраивали своего рода драку за них; и было любопытно наблюдать, как, когда ему случалось вывести название какой-нибудь страны или столицы, из этого делались гиперболические выводы.

Иногда также, когда император входил в Совет, сразу после окончания обеда, испытывав сильную усталость за утро, он складывал руки на столе, опускал голову и засыпал. Эрцгерцог продолжил обсуждение, которое продолжалось без перерыва, и император, проснувшись, немедленно подхватил нить дискуссии, хотя предыдущую тему можно было бы закончить и перейти к другой. Император часто просил стакан воды и сахара; и стол в соседней комнате всегда был уставлен закусками для него, без каких-либо предосторожностей в отношении лиц, которым разрешалось приближаться к нему.

Император, как хорошо известно, имел привычку понюхать табак почти ежеминутно: это была своего рода мания, которая овладевала им главным образом в периоды рассеянности. Его табакерка быстро опустела, но он все еще продолжал засовывать в нее пальцы или подносить ее к носу, особенно когда сам разговаривал. Те камергеры, которые проявили себя наиболее опытными и усердными в исполнении своих обязанностей, часто пытались незаметно для императора убрать пустую шкатулку и заменить ее полной; ибо между камергерами, которые обычно выполняли службы при особе императора, существовало большое соперничество во внимании и вежливости; этой чести очень завидовали. Эти лица, однако, редко менялись, либо потому, что они стремились сохранить свои места, либо потому, что императору, естественно, было наиболее приятно оставлять их на постах, с обязанностями которых они были знакомы. Все эти приготовления были возложены на великого маршала (Дюрока). Ниже приводится пример внимания, оказанного камергерами императору. Один из них, заметив, что император, отправляясь в театр, часто забывал свой театральный бинокль, которым он постоянно пользовался, сделал точно такой же, так что, когда он впервые увидел императора без бинокля,

он подарил ему свой, и разницы не было замечено. Вернувшись из театра, император был немало удивлен, обнаружив, что у него два совершенно одинаковых бокала. На следующий день он поинтересовался, как появился новый театральный бинокль, и камергер ответил, что он держит его про запас на случай, если он кому-нибудь понадобится.

Император всегда проявлял себя очень чувствительным к этим знакам внимания, которые были невинны сами по себе и которые были рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление на чувства, когда они были продиктованы только любовью и уважением; ибо тогда индивид играл роль не раболепного придворного, а любящего и преданного слуги. Наполеон, со своей стороны, что бы ни говорили об обратном в парижских салонах, проявлял искреннее уважение к своим домочадцам. Когда он уезжал из Парижа в Сен-Клу, Мальмезон или любую другую из своих загородных резиденций, он обычно приглашал своих домочадцев на частные вечера; и таким образом образовывался приятный семейный круг, допуск в который считался очень высокой честью. Находясь в деревне, он также допускал своих камергеров обедать за его столом. Однажды, во время обеда в Трианоне, страдая от сильного насморка, которому он был очень подвержен, он обнаружил, что ему не хватает носового платка; слуги немедленно побежали за ним, но тем временем дежурный камергер, родственник Марии Луизы, достал из кармана чистый, развернутый, а другой хотел взять у императора. “Благодарю вас, - сказал Наполеон, - но я никогда не позволю, чтобы говорили, что я позволил М. прикоснуться к носовому платку, которым я пользовался”, - и он бросил его на землю.

Таков был человек, которого в определенных кругах называли грубым и брутальным, плохо обращавшимся со всеми своими домочадцами и даже грубо обращавшимся с придворными дамами! Император, напротив, был скрупулезным блюстителем приличий. Он очень чутко относился ко всем тем небольшим знакам внимания, которые ему оказывали, и хотя у него была своего рода система не допускать, чтобы от него ускользало какое-либо проявление благодарности, все же выражение его глаз или тон его голоса в достаточной степени свидетельствовали о том, что он действительно чувствовал. В отличие от тех, чьи уста переполнены выражением чувств, которых никогда не испытывает их сердце, Наполеон, казалось, взял за правило подавлять или маскировать добрые эмоции, которые его часто вдохновляли. Мне кажется, я уже упоминал об этом факте; но ниже приведены некоторые свежие доказательства этого, которые приходят мне в голову в этот момент. Эти обстоятельства тем более характерны, что они произошли в Лонгвуде, где от Наполеона можно было ожидать, что он будет потакать своим естественным чувствам с меньшей сдержанностью, чем во время нахождения у власти.

Я обычно сидел рядом со своим сыном, пока он писал под диктовку императора. Император всегда расхаживал по комнате, когда диктовал, и часто останавливался на мгновение за моим стулом, чтобы просмотреть написанное, чтобы знать, с чего начать свою диктовку. Находясь в такой ситуации, сколько раз моя голова оказывалась зажатой между его руками и даже слегка прижатой к его груди! Затем, сразу же взяв себя в руки, он, казалось, просто оперся локтями о мои плечи или игриво перенес на меня весь свой вес, словно испытывая мою силу.

Император очень любил моего сына, и я часто видел, как он дарил ему что-то вроде ручной ласки; а затем, так сказать, чтобы устранить эффект от этого движения, он немедленно сопровождал его какими-нибудь словами, произносимыми громким и несколько резким тоном. Однажды, когда он входил в гостиную в минуту хорошего настроения и забывчивости, я увидел,

как он взял руку мадам Бертран и нежно поднес ее к своим губам; но, внезапно опомнившись, он отвернулся, что произвело бы очень неловкий эффект, если бы мадам Бертран с той изысканной грацией, которой она так отличалась, не устранила все смущение, запечатлев поцелуй на протянутой ей руке. Но эти истории увели меня очень далеко от моей темы. Я должен вернуться к Государственному совету.

Все отчеты, планы резолюций и декретов, которые нам предстояло обсудить, были напечатаны и розданы нам на дом. Например, был один предмет, связанный с Университетом, который обсуждался, наверное, раз двадцать. Другие надолго задерживались в портфелях или, в конце концов, были полностью исключены без указания какой-либо причины.

По возвращении из моей миссии в Голландию, сразу после того, как я стал членом Государственного совета, я поднялся, чтобы поговорить о воинской повинности. Я, естественно, интересовался всем, что имело отношение к военно-морскому делу; мой ум был полон энтузиазма, и в нем хранились наблюдения, которые я только что собрал в Голландии. Я предложил, чтобы всем голландским призывникам, принимая во внимание их естественные склонности, было разрешено, если они захотят, поступить на военно-морскую службу; и более того, чтобы привилегия этого выбора была распространена на всех французских призывников. Я указал на неудобства, которые такое устройство было рассчитано устранить, и развил преимущества, которые оно, вероятно, обеспечивало. Я заметил, что невозможно было обеспечить слишком большое количество наших моряков. Я сказал, что экипажи наших кораблей, таким образом, станут полками: одни и те же люди будут одновременно матросами и солдатами, артиллеристами и понтонерами; мы получим двойную службу при одинаковой ставке оплаты. До этого момента моя речь была воспринята настолько благосклонно, насколько я мог пожелать, и про себя я поздравил себя с успехом, как вдруг потерял всякую дар речи. Ход моих мыслей немедленно оборвался, и я стоял онемевший и сбитый с толку, не понимая, где я нахожусь и что делаю. Это был первый раз, когда я осмелился заговорить; и я приложил невероятные усилия, чтобы преодолеть свою природную застенчивость. Глубокое молчание воцарилось в собрании, сотни глаз были устремлены на меня, и я был готов утонуть под тяжестью своего смущения. У меня не было другого выхода, кроме как признаться в моем болезненном положении, откровенно сказать императору, что я предпочел бы участвовать в битве; и, наконец, попросить разрешения завершить свое выступление чтением нескольких строк из письменного документа, который я принес с собой. Однако с этого момента я никогда не испытывал никакого желания выступать в Государственном совете; я полностью излечился от всякого желания проявлять свое красноречие в будущем. Но, несмотря на это прискорбное обстоятельство, мое краткое выступление привлекло внимание императора; ибо несколько дней спустя дежурный адъютант (граф Бертран) сообщил мне, что император, играя на бильярде, увидев входящего морского министра, сказал ему: "Что ж, сэр, Лас Кейсз зачитал нам на Совете очень хороший памятный документ о составе военно-морского флота; он совсем не разделял вашего мнения относительно возраста, в котором морякам следует поступать на службу".

Каждое заседание Совета, на котором председательствовал император, представляло высочайший интерес, поскольку он сам никогда не упускал случая произнести речь, и все замечания, исходившие от него, были важны. Я всегда приходил в восторг от его речей, но обстоятельством, которое меня одновременно удивляло и досадовало, было то, что некоторые замечания, прозвучавшие от императора в течение дня в Государственном совете, повторялись

и часто злонамеренно извращались в вечерних салонах Парижа. Как это могло произойти? Произошло ли это из-за неточности человека, сообщившего о том, что он услышал, или из-за недоброжелательности того, кому это было сообщено? Как бы то ни было, факт был таков, как я уже заявил.

Меня часто посещала мысль записать речи, которые я слышал от императора, и теперь я очень глубоко сожалею, что не сделал этого. Ниже приведены несколько воспоминаний, которые приходят мне в голову в этот момент:

Однажды император, говоря о политических правах, которые полагалось предоставлять лицам французского происхождения, родившимся в зарубежных странах, сказал: "Самый благородный титул в мире - это титул француза по рождению; это титул, дарованный Небом, и ни один человек на земле не должен иметь права отказаться от него. Со своей стороны, я желаю, чтобы каждый мужчина французского происхождения, хотя бы он и был иностранцем в десятом поколении, все равно оставался французом, если он хочет претендовать на этот титул. Если бы он появился на другом берегу Рейна и сказал: "Я хочу быть французом", я бы пожелал, чтобы его голос был более могущественным, чем закон; преграды пали бы перед ним, и он с триумфом вернулся бы в лоно нашей общей матери".

В другой раз он сказал, хотя я сейчас не помню, на какую тему он говорил: "Учредительное собрание поступило очень неразумно, упразднив чисто титульное дворянство; мера, которая была рассчитана на унижение стольких людей. У меня получается лучше. Я присваиваю всем французам титулы, которыми у каждого есть основания гордиться".

В другой раз он употребил следующие слова, которые, возможно, я уже цитировал: "Я хочу возвысить славу французского имени до такой степени, чтобы ему завидовали все народы. Я, с Божьей помощью, осуществляю, что в какой бы части Европы ни путешествовал француз, он всегда будет чувствовать себя как дома".

Однажды в Государственном совете возникла дискуссия, касающаяся [соблюдения](#) плана указа. Результат этого обсуждения сейчас ускользнул из моих воспоминаний, но я знаю, что предметом обсуждения было определение того, что короли Императорских семей, занимающие иностранные троны, должны оставить свои титулы и весь королевский этикет на границе и возобновить их только после того, как покинут Францию. Император, отвечая кому-то, кто начал возражать против этого, и в то же время объясняя мотивы этой меры, сказал: "Но для этих монархов я оставляю во Франции еще более высокий титул; они будут больше, чем короли: они будут французскими принцами".

Я мог бы множить цитаты такого рода до бесконечности: они должны запечатлеться в памяти всех членов Совета, так же как и в моей. Возможно, вас удивит, что, видя императора так часто и слыша от него подобные высказывания, я должен был бы сказать, что не знал его в тот период, когда последовал за ним на остров Святой Елены. Мой ответ таков: в то время я испытывал по отношению к императору скорее восхищение и энтузиазм, чем настоящую любовь, проистекавшую из глубокого знания его характера. Даже во дворце на нас обрушилось так много абсурдных сообщений, касающихся частной жизни и поведения Наполеона, и мы так мало общались с ним напрямую, что, слушая одни и те же истории, повторяемые снова и снова, я невольно проникся определенной долей сомнения и недоверия. Его описывали как человека лицемерного и хитрого нрава, и утверждали, что на публике он мог демонстрировать

прекрасные чувства, на которые был совершенно неспособен; короче говоря, что он обладал красноречивым языком и бесчувственным сердцем. Таким образом, только после того, как я досконально познакомился с его характером, я убедился, насколько он на самом деле был тем, кем казался. Пожалуй, никогда еще ни один человек в мире не был так преданно привязан к Франции, и не было такой жертвы, на которую он не пошел бы с готовностью, чтобы сохранить ее славу. Это достаточно очевидно из его поведения при Шатийоне и после его возвращения с Ватерлоо. Он искренне и энергично выразил себя на своей скале, когда произнес эти замечательные слова, которые я уже цитировал ранее: “Нет, мои настоящие страдания не здесь!”

Следующие анекдоты имеют отношение к другим темам, частично серьезным, частично юмористическим. Однажды государственный советник генерал Гассенди, принимая участие в тогдашней дискуссии, много останавливался на доктринах экономистов. Император, который был очень привязан к своему старому товарищу по артиллерии, остановил его, сказав: “Мой дорогой генерал, где вы набрались всех этих знаний? Где вы усвоили эти принципы?” Гассенди, который очень редко выступал в Совете, после того как защищался изо всех сил, оказавшись загнанным в свои последние окопы, ответил, что, в конце концов, он позаимствовал свое мнение у самого Наполеона. “Как?” - воскликнул император с жаром. “Что вы скажете? Возможно ли это? От меня, который всегда думал, что если бы существовала гранитная монархия, тохимеры политэкономистов превратили бы ее в порошок!” И после нескольких других замечаний, отчасти ироничных, отчасти серьезных, он заключил: “Вперед, генерал! вы, должно быть, заснули в своем кабинете, и все это вам приснилось”. Гассенди, который был довольно вспыльчив, ответил: “О! что касается засыпания в наших кабинетах, сир, я призываю никого не делать этого с вами, вы слишком сильно досаждаете нам для этого. ” Весь Совет разразился приступом смеха, и император смеялся громче всех.

В другой раз возник вопрос об организации иллирийских провинций сразу после того, как они попали под власть Франции. Эти провинции, граничащие с Турцией, были оккупированы полками хорватских войск, организованными по особому плану. Короче говоря, это были военные колонии, идея создания которых была задумана более века назад великим принцем Евгением с целью создания барьера против вторжений и опустошительных действий турок, и они хорошо выполнили то, для чего были предназначены. Комитет, назначенный для составления плана организации провинций, предложил расформировать хорватские полки и заменить их национальной гвардией, подобной нашей. “Вы с ума сошли?” воскликнул император, выслушав доклад. “Хорваты - французы? или вы поняли превосходство, полезность и важность этого учреждения?” — “Сир, — ответил человек, считавший себя обязанным защищать доклад, — турки теперь не осмелятся возобновить свои преступления”. — “А почему бы и нет?” — “Сир, потому что ваше величество стали их соседом”. — “Ну и что из этого?” - “Сир, они будут слишком напуганы вашей мощью”. - “О да, сир, сир, - резко ответил император, - перемирие с комплиментами в настоящее время, или, если вы хотите, идите и предъявите их туркам, которые ответят вам мушкетерской стрельбой, а вы сможете вернуться и рассказать мне об этом деле”. Император немедленно решил, что хорватские полки следует сохранить.

Однажды план указа о послых был представлен на рассмотрение Государственного совета. Этот план, хотя и весьма примечательный, я полагаю, так и не был опубликован миру. Хладнокровие, проявленное Советом по этому вопросу, привело к прекращению рассмотрения вопроса; та же участь постигла и многие другие планы; что, как можно заметить, служит дополнительным

доказательством независимости Совета и показывает, что Наполеон обладал большей умеренностью, чем принято считать.

Император, который, по-видимому, был единственным человеком, поддержавшим указ и очень твердо придерживавшимся его, сделал несколько весьма любопытных замечаний в его защиту. Он хотел бы, чтобы послы не пользовались никакими прерогативами или привилегиями, которые могли бы поставить их выше законов страны. В лучшем случае он был готов лишь допустить, чтобы они подпадали под юрисдикцию более высокого уровня. “Например, ” сказал он, - я не возражаю против того, чтобы они предстали перед судом только после предварительного решения собрания министров и высших сановников империи; чтобы их судил только специальный трибунал, состоящий из первых магистратов и должностных лиц государства. Возможно, скажут, что монархи, видя, что их собственное достоинство скомпрометировано в лицах их представителей, не будут посылать послов к моему двору. Ну и какой от этого будет вред? Я могу отозвать свой иск в иностранных судах, и таким образом страна будет освобождена от бремени огромных и очень часто бесполезных зарплат. Почему послы должны быть освобождены от действия закона? Они посланы с целью быть приятными и поддерживать дружеский обмен и благосклонность между их соответствующими суверенами. Если они выходят за рамки своих обязанностей, их следует приравнять к обычным преступникам и поместить в рамки общего права. Я не могу молчаливо позволять послам при моем Дворе играть роль наемных шпионов: если я это сделаю, мне придется довольствоваться тем, что меня будут считать дураком, и подчиняться всем пакостям, которым я могу подвергнуться. Необходимо только заранее хорошо разобраться в этом вопросе, чтобы избежать неуместности нарушения общепринятых обычаев и того, что до сих пор считалось международным правом.

“В разгар знаменитого кризиса, - продолжал император, “ я получил сведения, что некая важная персона нашла убежище в доме господина де Кобенцеля, полагая, что он должен быть защищен иммунитетами австрийского посла. Я вызвал посла к себе, чтобы выяснить истинность этого факта и сообщить ему, что было бы крайне прискорбно, если бы все действительно было так, как мне сообщили. Я заметил, что обычай в моих глазах ничто по сравнению с безопасностью нации; и что я без колебаний отдал бы приказ арестовать преступника и его привилегированного защитника, передать их обоих в руки трибунала и подвергнуть их полному наказанию по закону. И это я бы сделал, джентльмены, ” добавил он, повышая голос. “Посол знал о моей решимости, и поэтому моим пожеланиям подчинились без дальнейших возражений”.

Задолго до экспедиции в Россию, возможно, за год или два до того, как она была предпринята, император пожелал установить военную классификацию Империи. В Государственном совете было зачитано пятнадцать или двадцать планов организации трех классов французской национальной гвардии. Первый, который должен был состоять из молодых мужчин, должен был дойти до границ; второй, который должен был состоять из мужчин среднего возраста и женатых, не должен был покидать департамент, к которому он принадлежал; а третий, состоящий из мужчин в годах, должен был быть сохранен исключительно для обороны города, в котором он был построен. Император, который был хорошо убежден в полезности этого плана, часто возвращался к нему и делал много патриотических замечаний по этому поводу; но он постоянно встречал явное неодобрение со стороны Совета и сталкивался с своего рода пассивным и молчаливым противодействием. Между тем, среди множества государственных

дел, требовавших внимания императора, он упустил из виду этот план, который его дальновидность, несомненно, была рассчитана для безопасности Франции и который, вероятно, обеспечил бы такой результат. Более двух миллионов человек были бы обучены и вооружены в период наших бедствий. Кто тогда осмелился бы напасть на нас?

Во время обсуждения вышеупомянутого предмета император говорил очень выразительно и с заметным напряжением. Один из членов (М. Малуэ) в весьма уклончивой форме выразил свое неодобрение этому плану организации. Император, обращаясь к нему в своей обычной манере, сказал: “Говорите смело, сэр, не искажайте свои идеи: говорите то, что вы должны сказать, свободно; мы здесь сами по себе”. Затем оратор заявил, “что эта мера была рассчитана на то, чтобы вызвать всеобщую тревогу; что каждый трепетал, обнаружив, что зачислен в национальную гвардию, будучи убежден, что под предлогом внутренней обороны целью было вывести гвардию из страны”. “Очень хорошо!” - сказал император. “Теперь я понимаю вас. Но, джентльмены, ” продолжал он, обращаясь к членам Совета, - вы все отцы семейств, обладаете большим состоянием и занимаете важные посты, у вас обязательно должно быть множество иждивенцев; и вы должны быть либо очень неуклюжи, либо очень равнодушны, если, обладая всеми этими преимуществами, не оказываете большого влияния на общественное мнение. Итак, как случилось, что вы, так хорошо меня знающие, должны терпеть, чтобы другие так мало знали обо мне? Когда вы видели, чтобы я применял обман в своей системе управления? Я не робкого десятка и поэтому не привык прибегать к косвенным мерам. Моя вина, возможно, в том, что я выражаюсь слишком резко, слишком лаконично. Я просто произношу слово, я приказываю, и в том, что касается форм и деталей, я доверяю посреднику, который осуществляет мои намерения; и бог знает, есть ли у меня с этим какие-либо серьезные основания поздравить себя. Поэтому, если бы мне нужны были войска, я бы смело потребовал их у Сената, который набрал бы их для меня; или, если бы я не мог получить их от Сената, я обратился бы к народу, и вы бы увидели, как он с готовностью марширует, чтобы пополнить мои ряды. Возможно, вы удивлены, услышав это от меня, поскольку иногда кажется, что вы не имеете правильного представления о реальном положении вещей. Знайте же, что моя популярность огромна и неисчислима; ибо, что бы ни утверждали об обратном, весь французский народ любит и уважает меня: его здравый смысл выше злобных слухов моих врагов и метафизических спекуляций глупцов. Они последовали бы за мной вопреки всему. Вы удивлены этими заявлениями, но, тем не менее, они правдивы. Французский народ не знает другого благодетеля, кроме меня. Через меня они бесстрашно наслаждаются всем, что приобрели; через меня они видят, как их братьев и сыновей без разбора продвигают по службе, почитают и обогащают; через меня они находят, что их руки постоянно заняты, а их труд сопровождается должным вознаграждением. У них никогда не было причин обвинять меня в несправедливости или предвзятости. Теперь люди видят, чувствуют и постигают все это; но они ничего не понимают в метафизике. Не то чтобы я склонен отвергать истинные и великие принципы; боже упаси меня от этого. Напротив, я воздействую на них настолько, насколько позволяют наши нынешние чрезвычайные обстоятельства; но я только хочу сказать, что люди еще не понимают их; в то время как они прекрасно понимают меня и безоговорочно доверяют мне. Поэтому будьте уверены, что народ Франции всегда будет следовать планам, которые мы предлагаем для его благополучия.

“Не позволяйте ввести себя в заблуждение предполагаемой оппозицией, о которой только что говорилось; она существует только в парижских салонах, и ни в коем случае не в широких слоях нации. В этом плане я торжественно заявляю, что у меня нет никаких скрытых намерений отправлять национальную гвардию за границу; мои мысли в этот момент заняты исключительно принятием мер внутри страны для обеспечения безопасности, покоя и стабильности Франции. Приступайте к организации национальной гвардии, чтобы каждый гражданин знал свой пост в трудную минуту; чтобы даже месье Камбасерес, вон там, мог взять в руки мушкет, если этого потребует от него наша опасность. Таким образом, у нас будет нация, построенная из камня и строительного раствора, способная противостоять нападкам как времени, так и людей. Более того, я поставлю национальную гвардию в один ряд с линейными полками: старые отставные офицеры будут начальниками и отцами корпуса. Меня будут добиваться повышения в национальной гвардии так же горячо, как благосклонности двора.

Все это должно содержаться в записях месье Локре, частично в обсуждениях, касающихся национальной гвардии, а частично, насколько я могу припомнить, по поводу одного из ежегодных призывов. Я помню, что однажды, в частности, была долгая дискуссия об Университете. Император выразил свое недовольство небольшим прогрессом, который наблюдался в учреждении, и плохой системой, по которой оно осуществлялось. г-ну Сегюру было поручено представить доклад по этому вопросу, что он и сделал со своей обычной прямоотой. Он навел необходимые справки и обнаружил, что планы императора были плохо поняты и плохо исполнялись. Наполеон желал, чтобы эрудиция была лишь второстепенной целью, чтобы национальные принципы и доктрины занимали место во всем; и все же этим принципам и доктринам уделялось меньше всего внимания.

Император не присутствовал на этом заседании — обстоятельство, которое очень огорчило друзей человека, в первую очередь интересовавшегося этим вопросом. Мы были виновны в том, что слишком многим пожертвовали духу кружков. Доклад больше никогда не был представлен; он был изъят из наших портфелей, и было сочтено весьма важным добиться его возвращения от тех членов Совета, которые взяли его с собой домой.

Однако через некоторое время после этого великие сановники университета были вызваны в Коллегию адвокатов Государственного совета. Император выразил свое неудовольствие плохим управлением и дурным духом, которые, казалось, царили в этом важном учреждении. Он заметил, что все его намерения были расстроены, что его планы так и не были должным образом приведены в исполнение, и т. Д. М. де Ф... согнулся перед бурей, и тем не менее продолжал свой привычный курс. Император сказал по возвращении с острова Эльба, что его заверили, что великий магистр Университета хвастался перед правительством, пришедшим на смену империи, тем, что сделал все, что было в его силах, чтобы помешать импульсу, который Наполеон хотел передать подрастающему поколению, и направить его в неверное русло.

## ВОСПОМИНАНИЯ О ВАТЕРЛОО.

18—го. Император послал за мной в свой кабинет перед обедом; он был занят чтением только что доставленных газет. Господин де Монтолон попросил разрешения прислуживать ему. Он сообщил императору, что мадам де Монтолон только что родила дочь, и попросил его величество оказать ему честь стать крестным отцом ребенка.

После обеда император снова просмотрел газеты, которые он уже просмотрел, и отметил, что Франция все еще находится в состоянии волнения и неопределенности: он заметил, что последние английские газеты используют самые неприличные выражения по отношению к королевской семье.... В одной из статей он написал: “Нынешние обстоятельства, потребности момента и давние симпатии сходятся в пользу возвращения монахов во Францию. Это характерное обстоятельство во Франции, как и на территориях папы римского”. Затем, остановившись на последнем вопросе, он продолжил: “Что касается папы, то это его особое дело, и оно рассчитано на восстановление его власти. Поверит ли кто-нибудь, что, пока он сам был пленником в Фонтенбло и пока решался вопрос о его собственном существовании, он серьезно спорил со мной о существовании монахов и пытался убедить меня восстановить их! Это было действительно похоже на Римский двор!”

В этот день была годовщина битвы при Ватерлоо. Это обстоятельство было упомянуто кем-то из присутствующих, и воспоминание о нем произвело видимое впечатление на императора. “Непостижимый день!” - сказал он печальным тоном. “Совпадение неслыханных смертей!— Ворчун!— Ней! — Д’Эрлон!— Было ли это предательством или только несчастьем!— Увы! бедная Франция! Тут он закрыл глаза руками. “И все же, - сказал он, - все, на что было способно человеческое мастерство, было достигнуто! Не все было потеряно до того момента, когда все преуспело!”

Вскоре после этого, ссылаясь на ту же тему, он воскликнул: “в ходе этой экстраординарной кампании, трижды, менее чем за неделю, я видел несомненный триумф Франции и решение ее судьбы, ускользавшее у меня из рук.

“Если бы не дезертирство предателя, я бы уничтожил врага в начале кампании. Я бы уничтожил его при Линьи, если бы моя левая рука выполнила свой долг.—Я бы снова уничтожил его при Ватерлоо, если бы моя правая рука меня не подвела. Исключительное поражение, в результате которого, несмотря на самую роковую катастрофу, слава побежденных не пострадала, а слава победителя не умалилась: память об одном переживет его гибель; память о другом, возможно, будет похоронена в его триумфе!”

## УХОД НОРТУМБЕРЛЕНДА.—О ВВЕДЕНИИ И ФОРМЕ, ПРИДАННОЙ КАМПАНИЯМ В ИТАЛИИ.—РУССКАЯ КАМПАНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ АДЪЮТАНТОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ.

19—го.—Сегодня [To-day](#) Сегодня

Это судно доставило нас на остров Святой Елены; во время нашего плаванья мы поддерживали дружеские отношения с офицерами; команда проявила к нам большую доброту, и мы удостоились внимания со стороны самого адмирала Кокберна, к которому мы питали скорее неприязнь, чем абсолютную неприязнь, и чье поведение, в конце концов, не могло ранить наши чувства. То ли из-за всех этих обстоятельств в совокупности, то ли из-за каких-то других, ускользнувших от нашего внимания, то ли из-за той мощной и естественной склонности, которая заставляет нас привязываться к ближним и лелеять социальные чувства по отношению друг к другу, я не знаю; но несомненно, что мы не чувствовали себя безразличными к отъезду Нортумберленда. Казалось, мы что-то потеряли, попрощавшись таким образом с нашими старыми товарищами по кораблю.

Император провел очень тяжелую ночь; он вымыл ноги, чтобы облегчить сильную головную боль.

Около часа дня он вышел прогуляться в сад, держа в руках первый том английского труда "Уважение к собственной жизни". Он вертел его в руках, пока ходил вокруг. Очевидно, что эта работа была написана в менее злобном духе, чем у Голдсмита. В нем, конечно, было меньше грубости; но он содержал те же выдумки, те же ложные утверждения и демонстрировал то же невежество. Император прочитал статью, посвященную его детству и тому периоду его юности, который он провел в колледже. Все это было сплетением искажений; и это побудило его заметить, что я был совершенно прав, предположив, что повествование о событиях его ранней карьеры должно предшествовать итальянской кампании; и он добавил, что то, что он только что прочитал, полностью подтвердило его в пользу этой идеи.

Мне следовало бы прежде упомянуть, что после того, как диктовка "Кампаний в Италии" была завершена и все было разбито на главы, император все еще колебался относительно того, каким образом ему следует составить к ней введение. Он часто менял свое мнение по этому вопросу, и у него возникало много различных идей, которые он по очереди отбрасывал и возобновлял. Иногда он был склонен начать с нескольких незначительных предприятий, которыми занимался до осады Тулона; таких, как неудачная экспедиция на Сардинию и т. Д. В другой раз он решил начать тему с описания первых событий Французской революции, состояния Европы и передвижений наших армий. Я всегда не одобрял эти идеи, которые, как мне казалось, уносили его в слишком отдаленные времена. Он начал с того, что продиктовал мне "осаду Тулона", и я счел это подходящей отправной точкой и наиболее естественным ходом событий, поскольку он не брался писать историю, а только свои личные мемуары. Я сказал, что в этом грандиозном эпизоде истории веков он должен был бы внезапно появиться на сцене мирового театра и занять авансцену, которую ему впоследствии суждено было никогда не покидать. В мои обязанности как редактора входило записывать в любое введение, которое я мог бы счесть нужным сделать, все подробности ранней жизни Наполеона и событий, предшествовавших периоду, к которому относились его собственные записи. Император одобрил эту идею и, обсудив ее однажды за обедом, принял решение о ее принятии. Форма, которая была придана кампаниям в Италии, определялась вышеупомянутыми соображениями, и на этот предмет император ссылаясь в своем только что упомянутом замечании, касающемся введения к кампаниям.

В три часа губернатор и новый адмирал сэр Поултни Малькольм были представлены императору, который, хотя и страдал от недомогания, тем не менее был очень любезен и разговорчив.

Как до, так и после обеда император развлекался просмотром сочинения о русской кампании, написанного офицером, который ранее был одним из адъютантов вице-короля. Император слышал, что его описывали как самое отвратительное произведение, но он так привык к нападкам клеветников, что декламация произвела на него мало эффекта. В работах такого рода он опирается только на факты; и с этой точки зрения он не нашел рассматриваемое издание таким уж плохим, как ему его представили. "Историк," сказал он, - выбрал бы из этого только хорошее; он взял бы факты и опустил декламацию, которая рассчитана только на то, чтобы угодить дуракам. Автор этой работы доказывает, что русские сами сожгли Москву, Смоленск и т.д.; он описывает французов как одерживавших победы во всех сражениях. Факты, которые

можно найти в этом труде, - продолжал император, - очевидно, были описаны с целью публикации в период моего правления, в период моей власти. Декламационные пассажи были вставлены после моего падения. Автору нелегко было извратить основную идею своей темы, хотя он и перемежал ее оскорбительными замечаниями по моде того времени.

“Что касается бедствий моего отступления, я не оставил ему возможности сказать больше, чем другим клеветникам. Мой 29-й бюллетень поверг их в отчаяние. В ярости они обвинили меня в преувеличении. Они были доведены до полного безумия. Таким образом, я лишил их превосходного предмета, я унес их добычу”.

Император процитировал несколько отрывков из произведений этого и некоторых других французских авторов, все из которых выступали против своих соотечественников и давали ложное представление об их достижениях. Он не мог удержаться от замечания, что это беспрецедентное в истории обстоятельство - видеть, как нация стремится принизить свою собственную славу, видеть, как ее собственные сыновья таким образом стремятся уничтожить ее трофеи. “Но из недр Франции, несомненно, восстанут мстители. Потомство будет клеймить позором безумие наших дней. ”Неужели это французы, - воскликнул он, “ которые говорят и пишут в таком тоне? Неужели в их сердцах мертва всякая искра патриотизма?— Но нет, они не могут быть французами! Они говорят на нашем языке, это правда; они родились на одной земле с нами; но ими не движут чувства и принципы французов!”

## ПРОРОЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.—ЛОРД ХОЛЛАНД.—ПРИНЦЕССА ШАРЛОТТА УЭЛЬСКАЯ.—РАЗГОВОР, КАСАЮЩИЙСЯ МЕНЯ САМОГО.

21—го.- Император прогуливался по саду в сопровождении своей свиты. Разговор зашел о возможности нашего возвращения в Европу и еще раз увидеть Францию. “Мои дорогие друзья, - сказал он тоном искреннего чувства и с выражением, которое невозможно описать, - вы вернетесь!” — “Не без вас!” - воскликнули мы все в один голос. Это побудило нас еще раз проанализировать вероятные шансы нашего ухода с острова Святой Елены, и все пришли к необходимости признать, что наш уход мог состояться только благодаря вмешательству англичан. Но император не мог себе представить, как это вмешательство могло быть осуществлено. “Впечатление произведено, - сказал он, - оно пустило слишком глубокие корни; они всегда будут бояться меня. Питт сказал им: “Вы не можете быть в безопасности с человеком, у которого целое вторжение в одной голове”. “Но, ” заметил кто-то из присутствующих, - предположим, что в Англии возникнут новые интересы; предположим, что будет учреждено действительно конституционное и либеральное министерство, не найдет ли английское правительство выгоды в том, чтобы через вас, сир, утвердить либеральные принципы во Франции и таким образом распространить их по всей Европе?” “Конечно, ” ответил император, “ я все это признаю”. “Что ж, ” продолжал человек, который заговорил первым, “ разве это конституционное управление не нашло бы гарантии в этих либеральных принципах и в ваших собственных интересах?” “Я тоже допускаю это”, - ответил император. “Я могу предположить, что лорд Холланд, как премьер-министр Англии, напишет мне в Париж: “Если вы сделаете то-то и то-то, я разорюсь”; или принцесса Шарлотта Уэльская, которая, как мы предположим, выдворила меня отсюда, скажет мне: “Если вы будете действовать таким образом, меня возненавидят и будут смотреть на меня как на бич моей страны”. При этих словах я должен был бы остановиться: — они арестовали бы меня в моей карьере эффективнее, чем армии.

“И в конце концов, чего тут бояться? Что я должен вести войну? Я теперь слишком стар для этого. Бояться ли, что я должен возобновить свою погоню за славой? Я наслаждался славой до пресыщения. Я купался в ней; и можно сказать, что с тех пор я сделал это делом одновременно обычным и трудным. Предполагается ли, что я возобновлю свои завоевания? Я упорствовал в них не из-за мании; они были результатом великого плана, и я могу даже сказать, что меня подтолкнула к ним необходимость. Они были разумны в тот момент, когда я преследовал их; но теперь они были бы невозможны. Когда-то они были осуществимы; но теперь было бы безумием пытаться их осуществить. И, кроме того, потрясения и несчастья, которым подверглась Франция, отныне будут порождать столько трудностей, что устранение их станет достаточным источником славы, не ища никакого другого”.

Двое джентльменов из свиты императора были в городе, чтобы повидаться с людьми, недавно прибывшими на остров, и услышать новости дня. Отчет, который они представили по возвращении, на несколько минут привлек внимание императора, находившегося в саду. Около шести часов он направился к своему шкафу, пригласив меня последовать за ним; и случайно завязался разговор, который для меня был в высшей степени интересным и ценным. Хотя предмет этого разговора относится ко мне лично, я не могу обойти его молчанием; в нем раскрывается так много характерных черт императора, что они послужили бы достаточным извинением для того, чтобы я изложил его читателю, если бы потребовались какие-либо извинения.

Лица, прибывшие на "Ньюкасле", много говорили о моем Историческом атласе, что побудило императора снова отметить необычайную известность этого труда и выразить свое удивление по поводу того, что он не ознакомился с ним досконально раньше.

“Как случилось, ” сказал он, “ что никто из ваших друзей не дал мне правильного представления об этом? Я никогда не видел этого, пока не оказался на борту "Нортумберленда", а теперь обнаруживаю, что это известно всем. Почему вы сами никогда не обращали на это моего внимания? Я должен был оценить ваши заслуги и разбогатеть. У меня сложилось смутное и безразличное представление о вашей работе, что, возможно, неблагоприятно повлияло на мое мнение о вас. Таково несчастье Монархов, ибо, несомненно, никто не питал лучших намерений, чем я. Те, кто заполнял посты, посвященные моей персоне, могли бы легко побудить меня отдать полную справедливость достоинствам вашей работы; ибо это было то, о чем я мог судить сам, и я больше ничего не просил. С тех пор как я познакомился с вашими таблицами и получил возможность составить правильное представление об их ценной классификации и о том неизгладимом впечатлении, которое они, по расчетам, должны произвести на память в отношении дат, мест и сопутствующих связей, я сожалею, что не основал своего рода Нормальной школы, в которой учащиеся получали бы единообразное обучение с помощью Исторического атласа. Наши лица были бы завалены вашими работами или их частями, и я бы обеспечил им максимальную известность. Почему, повторяю, вы не обратили на это моего внимания? Горько признаваться в этой тайне; но, тем не менее, верно, что небольшая интрига необходима тем, кто хочет снискать расположение монархов; скромными заслугами почти всегда пренебрегают. Но, возможно, в конце концов, Кларк, Декре, Монталиве, месье де Монтескью или даже Барбье, мой библиотекарь, могли бы воздержаться от намеков, которые, по вашему замыслу, они должны были мне сделать; ибо это еще одна унижительная истина, что благосклонность иногда более достижима через *камердинера*, чем по высшему каналу! И как случилось, что ваша подруга мадам де С..... не рассказала мне о вашей работе? Мы часто

ездили вместе в одной карете; и она могла бы обеспечить вам все преимущества, какие только могла пожелать, описав мне ваши действительные достоинства”. — “Да, сир, - ответил я, “ но в то время я...” - Я понимаю вас. Тогда, возможно, вы не искали милостей? “Сир, мой час еще не пробил”. Затем последовало очень длинное объяснение относительно моего первого представления императору, миссий, на которые он меня назначил, мнения, которое он составил обо мне и которое, согласно обычаю, навсегда запечатлелось в его сознании.

Все это время я стоял у письменного стола во второй комнате, в то время как император ходил взад и вперед по всей длине обеих комнат. Тема разговора была для меня самой интересной. Но, чтобы составить справедливое представление о моих чувствах в этот момент, необходимо было бы оглянуться назад, на времена могущества Наполеона, на тот период, когда никто не смел надеяться узнать его мысли или когда-либо предположить возможность фамильярной и доверительной беседы с ним. Такое счастливое обстоятельство тогда показалось бы мне сном, а теперь я почти отношусь к нему как к беседе на Елисейских полях.

“У меня не было правильного представления о вас, - сказал император, - я не имел точных сведений ни о чем, что касалось вас. Рядом со мной у вас не было друга, который обратил бы на вас мое внимание, и вы пренебрегли возможностью заявить о себе. Некоторые из тех людей, на которых, возможно, вы думали, что можете положиться, даже действовали в ущерб вашим интересам. Я ничего не знал о вашей работе; если бы я знал, это было бы весомым обстоятельством в вашу пользу. Я не знал, что вы, как и я, посещали военную школу в Париже; это было бы еще одной претензией на мое внимание.

“ Если бы вы были эмигрантом, вы никогда бы не пользовались моим полным доверием. Я знал, что вы были очень привязаны к бурбонам; следовательно, вы никогда бы не были посвящены в великие тайны моего правительства”. — “Но, сир, - ответил я, “ ваше величество разрешили мне приблизиться к вашей особе, вы сделали меня членом государственного совета и поручили мне различные миссии”. - Это потому, что я считал вас честным человеком; и, кроме того, я не склонен к недоверию. Сам не зная почему, я считал вас человеком безупречной порядочности во всем, что касалось денежных вопросов. Если бы вы хоть словом обмолвились мне о вашем деле с П. о коммерческих лицензиях[...?], я бы немедленно воздал вам должное. Но, повторяю, я никогда не стал бы привлекать вас к каким-либо политическим делам”. — “В таком случае, сир, - сказал я, - какому только риску я не подверглся, находясь в Париже и Голландии! Англичане были тогда расположены к нам так же, как мы сейчас относимся к ним, и под влиянием моих старых связей я отважился вопреки вашим инструкциям пересылать их письма, когда мне показалось, что они не содержат ничего предосудительного. Какой опасности я не подвергся бы, если бы мое поведение вызвало какое-либо обвинение со стороны министра полиции! И все же я понимал, что всего лишь очень естественно и по своему усмотрению использую полномочия, которыми Ваше величество меня наделили, и доверие, которое вы оказали мне. Я чувствовал себя настолько довольным своей совестью и был настолько убежден в правильности своих намерений, что считал себя свободным от соблюдения правил, которые, казалось, были созданы не для меня”. — “Что ж, - заметил император, - я мог бы все это предвидеть, я бы с готовностью поверил вам за такое объяснение вашего поведения; ибо никто так не готов прислушиваться к голосу разума, как я. Именно таким образом я хотел, чтобы был исполнен долг; и все же несомненно, что вы были бы осуждены, если бы ваше поведение стало предметом расследования, потому что все были бы уверены, что ваше поведение было подняли свой голос против вас. Таков был фатализм обстоятельств и несчастье моего положения. Кроме

того, когда однажды у меня возникло предубеждение, я сохранил его: это снова было несчастьем моего положения и моих обстоятельств. Но как могло быть иначе? У меня не было времени вдаваться в подробности. Я мог принимать во внимание только краткие сведения. Я был совершенно уверен, что иногда меня могут обмануть; но где была моя альтернатива? Немногие правители преуспевали лучше, чем я.

“Сир, ” сказал я, “ я испытал глубокое унижение, обнаружив, что ваше Величество ни разу не обратилось ко мне ни словом в ваших Придворных кругах и на приемах. И все же вы никогда не упускали случая поговорить обо мне с моей женой, когда мне случалось отсутствовать: иногда я думал, что вы меня плохо знаете, или опасался, особенно в более поздние времена, что у вашего величества были какие-то причины быть недовольным мной.” — “Ни в коем случае, - возразил император. - Если я и говорил о вас в отсутствие, то только потому, что взял за правило всегда говорить с дамами об их мужьях, когда последние отправлялись с поручениями. Если я пренебрегал вами, когда присутствовал, это было потому, что я придавал вам слишком мало значения. То же самое было и со многими другими людьми; вы были смешаны с массой, вы занимали в моем отношении всего лишь рядовое положение. Вам было разрешено приблизиться ко мне, и все же вы не воспользовались этой привилегией с пользой; вас посылали на миссии, и все же вы пренебрегли преимуществами этих встреч по возвращении домой. Оставаться на задворках при дворе - большой грех. В моих глазах вы были фактически пустым местом. Тем не менее, я припоминаю, что иногда у меня возникали мысли нанять вас. Человек, связанный с министерством, от которого вы в какой-то мере зависели, который объявил себя вашим другом и в чьих силах было служить вам, отвлек мое внимание от вас и способствовал сохранению моего безразличия к вам. Он хорошо знал вас и, возможно, боялся вас; и хорошо известно, что во всех случаях я быстро принимался за работу”. — “Сир, - ответил я, - мое положение было тем более тяжелым, что мои друзья постоянно поздравляли меня с благосклонностью, оказанной мне при Дворе, и предсказывали блестящую удачу, которая меня ожидала. Постоянно появлялись слухи о том, что я был назначен на всевозможные должности: иногда утверждалось, что я был назначен морским префектом Бреста, Тулона или Антверпена; что я был назначен министром внутренних дел или морского флота; или что я получил важное доверие, связанное с образованием короля Рима, и т.д.”. “Что ж, — сказал император, — теперь, когда вы напомнили мне об этом, некоторые из этих слухов были не совсем лишены оснований. Я, конечно, вынашивал идею нанять вас для помощи в образовании римского короля; и я также намеревался по вашему возвращению в Голландию назначить вас морским префектом Тулона, который в то время я рассматривал как своего рода министерство. На рейде стояло двадцать пять линейных кораблей, и я хотел увеличить их количество. В данном случае ваш друг, министр, отвлек мое внимание от вас. Вы принадлежали к старому флоту, заметил он; ваши предрассудки и предрассудки новых офицеров неизбежно должны столкнуться друг с другом. Это показалось мне решительным возражением против вашего назначения, и я больше не думал о вас; но теперь, когда я узнал вас поближе, я обнаружил, что вы были именно тем человеком, которого я искал. Я думаю также, что у меня были некоторые другие соображения относительно вашего продвижения; но я должен снова повторить, что вы пренебрегли своими собственными интересами. Вы отступили, когда должны были продвинуться. Нужно ли мне говорить вам, что при самых благих намерениях с моей стороны шанс не получить назначение на важный пост был так же велик, как шанс выиграть приз в лотерею. Мне пришла в голову одна идея, и я принял свое решение; но если это решение не было немедленно приведено в исполнение, оно ускользнуло из моей памяти, потому что у меня было так много дел. Затем был

предложен более удачливый кандидат, и он был утвержден в должности.—Но я прерываю вас....”

“Сир, ” продолжал я, - не зная о добрых намерениях вашего величества в отношении меня, я оказался в поистине нелепом положении среди многочисленных поздравлений, которые я получил. Я старался выпутаться из всего этого затруднительного положения как можно более изящно; но чем больше усилий я прилагал для этой цели, тем больше меня упрекали в моей скромности. Я никогда не просил ваше величество больше чем об одной вещи, и это была должность Распорядителя запросов, которая была немедленно предоставлена мне. Кларк упрекнул меня в том, что я унизил свое достоинство, обратившись с подобной просьбой. Он сказал, что мне следовало бы попросить о присвоении мне звания государственного советника и что ваше величество удовлетворили бы мою просьбу”. — “Нет, - ответил император, “ я недостаточно хорошо знал вас для этого. Я бы расценил такую просьбу как результат глупого честолюбия”. — “Сир, - заметил я, “ у меня хватило такта угадать, каким будет ваше мнение”. — “Что ж, - продолжал император, - это было достаточно странно. Но, возможно, Кларк все-таки была права. По моему мнению, домогательство низшей должности Распорядителя запросов могло повредить вам; иными словами, это могло привести к закреплению за вами того ранга, к которому я вас причислил. Мне было очень приятно видеть, что моим камергерам есть чем заняться; но Распорядитель запросов был слишком тривиальной должностью. Любопытно, ” продолжал он, “ как оживает моя память теперь, когда я заговорил на эту тему. Вы оказывали отдельные услуги, которые быстро ускользнули из моих воспоминаний, потому что мое внимание никогда не было направлено на них. Если бы они были представлены моему вниманию всей толпой, они, должно быть, сформировали бы у меня совсем другое мнение о вас. Вы служили волонтером во Флашинге. Я знал это; и то, что я расценил бы как нечто само собой разумеющееся у любого другого человека, сильно поразило меня в эмигранте, который с этой целью оставил свою семью и который был не без состояния”. — “Сир, по возвращении я получил самую приятную награду. Ваше величество говорили со мной на эту тему”. — “Но, - сказал он, - вы допустили, чтобы это было потеряно в потоке забвения. Вы направили мне несколько письменных сообщений. Все это постепенно всплывает в моей памяти. Вы передали мне некоторые планы относительно Адриатического моря, которые мне очень понравились. Предлагалось овладеть Адриатическим морем и основать там флот. Корабли можно было строить без особых затрат, используя древесину, добытую в огромных лесах Хорватии. Я представил все это министру, который больше никогда не упоминал при мне об этом предмете. Но вы обратили мое внимание на некоторые другие вещи”. — “Сир, вы, вероятно, намекаете на идеи, касающиеся системы ведения войны на море, которая должна быть принята против Англии, сопровождаемые пояснительной картой”. — “Да, я припоминаю. Карта несколько дней пролежала на столе в моем шкафу. Я выразил желание увидеть вас, но вы отсутствовали на задании.

“Сир, примерно в то же время я имел честь представить вам план преобразования Марсова поля в *Наумахию*, которая стала бы украшением дворца римского короля. Я предложил вырыть бассейн достаточной глубины, чтобы можно было спускать на воду небольшие корветы, которые могли быть построены, оборудованы, укомплектованы персоналом и обслуживаться воспитанниками военно-морского училища, которое, согласно моему плану, должно было быть создано при военном училище. Возможно, от всех принцев императорского дома потребовалось бы посвятить себя этим военно-морским учениям в течение двух лет, какова бы ни была их конечная цель. Ваше величество могли бы таким образом побудить выдающиеся

семьи империи привить своим сыновьям познания в военно-морском деле. Я не сомневался, что все эти обстоятельства в совокупности и зрелище, представшее столице, безошибочно сделали бы военно-морской флот популярным и национальным во Франции". — "Ах! Я не был осведомлен о масштабах вашего плана, - сказал император, в уме которого каждая идея немедленно преувеличивалась. "Этот план пришелся бы мне по вкусу. Он мог бы привести к огромным результатам. От этого плана оставался всего один шаг до того, чтобы сделать Сену судоходной и прорубить канал от Парижа к морю. Это не могло рассматриваться как слишком грандиозное предприятие, ибо больше было сделано римлянами в древние времена, и больше уже сделано китайцами наших дней. Это стало бы развлечением для армии в мирное время. У меня было много планов такого же рода. Но наши враги держали меня прикованным к войне. Какой славы они лишили меня!... Но продолжай". —

"Сир, я также представил на рассмотрение вашего величества некоторые идеи относительно завершения военно-морских училищ". — "Перенял ли я их в школах, которые основал?" - спросил император. "Ваше мнение совпало с моим?" "Сир, планы для ваших школ уже были определены; я просто дал несколько советов по их завершению". — О, теперь я кое-что припоминаю по этому поводу. Но я думаю, что ваши идеи были немного чересчур демократичны, не так ли?" — "Нет, сир, я исходил из принципа, согласно которому ваше Величество предусмотрели исключительно соревнование среднего класса, и я предложил добавить ниже все шансы, которые могут быть предоставлены соревнованием моряков; а выше - все шансы, которые могут возникнуть в результате соревнования лиц, связанных с Двором". — "Да, я припоминаю, - сказал император, - ваши идеи были новыми и необычными, и они привлекли мое внимание. Я представил этот план министру, который либо сохранил его для собственного использования, либо превратил в посмешище. Я также помню, что в переписке, касающейся вашей миссии в Голландию, которую я приказал представить мне, упоминался план переброски наших кораблей из Немецкого океана в Балтийский посредством каналов, которые должны соединить Эльбу, Одер и Вислу. Эта идея понравилась мне; она пришлась по моему вкусу. И по возвращении, увидев вас на моей дамбе, я собирался предложить вам кое-какие меры для осуществления вашего плана. Но вы, похоже, не поняли моих вопросов или дали мне неудовлетворительные и неопределенные ответы. Я пришел к выводу, что идеи, вероятно, были предложены кем-то другим и что вы приписываете их себе. Поэтому я оставил вас и повернулся, чтобы поговорить с вашим соседом. Я был виноват в том, что действовал так опрометчиво; но я ничего не мог с собой поделать.

Когда я вспоминаю все эти обстоятельства, я нахожу, что у меня было так много причин уделять вам внимание, что я удивляюсь, как я мог пренебречь вами; и я не могу отделаться от мысли, что вы, должно быть, великолепно маневрировали, прежде чем вам удалось так полностью скрыться от моего внимания. Совершенно очевидно, что все эти факты только сейчас пришли мне в голову: и в момент нашего отъезда, и некоторое время спустя, вы были мне незнакомы, за исключением вашего имени и личности. Я смотрел на вас как на человека, о котором ничего не знал. Как вы это объясняете? Возможно, вы не можете этого объяснить; но, тем не менее, это правда.

"Я спрашиваю снова, почему вы не воспользовались добрыми услугами ваших друзей; или почему вы не обратились ко мне лично?" — "Сир, те, кто пользовался привилегией приближаться к вам ближе всего, были озабочены только продвижением своих собственных интересов. Их дружба не простиралась дальше простых добрых пожеланий. Замолвить

словечко за другого было тем, что они называли использованием своего влияния; и это было сделано исключительно для их собственной выгоды. Кроме того, даже при том, что у меня была возможность высказаться за себя, я всегда предпочитал, чтобы другие говорили за меня. У вас, сир, было мало свободного времени, ваши приготовления были очень неопределенными, необходимо было объяснить вам все в нескольких словах. В то же время я был так мало уверен в себе и так боялся произвести неблагоприятное впечатление, что предпочел скрыться от вашего внимания. Ибо недостаточно было вступить в интригу; необходимо было, чтобы интрига была доведена до результата". — "Возможно, в конце концов, это было и к лучшему", - сказал император. "Вы правильно рассудили, ибо, даже если бы я знал о вас столько, сколько знаю сейчас, ваша сдержанность и робость, возможно, погубили бы вас. Теперь я вспоминаю одно обстоятельство, которое, вероятно, пошло вам во вред. Когда господин де Монтескью предложил вам пост камергера, он представил вас как обладателя огромного состояния; но вскоре я узнал обратное. Я не хочу сказать, что это обстоятельство каким-либо образом повредило вам или что оно давало какие-либо основания для возражений против вас лично; но другие люди, желавшие быть назначенными камергерами, жаловались на то, что им не отдали предпочтения из-за их превосходства в состоянии, или приводили ваш пример, если считали, что ими пренебрегли из-за их бедности. Так принято при дворе".

"Представляется очевидным, сир, что с моим характером мне не суждено было быть известным вашему величеству". — "Да", - сказал император, и это почти произошло. Но все же, по возвращении, разве я не назначил вас камергером? а их число было очень ограничено. Разве я не сразу же произвел вас в государственные советники? Вы были представителем старой аристократии, вы были эмигрантом и прошли через большие испытания; все это было для меня мощными рекомендациями. Кроме того, в то время так много голосов было поднято в похвалу вашему поведению, что рано или поздно я должен был узнать вас досконально".

## ПРИБЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ.—СВИДЕТЕЛЬСТВО ХОРНЕМАНА В ПОЛЬЗУ ГЕНЕРАЛА БОНАПАРТА.

22—го.—Сегодня была очень плохая погода. Император послал за мной около трех часов. Он находился в топографическом кабинете, окруженный всеми членами своей свиты, которые были заняты распаковкой каких-то коробок с книгами, прибывшими пароходом "Ньюкасл". Сам Император помогал распаковывать вещи, и, казалось, его очень забавляло это занятие. Люди естественным образом приспосабливаются к обстоятельствам: их удовольствия ничтожны по мере того, как суровы их страдания. Увидев подшивку журнала *Moniteurs*, которую так долго ждали, он выразил неподдельный восторг: взял ее и принялся жадно просматривать.

После обеда император ознакомился с путешествиями Пака и Хорнеманна по Африке и проследил их маршрут по моему Атласу. В этих рассказах Хорнеманн и Лондонское африканское общество убедительно свидетельствуют о щедрой помощи, которую они получили от главнокомандующего египетской армией (Наполеона), который пользовался любой возможностью для популяризации их открытий. Вежливая и обходительная манера, в которой были упомянуты эти факты, была очень приятна императору, который давно привык, что его имя ассоциируется с оскорбительными эпитетами.

## НА ПАМЯТЬ.—ТОРГОВЛЯ.—ИДЕИ И ПЛАНЫ НАПОЛЕОНА По НЕСКОЛЬКИМ ПУНКТАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.

23—го. - Я был у императора около трех часов. Он был так обрадован получением своих новых книг, что провел всю ночь за чтением и диктовкой заметок Маршану. Он был очень утомлен, но мой визит дал ему небольшую передышку. Он оделся и вышел прогуляться по саду.

Во время ужина император упомянул о своей огромной начитанности в юности; и он обнаружил из всех прочитанных им книг, касающихся Египта, что ему почти нечего исправить в том, что он продиктовал о Египте: он изложил множество фактов, которых не читал, но которые, ссылаясь на эти книги, он нашел правильными.

Разговор зашел о памяти. Император заметил, что голова без памяти подобна гарнизону без укреплений. Его память, по его словам, была полезной. Она была не общей и абсолютной, а относительной, верной и сохраняла только то, что было необходимо. Кто-то из присутствующих заметил, что его собственная память подобна его зрению, что она запутывается из-за удаленности мест и предметов по мере того, как он переходит от одной ситуации к другой; на что император ответил, что, со своей стороны, его память подобна его сердцу, что оно хранит верное впечатление обо всем, что когда-либо было ему дорого.

Исходя из доброй памяти и приятных воспоминаний, я должен здесь записать замечание императора, о котором я не упомянул в то время, когда оно было сделано. Однажды за ужином, описывая одно из своих сражений в Египте, он назвал численно восемь или десять полубригад, которые были задействованы. Услышав это, мадам Бертран не смогла удержаться от вопроса, как по прошествии столь долгого времени он смог вспомнить все эти цифры. "Мадам, это воспоминания влюбленного о его бывших любовницах", - был ответ Наполеона.

После обеда император приказал принести ему мой Атлас с целью проверки сведений, которые он собрал в своих книгах об Африке, и был поражен, обнаружив, что все так точно соответствует действительности.

Затем он начал рассказывать о торговле, а также о принципах и системах, которые он ввел. Он выступал против принципов экономистов, которые, по его словам, были правильными в теории, хотя и ошибочными в их применении. Политическое устройство различных штатов, продолжал он, должно приводить к дефектам этих принципов; местные обстоятельства постоянно требуют отклонений от их единообразия. Пошлины, сказал он, которые были так сурово осуждены политэкономистами, не должны, это правда, быть объектом казначейства: они должны быть гарантией и защитой нации и должны соответствовать характеру и объектам ее торговли. Голландия, которая лишена производств и мануфактур, и которая занимается только транзитной и комиссионной торговлей, должна быть свободна от всех пут и барьеров. Франция, напротив, богатая всеми видами продукции и мануфактур, должна постоянно остерегаться импорта конкурента, который все еще может продолжать превосходить ее, а также алчности, эгоизма и безразличия простых брокеров.

"Я не впал в ошибку современных систематизаторов, - сказал император, - которые воображают, что вся мудрость народов сосредоточена в них самих. Опыт - это истинная мудрость народов. И к чему сводятся все рассуждения экономистов? Они непрестанно превозносят процветание Англии и ставят ее в качестве нашего образца; но таможенная

система в Англии более обременительна и произвольна, чем в какой-либо другой стране. Они также осуждают запреты; однако именно Англия подала пример запретов, и они действительно необходимы в отношении определенных объектов. Обязанности не могут адекватно заменить запреты: всегда найдутся средства нанести ущерб цели законодателя. Во Франции мы все еще очень сильно отстаем в этих деликатных вопросах, которые все еще не осознаются или плохо понимаются массами общества. И все же, какого прогресса мы только не достигли! Какая правильность идей была привнесена моей постепенной классификацией сельского хозяйства, промышленности и торговли - объектов, столь различных самих по себе и представляющих собой такую большую и позитивную градацию!

"1. —*Сельское хозяйство*; душа, первая основа империи.

"2—е место.—*Промышленность*; комфорт и счастье населения.

"3. —*Внешняя торговля*; переизбыток, надлежащее применение излишков сельского хозяйства и промышленности.

"Сельское хозяйство постоянно улучшалось на протяжении всего хода революции. Иностранцы считали, что во Франции оно разорилось. Однако в 1814 году англичане были вынуждены признать, что нам практически нечему у них учиться.

"Промышленность, или мануфактуры, и внутренняя торговля достигли огромного прогресса во время моего правления. Применение химии к мануфактурам привело к тому, что они продвинулись гигантскими шагами. Я дал импульс, действие которого распространилось по всей Европе.

"Внешняя торговля, которая по своим результатам бесконечно уступает сельскому хозяйству, в моем представлении имела второстепенное значение. Внешняя торговля предназначена для сельского хозяйства и отечественной промышленности, а не два последних для первой. Интересы этих трех фундаментальных баз расходятся и часто противоречат друг другу. Я всегда приводил их в соответствие с их естественной градацией; но я не мог и не должен был ставить их всех в равное положение. Время раскроет то, что я сделал, национальные ресурсы, которые я создал, и эмансипацию от англичан, которую я осуществил. Теперь у нас есть секрет торгового договора 1783 года. Франция все еще протестует против его автора, но англичане потребовали этого под страхом возобновления войны. Они хотели сделать то же самое после заключения Амьенского мирного договора, но тогда я был всемогущ; во мне было сто локтей роста. Я ответил, что если бы они владели высотами Монмартра, я бы все равно отказался подписать договор. Эти слова эхом прокатились по Европе.

Англичане теперь навязывают Франции какой-нибудь подобный договор, по крайней мере, если народный шум и противодействие широких народных масс не заставят их отступить. Это рабство было быдополнительным позором в глазах этой нации, которая сейчас начинает приобретать справедливое представление о своих собственных интересах.

"Когда я пришел к главе правительства, американские корабли, которым было разрешено заходить в наши порты из-за их нейтралитета, привезли нам сырье и имели наглость отплыть из Франции без фрахта, с целью принять грузы английских товаров в Лондоне. Более того, они имели наглость производить свои платежи, когда им было что производить, выставя счета на лиц в Лондоне. Отсюда огромные прибыли, полученные английскими фабрикантами и

брокерами, исключительно в ущерб нам. Я издал закон, согласно которому ни один американец не должен импортировать товары в любом количестве без немедленного экспорта их точного эквивалента. Против этого был поднят громкий протест: говорили, что я разрушил торговлю. Но каковы были последствия? Несмотря на закрытие моих портов и вопреки англичанам, которые правили морями, американцы вернулись и подчинились моим правилам. Чего бы я не сделал при более благоприятных обстоятельствах?

"Таким образом, я натурализовал во Франции производство хлопка, которое включает в себя:—

"1-е. *Пряденый хлопок*.— Раньше мы не пряли его сами; англичане предоставили нам его в качестве своего рода одолжения.

2-й. *Тканые материалы*.— Мы его еще не изготовили, он пришел к нам из-за границы.

"3-й. *Печать*.— Это была единственная часть изготовления, которую мы выполнили сами. Я хотел натурализовать две первые ветви; и я предложил Государственному совету запретить их ввоз. Это вызвало большую тревогу. Я послал за Оберкампом и долго беседовал с ним. Я узнал от него, что этот запрет, несомненно, вызовет шок, но что после года или двух упорства он станет триумфом, из которого мы извлечем огромные выгоды. Тогда я издал свой указ, несмотря ни на что; это был настоящий образец государственной мудрости.

Сначала я ограничился простым запрещением тканого хлопка; затем я распространил запрет на прядение хлопка; и теперь мы владеем тремя отраслями хлопчатобумажной промышленности, к великой выгоде нашего населения и к огорчению англичан, что доказывает, что как в гражданском управлении, так и на войне, решительность характера часто необходима для успеха. Я предложил миллион франков в качестве награды за открытие метода прядения льна подобно хлопку, и это открытие, несомненно, было бы сделано,<sup>[24]</sup> если бы не наши печальные обстоятельства. Тогда я бы запретил хлопок, если бы не мог натурализовать его на континенте.

"Поощрение производства шелка было предметом, который в равной степени привлекал мое внимание. Как император Франции и король Италии я рассчитывал получать годовой доход в 120 миллионов долларов от производства шелка.

"Система коммерческих лицензий, без сомнения, была вредной! Боже упаси, чтобы я взял это за принцип. Это было изобретение англичан; для меня это был лишь сиюминутный ресурс. Даже континентальная система, в ее масштабах и строгости, рассматривалась мной просто как мера, вызванная войной и временными обстоятельствами.

"Трудности и даже полный застой внешней торговли во время моего правления возникли в силу обстоятельств и случайностей того времени. Один короткий промежуток мира немедленно вернул бы его на естественный уровень".

## АРТИЛЛЕРИЯ.—ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ.—ЕЕ НЕДОСТАТКИ.—СТАРЫЕ ШКОЛЫ.

24—го.- Император сообщил нам, что он потратил целых двадцать четыре часа на чтение "Монитер" по вопросу об Учредительном собрании. Он сказал, что нашел эти рассказы забавными, как роман; они знаменуют первое возвышение тех людей, которые в более поздний период сыграли столь выдающуюся роль. Однако, по его словам, необходимо иметь представление о внешних побудительных мотивах действий, в противном случае отчеты о работе Учредительного собрания в значительной степени теряют свой интерес и часто

становятся невразумительными. Дух первых моментов, первые интересы Революции оставались полностью скрытыми.

После обеда император беседовал на тему об артиллерии. Он желал большего единообразия и меньшего разделения частей. Генерал часто был не в состоянии определить наилучший способ их применения, и ничто не могло превзойти преимущества единообразия во всех орудиях и принадлежностях accessories с войной.

Император заметил, что в целом артиллерия в бою стреляет недостаточно. Главное на войне - не должно быть недостатка в боеприпасах. Конечно, когда возникает фактический дефицит, это составляет исключение; но в любом другом случае необходимо вести непрерывный огонь. Император, который сам часто был чуть не убит стреляными пулями и который знал, насколько важным было бы такое событие для судьбы сражения или кампании, придерживался правил постоянной стрельбы, не считаясь с расходами. Более того, он сказал, что если бы он хотел избежать опасного поста, то расположился бы на расстоянии 300 туазов, а не 600. В первом упомянутом пункте мячи часто пролетают над головой; но в последнем они должны куда-то упасть.

Он заметил, что было невозможно вести артиллерийский огонь по скоплениям пехоты, когда они сами подвергались атаке противоположной батареи. Это происходит от природной трусости, сказал он добродушно, от непреодолимого инстинкта самосохранения. Находившийся среди нас артиллерийский офицер запротестовал против этого замечания.— Тем не менее это правда, - продолжал император, “ вы немедленно становитесь настороже против врага, который нападает на вас. Вы стремитесь уничтожить его, чтобы он не уничтожил вас. Вы часто воздерживаетесь от стрельбы, чтобы он мог перестать беспокоить вас и направить свою атаку против масс пехоты, которые имеют гораздо большее значение для исхода сражения ”.

Император часто обращался к артиллерийскому корпусу, в котором он служил в молодости. Он сказал, что это самый хорошо сформированный корпус в Европе. Это была своего рода семейная служба. Офицеры вели себя по-отечески, самые храбрые и достойные люди в мире, чистые как золото. Они были несколько слишком далеко продвинуты в жизни, потому что мир продолжался слишком долго. Молодые люди смеялись над ними, потому что сарказм и ирония были в моде того времени; но они обожали их и никогда не упускали случая воздать должное их достоинствам.<sup>[25]</sup>

25—го.- Мы получили третью и последнюю посылку книг, доставленную фрегатом. Император сильно утомил себя, помогая распаковывать и расставлять их.

Около трех часов несколько человек были представлены императору; среди прочих адмирал и его супруга. Императору нездоровилось, и он обедал в своих покоях в присутствии великого маршала.

## ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ.—МНЕНИЕ ИМПЕРАТОРА О ГЕНЕРАЛЕ

ДРУО.—О БИТВЕ При ГОГЕНЛИНДЕНЕ.

26—го. Император послал за мной и моим сыном и поручил нам просмотреть "Монитор" с целью сравнения и завершения рукописи "Кампании в Италии".

Император, хотя и объявил о своем намерении сделать это, еще не возобновил диктовку, и я обрадовался обстоятельству, которое обещало, наконец, возбудить новый интерес.

Нашей задачей было отобрать у Moniteur все отчеты и официальные письма для получения ваучеров. Император пожелал, чтобы они были должным образом классифицированы, и пожелал, чтобы мы оценили их объем, чтобы он мог сразу рассчитать место, которое они займут при печати, напомнив мне в то же время, что отныне это мои личные дела; что в будущем я должен заботиться только о себе. Восхитительные слова, которым тон его голоса, фамильярный вид и все выражение его лица придавали даже больше значения, чем передавалось в их значении!

Сегодня за обедом император снова оценил характер своих генералов. Он произнес хвалебную речь в адрес нескольких из них, большего числа из которых сейчас нет в живых. Он дал самую высокую оценку талантам генерала Друо. "Все в жизни представляет собой проблему, - сказал он. - только с помощью того, что известно, мы можем прийти к тому, что неизвестно". Он заметил, что ему точно известно, что генерал Друо обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать великим полководцем. У него было достаточно оснований полагать, что он превосходит многих своих маршалов. Он без колебаний верил, что тот способен командовать 100 000 человек. "И, возможно, - добавил он, - сам он был далек от такого мнения, что, в конце концов, можно рассматривать только как дополнительное хорошее качество".

Он снова упомянул о поразительной доблести Мюрата и Нея, чья храбрость, по его словам, так часто превосходила их здравый смысл. Такова загадка, сказал он, определенных поступков определенных индивидов: неравенство между предрасположенностью и пониманием объясняет все.

Разговор зашел о битве при Гогенлиндене. Император заметил, что "это был один из тех великих триумфов, которые даются случайно и достигаются без всякого плана. Моро, повторил он, был лишен изобретательности; он не был достаточно решителен; и, следовательно, он был наиболее пригоден для использования в обороне. Гогенлинден представлял собой запутанное дело; враг был неожиданно атакован в разгар его собственных операций и был захвачен войсками, которые он уже разбил и почти уничтожил. Заслуга в этом принадлежала главным образом войскам и генералам партикулярного корпуса, которые больше всего подвергались опасности и сражались как герои".

Говоря об итальянских кампаниях, мы заметили императору, что быстрая череда его ежедневных побед, наполнявших уста славой, должно быть, доставляла ему огромное удовольствие. — "Ни в коем случае", - ответил он. "По крайней мере, так предполагали те, кто находился на расстоянии от места конфликта". — Может быть, и так; те, кто был на расстоянии, знали только о наших успехах; они ничего не знали о нашем положении. Если бы эти победы могли доставить мне удовольствие, я наслаждался бы покоем. Но передо мной всегда маячила опасность, и сегодняшняя победа была быстро забыта из-за необходимости одержать другую завтра".

Я припоминаю, что слышал, как выдающийся генерал (Ламарк) высказал очень характерное мнение о Моро. Ламарк был очень привязан к Моро и долгое время служил под его началом. Он

пытался заставить меня понять разницу в тактике Моро и Наполеона. Он сказал: "Если бы их две армии были здесь и у меня было достаточно времени для продвижения, я бы вступил в ряды Моро, которыми, несомненно, управляли с предельной регулярностью, точностью и расчетом. По этим пунктам было невозможно превзойти или даже сравняться с Моро. Но если бы двум армиям пришлось сближаться из пунктов, удаленных друг от друга на сто лиг, император разгромил бы своего противника три, четыре или пять раз, прежде чем последний успел бы оглядеться".

## РАЗДРАЖЕНИЕ ОТ КРЫС.—САМОЗВАНСТВО ЛОРДА КАСЛРИ.—ФРАНЦУЗСКИЕ НАСЛЕДНИЦЫ.

Четверг, 27—го. - Мы чуть не остались без завтрака: нашествие крыс, которые ночью проникли в нашу кухню с нескольких сторон, лишило нас всего съедобного. Мы буквально кишим этими паразитами; они огромных размеров, очень смелые и озорные; им потребовалось очень мало времени, чтобы проникнуть в наши стены и полы. Привлеченные запахом еды, они даже пробрались в нашу гостиную, пока мы ужинали. Нам несколько раз приходилось давать им бой после десерта; и однажды вечером, когда император пожелал удалиться и ему подали шляпу, из нее выпрыгнула крыса самых больших размеров. Наши конюхи пытались выращивать домашнюю птицу, но были вынуждены отказаться от этой попытки, потому что крысы съели всю домашнюю птицу. Они даже хватали их ночью на насестах.

Император в этот день переводил какую-то рецензию или журнал, в котором упоминалось, что лорд Каслри заявил на публичном собрании, что Наполеон, даже после своего падения, не колеблясь заявлял, что до тех пор, пока он будет править, он будет продолжать войну против Англии, никогда не имея иной цели, кроме ее уничтожения.

Император не мог не почувствовать раздражения от этих слов. "Лорд Каслри," сказал он с негодованием, "должно быть, очень привык лгать и очень полагается на доверчивость своих слушателей. Может ли их собственный здравый смысл позволить им поверить, что я когда-либо мог произнести такую глупую речь, даже если бы у меня были такие намерения!"

Впоследствии было заявлено, что лорд Каслри сказал в парламенте, что причина, по которой французская армия была так сильно привязана к Бонапарту, заключалась в том, что он провел своего рода призыв всех наследниц империи, а затем распределил их среди своих генералов. "И здесь," заметил император, "лорд Каслри намеренно лжет. Он пришел кнам; у него была возможность увидеть наши нравы и законы и узнать правду; он должен быть уверен, что это совершенно невыполнимо и не в моей власти. За кого он принимает нашу нацию? Французы никогда не были способны подчиниться такой тирании. Я, без сомнения, заключил огромное количество пар; и я бы с радостью заключил еще тысячи; это был один из самых эффективных методов объединения непримиримых фракций. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы приложил немало усилий, чтобы распространить эти союзы на провинции и даже на Рейнскую конфедерацию, чтобы укрепить связь этих отдаленных частей империи с Францией; но в таких делах я использовал только свое влияние, но никогда - свой авторитет. Лорд Каслри пренебрегает подобными различиями; для его политики важно выставить меня одиозной; он не щепетилен в средствах; он не брезгует никакой клеветой; у него есть все преимущества передо мной. Я закован в цепи; он принял все возможные меры предосторожности, чтобы держать мой рот на замке и не дать мне возможности что-либо

ответить, а я нахожусь за тысячу лиг от места действия; его позиция командирская; ничто не стоит у него на пути. Но, безусловно, такое поведение является *верхом* наглости, низости и трусости”.

Теперь я приведу пример, который может послужить доказательством справедливости приведенного выше утверждения Наполеона относительно французских наследниц. Я получил отчет из уст человека, которого это больше всего интересовало.

У г-на д'Алигре была дочь, наследница огромного состояния: император задумал выдать ее замуж за г-на де Коленкура, герцога Виченцкого, к которому он питал такое особое уважение, что на него смотрели как на своего рода фаворита. Его личные качества, не в меньшей степени, чем высокая официальная должность, сделали его одним из первых лиц в империи. Поэтому император никогда не предполагал, что для этого союза может возникнуть хоть малейшее препятствие. Он послал за г-ном д'Алигром, который часто бывал при дворе, и изложил свою просьбу; но у г-на д'Алигра были другие взгляды, и он отклонил этот союз. Наполеон всячески настаивал на этом, но г-н д'Алигре оставался непоколебим. Из его манеры рассказывать мне об этом деле было очевидно, что он думал, что проявил большое мужество, и, фактически, он заслуживал похвалы за то, что сделал это, поскольку он, как и все мы, полагал, что очень опасно препятствовать желаниям императора. Однако все мы ошибались; мы не знали Наполеона. Теперь я убежден, что правосудие по отношению к отдельным людям и, в частности, права семьи для него священны; и я никогда не слышал, чтобы мсье д'Алигре испытывал какие-либо неудобства из-за своего отказа.

После обеда император попробовал несколько романов Пиго Ле Брюна и другие в том же роде, но тщетно: перелистав по несколько страниц каждого, он забраковал их все, сказав, что все они очень безвкусны.

## ЗАЯВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА О РАСХОДАХ КОМПАНИИ "ЛОНГВУД Энд Си"

Пятница, 28—е. Ближе к часу дня император послал за мной и моим сыном. Мы отнесли ему первую главу "Кампаний в Италии", завершив ее нашей последней работой. Он задержал нас почти до шести часов.

Губернатор нанес визит главному маршалу и в туманной форме дал ему повод ожидать некоторых сокращений в Лонгвуде. Он заявил с некоторой простотой, что в Лондоне ожидали, что разрешение, которое было предложено нам вернуться в Европу, значительно уменьшило бы внутренний круг императора. Он также сказал, не будучи хорошо понят великим маршалом, что, если бы у нас была какая-либо частная собственность, мы могли бы воспользоваться нашими собственными деньгами, используя наши собственные средства, как я уже сделал. Его правительство, по его словам, никогда не намеревалось разрешать императору больше, чем стол максимум на четыре персоны в день, а компании обедать раз в неделю. Что за заявление! Возможно ли, что он хотел намекнуть, что по отношению к нам мы должны оплачивать наше содержание и вносить свой вклад в будущем в расходы заведения? Пусть это не кажется невероятным: здесь мы ежедневно учимся верить в то, что нет ничего невозможного.

Впоследствии император, возвращаясь к книге, которую он читал и в которой была история ирландской леди, в отношении которой Голдсмит жестоко оскорбил его, хорошо помнил, по его словам, что, находясь в Байонне в замке Маррах, когда город Бурдо устраивал ему *праздник*, он

увидел рядом с императрицей Жозефиной очаровательное лицо самой совершенной красоты, которое его сильно поразило. Впечатление, произведенное ею, не осталось незамеченным. Это было предвидено и осуществлено преднамеренно. “Бог знает, ” сказал император, “ с каким намерением. Она была мисс, впоследствии мадам, новой читательницей императрицы Жозефины, которую она посещала в замке Маррах, и, вполне возможно, имела большой успех. Она уже занимала мои мысли, когда месье де Лавалетт, возглавлявший секретный отдел почтового ведомства, разрушил амулет. Он отправил письмо, адресованное этой молодой леди, непосредственно мне. Оно было от ее матери или тети, ирландки, и содержало подробные указания относительно роли, которую ей предстояло сыграть, и особенно настоятельно призывало ее во что бы то ни стало заручиться таким живым залогом, который мог бы продлить ее империю, или, по крайней мере, обеспечить ее огромное влияние. Когда я прочитал это, ” сказал император, “ все иллюзии исчезли. Грубость интриги, низость деталей, стиль, рука, написавшая письмо; но, прежде всего, то, что она иностранка, вызвало немедленное отвращение; и хорошенькая маленькая ирландка была, действительно, как говорит Голдсмит, посажена в почтовую карету и внезапно отправлена в Париж. И вот я нахожу, ” продолжал Наполеон, - клевету, вменяющую мне это в вину как преступление, тогда как на самом деле это было скорее моей добродетелью; акт воздержания, которым я, возможно, мог бы похвастаться с гораздо большим основанием, чем знаменитый Сципион. Но именно так пишется история”.

После ужина, когда мы обсуждали, что нам прочесть, император сказал, что, поскольку мы признались, что у нас не хватает ума рассказать каждому его историю, нам следует, по крайней мере, предоставить самим выбирать по очереди вечернее чтение; и он начал со своей части, назвав поэму "О питии" аббата Делиля. Он считал стихи хорошими, язык чистым, идеи приятными; тем не менее, как он заметил, в них не было ни воображения, ни теплоты. По стихосложению он, несомненно, превосходил Вольтера, но все же намного уступал другим нашим великим мастерам.

Суббота, 29-е. Император завтракал в саду и пригласил всех нас. После завтрака он вышел проветриться в коляске. Он был в хорошем настроении и сплотил всех нас по очереди. Одному он сделал комплимент по поводу красоты и элегантности его апартаментов, другому - по поводу сумм, которые губернатор заплатил за него и которые вскоре будут увеличены за счет солидного запаса детского постельного белья; меня он поздравил со вкусом, который, по-видимому, проявил губернатор к моим переводным векселям, что побудило его Превосходительство пожелать, чтобы остальные выписывали векселя таким же образом. Он рассмеялся, и его очень позабавили наши замечания друг о друге. Погода внезапно изменилась и вынудила его вернуться домой.

После обеда император прочитал несколько отрывков из Мильтона в переводе аббата Делиля. Он считал, что стихосложение очень уступает поэме "О питии"; и, фактически, это было произведение, предписанное автору, написанное во время его эмиграции, во время пребывания в Лондоне, и опубликованное по подписке.

Во время всей нашей утренней поездки разговор вертелся вокруг наших королей и их любовниц: мадам де Монтеспан, де Помпадур, Дюбарри и других. Принцип горячо обсуждался, мнения расходились и упорно отстаивались. Император развлекался тем, что попеременно переходил от одного мнения к другому. Однако в заключение он принял решение в пользу морали.

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛОНДОНСКОГО ДВОРА ВО ВРЕМЯ НАШЕЙ ЭМИГРАЦИИ.—ГЕОРГ III.—МИСТЕР ПИТТ.—ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ.—АНЕКДОТЫ.—НАССАУ.—ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭКСКУРС НАПОЛЕОНА В ЕГО СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ.

Воскресенье, 30—е. Император пожелал, чтобы меня позвали рано утром позавтракать с ним; он был печален, мрачен и не мог разговаривать; он не находил слов. Случайно упомянув Лондон и мою эмиграцию, император сказал, чтобы сосредоточиться на теме и найти что-нибудь, чем можно было бы занять свое внимание: “Вы, должно быть, видели в Лондоне Двор, короля, принца Уэльского, мистера Питта, мистера Фокса и других великих личностей, которые фигурировали в то время? Расскажите мне, что вы о них знаете. Что о них думали люди? Дайте мне исторический очерк”. — “Сир, ваше величество забывает или, возможно, никогда не были точно проинформированы о положении эмигранта в Лондоне. Я сомневаюсь, что нас должны были принять при дворе; старый добрый Георг III. был глубоко обеспокоен нашими личными невзгодами, но крайне неохотно признавал нас в политическом смысле. И если бы нас могли там принять, наши средства не позволили бы нам явиться. Поэтому я не обращался в суд. Однако я видел большинство из тех, кого упоминает ваше величество, и я также много слышал о них.

“Я несколько раз видел и слышал короля в Палате лордов и был очень близко к нему; принц Уэльский там же, а также в компании в столице. Кроме того, в Лондоне все не так, как во Франции; мы не находим там такого огромного расстояния между Двором и основной массой нации; страна так перенаселена, информация такая общая, образование такое равное, достаток такой распространенный, а сфера деятельности такая стремительная, что вся нация, кажется, находится в одном месте и на одном уровне; в то время как, глядя на это собрание, которое могло бы заслуживать названия выдающегося, возникает соблазн спросить: *где же народ?* именно этот вопрос, как говорят, задал Александр во время своего визита в Лондон. Из этого следует, что, повидав множество людей всех классов, состояний и мнений, я, должно быть, усвоил некоторые представления, по всей вероятности, очень близкие к истине. К несчастью, я тогда мало заботился о наблюдении и сборе информации; и я также боюсь, что по прошествии стольких лет моя память может затуманиться.

“Георг Третий был честнейшим человеком в своих владениях; его личные добродетели сделали его объектом глубокого почитания; исключительная нравственность и огромное уважение к законам были главными чертами всей его жизни. Он вззошел на трон в двадцатилетнем возрасте, глубоко влюбленный в очаровательную молодую шотландку из одной из первых семей страны, многие опасались, что он женится на ней; но достаточно было напомнить ему, что это противоречит закону, и он немедленно согласился жениться на особе, которая будет выбрана для него. Это была принцесса Мекленбургская. В своем горе он считал ее очень заурядной, и на самом деле она была такой; тем не менее Георг III. всю свою жизнь оставался образцовым мужем; никто не знал, что он был виновен ни в малейшей неверности.

“Восшествие на престол Георга III. в Англии произошла настоящая политическая революция: дни претендентов закончились; был основан дом Ганноверов; виги, которые возвели эту семью на трон, были отстранены от управления: они были беспокойными наблюдателями, в которых больше не нуждались. Правительство снова было захвачено тори, этими друзьями власти, которые с тех пор удерживали его, к большому ущербу общественной свободе.

Однако лично король был свободен от предрассудков в этом отношении: он искренне любил законы, справедливость, а также благополучие и процветание своей страны. Насильственная роль, предпринятая Англией против нашей французской революции, была гораздо меньшей виной Георга III. чем мистера Питта, который был настоящим зачинщиком. Последнее было спровоцировано крайней ненавистью к Франции, которую он унаследовал от своего отца, великого Чатема, а также сильным пристрастием к власти и олигархии. В начале нашей революции мистер Питт был человеком из народа: он управлял Англией; он привлек на свою сторону короля, на которого всегда нужно было воздействовать фактами; и следует признать, что эксцессы и преступления нашего начала предоставили очень благоприятные возможности для мер и красноречия мистера Питта. Вполне вероятно, сир, что если бы несчастный Георг III... сохранив рассудок, ваше величество в конечном итоге сочли бы это весьма выгодным для себя, потому что ваше правление представило бы его наблюдению новые факты, которым он бы уступил. Георг III. у него был свой вид и степень развития характера: это соответствовало его интеллектуальным представлениям: он хотел знать вещи, быть убежденным. Когда однажды он принял решение, было трудно заставить его изменить его; и все же это не было невозможно: его здравый смысл открывал большие возможности.

"Из-за этого его болезнь была проклятием для нас, проклятием для Европы и для самих англичан, которые теперь начинают отказываться от высокого мнения, которое они когда-то высказывали о мистере Питте, последствия роковых ошибок которого они теперь ощущают на себе.

"Это был первый приступ болезни короля, который укрепил репутацию и авторитет мистера Питта. Этому министру было немногим больше двадцати пяти лет, когда он отважился в одиночку встретиться с массой тех, кто покинул короля и считал его погибшим; и кто стремился объявить о недееспособности монарха, чтобы завладеть властью при его молодом преемнике. Такое поведение сделало мистера Питта кумиром нации. Это был самый славный период его жизни; и самым благородным его триумфом, несомненно, было дирижирование Георгом III. в собор Святого Павла, чтобы возблагодарить Бога за свое выздоровление среди огромного скопления людей, опьяненных радостью и удовлетворением.

Не было никаких сомнений в том, что мистер Питт в данном случае был спасителем короля, а также общественного спокойствия, ибо опыт доказал, что Георг III. не стал бы неспособным снова править; и было сильное подозрение, что, если бы регентство было организовано так, как этого хотела Оппозиция, эта способность не была бы с готовностью признана в последующий период; и, таким образом, могла бы возникнуть гражданская война.

"Я часто слышал, как говорили о психическом расстройстве Георга III. это был не обычный вид безумия: его отчуждение возникло не из-за локального поражения мозга, а из-за переполнения сосудов, ведущих к нему; расстройство, вызванное болезнью, которая долгое время была характерна для этой семьи. Говорили, что его расстройство было скорее бредом, чем безумием. Когда причина была устранена, государь мгновенно восстановил все свои способности с таким совершенством, как если бы они и не прерывались; это обстоятельство объясняет его многочисленные рецидивы и восстановления. В доказательство этого люди обычно упоминали

силу духа, которой он, должно быть, обладал, чтобы сразу после своего первого выздоровления поддерживать помпезность процессии, в которой участвовало собравшееся население Лондона, оглашая воздух одобрительными возгласами.

"После своего второго рецидива он дал еще одно не менее замечательное доказательство подобного рода спокойствием и самообладанием, которые он продемонстрировал, когда в него выстрелил наемный убийца, когда он входил в свою ложу в театре. Он был так мало встревожен, что немедленно повернулся к королеве, которая только что подошла к двери ложи, чтобы сказать ей, чтобы она не беспокоилась, так как это был всего лишь выстрел в театре: он оставался на протяжении всего представления внешне невозмутимым. Это, конечно, не было доказательством слабости. Постоянство жалобы в последние годы его жизни действительно могло бы противоречить этим фактам, если быть уверенным, что у него не было длительных периодов просветления.

"Георг III, хотя и был таким достойным и благонамеренным монархом, несколько раз был очень близок к тому, чтобы пасть жертвой наемных убийц. В его истории было несколько случаев подобного рода; и я не верю, что кто-либо из замешанных в этом лиц умер, потому что все они казались безумными — все религиозные или политические фанатики. Последняя и самая известная попытка была предпринята, я думаю, в 1800 году.<sup>[26]</sup> Король ходил в театр, как он делал время от времени в тот критический период, чтобы поддержать свою популярность. Когда он вошел в свою ложу, человек в партере прицелился в него из конного пистолета, и мяч пролетел мимо короля, который в тот момент кланялся публике. Можно легко представить себе последовавшую за этим ужасную суматоху! Этот человек не пытался отрицать своего преступления; он был точно таким же фанатиком в Шенбруне, который пожертвовал бы вашим Величеством и всегда утверждал, что у него не было другой цели, кроме мира и счастья своей страны. Присяжные признали этого человека невменяемым, и он был приговорен к тюремному заключению.

"Во время моей поездки в Лондон в 1814 году исключительная случайность позволила мне увидеть этого самого убийцу. Поскольку мои мысли все еще были заняты миссией, которую ваше Величество доверили мне в предыдущем году, относительно приютов для нищих и исправительных домов, я пожелал увидеть английские учреждения такого рода. Пока я внимательно осматривал Ньюгейт, я вошел в помещение, в котором обнаружил большое количество осужденных, пользующихся определенной степенью свободы. Первым, на кого обратил внимание мой проводник, оказался Хэтфилд, на которого он указал мне, и чье имя я сразу вспомнил, и спросил, не тот ли это человек, который пытался убить Георга III. Это было то же самое, сказал он, и он подвергался заключению, к которому был приговорен как душевнобольной, в Ньюгейте. Я заметил, что в то время его безумие вызвало большие сомнения и оспаривалось общественностью, как это всегда бывает в подобных случаях. Однако меня заверили, что Хэтфилд, несомненно, был сумасшедшим, но только в припадках; что его сумасшествие было, однако, настолько легким, что ему разрешали ходить по городу, положившись на его слово; и что он был первым, кто попросил оказать ему помощь, когда почувствовал, что его расстройство усиливается. Затем мой проводник позвал его. Осмелившись задать ему несколько вопросов, он сразу же узнал во мне француза по моему акценту и сказал, что часто сражался против моих соотечественников во Фландрии. (Он служил в легкой кавалерии, или драгунах, под командованием герцога Йоркского.) Он сказал, что на нем были их отметины, показав мне несколько шрамов; и все же, добавил он, он далек от

ненависти к ним, потому что они были храбры и не были виноваты в том деле; люди настаивали на том, чтобы вмешиваться в их споры, которые касались только их самих. Он начал очень горячиться, что побудило моего проводника сделать мне знак и отослать его прочь. Мой дирижер заметил, что мы задели за живое его душевное расстройство, и если бы мы продолжили, он стал бы возмутительным.

Но я возвращаюсь к Георгу III. Преобладающим чувством этого принца была любовь к общественному благу и благополучию своей страны. Ради них он всегда жертвовал всеми соображениями: только это побудило его так долго удерживать мистера Питта, к которому он испытывал сильное отвращение, потому что этот министр очень плохо с ним обращался.

"Кризис имел для Англии жизненно важное значение; опасность была самой неотвратимой; таланты премьер-министра были высочайшего уровня. Следовательно, он был необходим. Полагаясь на всемогущество этого обстоятельства над разумом короля, мистер Питт управлял им тиранически и без малейшей деликатности; он едва ли позволял ему распоряжаться самым пустяковым местом. Если появлялась вакансия и король желал наградить своего личного слугу, он всегда опаздывал; мистер Питт уже распорядился ею, и на благо государства, как он говорил, — ради парламентской службы. Если король выказывал слишком сильное недовольство, у мистера Питта всегда был наготове один неизменный ответ — он подаст в отставку и уступит свое место другому. Наконец произошло обстоятельство самого деликатного рода, поскольку оно касалось совести короля, который был очень религиозен; иными словами, возник вопрос об эмансипации католиков Ирландии, на что он упрямо отказывался дать согласие. мистер Питт настаивал с такой же настойчивостью; он сказал, что согласен на эту меру, и прибегнул к своей обычной угрозе. Но король на этот раз поймал его на слове и, вне себя от радости по поводу своего избавления, повторил в тот же день нескольким лицам, что теперь он избавился от человека, который в течение двадцати лет бил его ногами. И, возможно, не лишним будет отметить здесь в качестве примечательной особенности, контрастирующей с дурным обращением мистера Питта с королем, что Георг III. ходили слухи, что из всех его министров мистер Фокс (которого так часто обвиняли в республиканстве, и, возможно, не без оснований) был человеком, который, стоя во главе дел, постоянно проявлял к нему величайшую деликатность, почтение, почтение и внимание.

Тем не менее, общественные интересы так сильно повлияли на умы короля, что, несмотря на все свое отвращение, год спустя он восстановил мистера Питта в должности. В то время считалось, что, когда мистер Питт ушел в отставку, у него был адрес, по которому он мог назначить мистера Аддингтона, своего единомышленника, в министерство, чтобы иметь возможность без труда занять его место в течение короткого времени; но с тех пор было доказано, что сам мистер Питт был вынужден прибегнуть к интригам, чтобы свергнуть своего преемника и получить второе управление, которое, однако, ни в коем случае не было достойно его: оно было наполнено бедствиями, причиной которых он сам был. Мяч, решивший победу при Аустерлице, убил его в Лондоне.

"Тайм" ежедневно подрывает великую репутацию мистера Питта, но не из-за его выдающихся талантов, а из-за их пагубного применения. Англия стонет от бедствий, которыми он обрушился на нее, самыми роковыми из которых являются школа и доктрины, которые он ей завещал. Он ввел в Англии полицию, приучил нацию к вооруженной силе и запустил систему

информирования, ловушек и деморализации всех видов, столь доведенную до совершенства его преемниками.

“Его великая система тактики заключалась в том, чтобы постоянно разжигать наши эксцессы на Континенте, а затем выставлять их пугалом для Англии, которая немедленно предоставляла ему все, что он хотел”. “Но что вы все сказали на это?” — спросил император. “Каково было мнение эмигрантов?” - “Государь, - ответил я, - мы все постоянно смотрели на это сквозь одно и то же стекло; то, что мы сказали в первый день нашей эмиграции, мы повторили и в последний день нашей ссылки. Мы не продвинулись ни на шаг; мы стали и остались народом сами по себе. мистер Питт был нашим оракулом; все, что было сказано им, Берком, Уиндхемом или кем-либо из самых яростных сторонников этой стороны вопроса, казалось нам восхитительным; все, против чего возражали их противники, - отвратительным. Фокс, Шеридан и Грей были в наших глазах не кем иным, как печально известными якобинцами; мы никогда не называли их никакими другими именами”. “Очень хорошо, - сказал император, - теперь вернемся к Георгу III”.

"Этот добродетельный принц был чрезмерно равнодушен к частной жизни и сельским занятиям; он посвящал все время, которое мог освободить от государственных дел, возделыванию фермы в нескольких милях от Лондона; он никогда не возвращался в столицу, за исключением своих регулярных приемов или чрезвычайных советов, которых требовали обстоятельства; и он немедленно возвращался на свои поля, где жил без помпы и как честный фермер, как он сам говорил. В городе остались все интриги, связанные с министрами и среди них.

"У Георга III. было много домашних неурядиц. Его сестрой была Матильда, королева Дании, история которой представляет собой столь меланхолический роман; два его брата причинили ему много огорчений своими женитьбами; и у него не было причин быть полностью довольным своим старшим сыном.

“Два брата Георга III. были герцогом Камберлендским и герцогом Глостерским. Я часто видел последнего в частном обществе; он был самым достойным, вежливым и благородным джентльменом в Англии. Оба этих выдающихся человека, согласно духу британской конституции, были совершенно чужды государственным делам. Король услышал, что один из них женился или собирался жениться на частном лице. По его мнению, это было великое преступление; он сам принес великую жертву, чтобы избежать его совершения. Он был чрезвычайно разгневан; и пока он направлял в парламент послание против брата, который таким образом нанес оскорбление, ему сообщили, что другой сбежал в Кале с аналогичной целью. Это было похоже на смертельный исход, на настоящую эпидемию, поскольку в то же время со всех сторон поступали сообщения о том, что сам предполагаемый наследник также был тайно женат”. “Как, - сказал император, - принц Уэльский!” — “Да, сир, сам: о его женитьбе говорили повсюду, но обстоятельства были недостаточно определенными, чтобы я осмелился их повторить; факт, однако, казался общепризнанным. Но, поскольку принц впоследствии добился, чтобы это было опровергнуто в парламенте через посредство оппозиции, мы обязаны после этого поверить ему.

Однако я узнал из уст очень близкой родственницы его мнимой жены, что дело обстояло именно так. Я слышал, как этот человек пришел в ярость по поводу торжественного бракосочетания принца и угрожал прибегнуть к личному насилию. Следовательно, это можно

было бы считать спорным моментом, который неизбежно был представлен в соответствии с партийным духом; одни упрямо поддерживали реальность брака, в то время как другие отрицали это самым яростным образом. Возможно, это противоречие можно было бы сгладить, если учесть, что человек, на котором, как говорили, он женился, миссис Фитцгерберт, была католичкой. Это обстоятельство делало брак невозможным в глазах закона и совершенно недействительным по отношению к наследнику престола. Как бы то ни было, я часто встречал миссис Фитцгерберт в обществе: на ее экипаже был герб принца, а ее слуги носили его ливреи. Эта дама была намного старше его, но красива, приятна, обладала сильным умом и надменным, нетерпеливым нравом, который часто вовлекал ее в споры с принцем и, как говорили, приводил к сценам насилия, не очень подобающим столь высокому званию. Именно во время одной из последних ссор такого рода, когда, как говорят, миссис Фитцгерберт упорно закрывала дверь перед принцем, мистер Питт ловко воспользовался случаем, чтобы убедить его согласиться на брак с принцессой Брауншвейгской". — "Но подождите, - сказал император, - вы слишком торопитесь; вы упускаете из виду то, что меня интересует главным образом. Под каким покровительством принц Уэльский вступил в жизнь? Что особенного было в его политическом поведении, его положении по отношению к Оппозиции и так далее?" — "Этот принц, сир, предстал перед публикой со всеми преимуществами лица, индивидуальности и ума. Его встретили со всеобщим энтузиазмом; но вскоре он проявил эти наклонности и начал играть ту роль, которая, казалось, была неизбежно возложена на великих личностей в середине прошлого века. Таковы были увлечение азартными играми и вытекающие из этого неприятности; застольные и другие излишества; и, прежде всего, компания компаньонов, которых публика не одобряла. Тогда все великодушные сердца были опечалены; надежда угасла, и средний класс, который в каждой стране действительно составляет нацию и который, следует признать, является в Англии самым нравственным населением всей Европы, отчаялся в будущем. В Англии, особенно среди низших классов, была распространена поговорка о том, что принц Уэльский никогда не будет править; поговаривали, что гадалки и фокусники предсказали это ему самому.

“Оппозиция, в объятия которой он бросился, как это слишком часто делают предполагаемые наследники; оппозиция, опорой и надеждой которой он был, возможно, пытаясь обмануть самих себя, когда им упоминали об этом проступке, привыкли преодолевать это, говоря, что он будет другим Генрихом V. что Генрих V. был чрезвычайно рассеянным, когда был принцем Уэльским; но что он стал величайшим королем, которого произвела монархия; и отсюда они пришли к выводу, что принц Уэльский станет одним из их величайших королей”. — "Но принял ли он революционную партию и защищал ли наши современные идеи?" - сказал он. император. - Нет, сир; по мере того как лихорадка революционных принципов усиливалась, порядочность заставляла его постепенно отходить от оппозиции, которая их защищала. Он отказался от всех мнимых союзов и заполнил пустоту своей жизни, отдавшись удовольствиям и сопутствующим им трудностям. Он постоянно был обременен долгами, хотя парламент уже несколько раз их выплачивал. Из-за этих обременений он был сильно смущен, а его характер и популярность оказались под угрозой. Именно в это время и во время ссоры с миссис Фитцгерберт мистер Питт связался с ним, предложив снова оплатить его долги, если он примет взгляды своего отца и согласится жениться. Он был вынужден подчиниться всему, что было предписано, и рука принцессы Брауншвейгской была испрошена и получена. Но во время короткого промежутка переговоров знаменитая женщина, которая давно стремилась управлять принцем, обнаружив, что это место вакантно, сама завладела им. Утверждается, что она сказала, что искала этой

связи двадцать лет, поскольку была намного старше его, и это обстоятельство, по-видимому, указывало на особый вкус в этой семье, который также был отмечен у нескольких его братьев. Эта особа была немедленно назначена камеристкой будущей принцессы Уэльской; она даже поехала встретить ее и привезти в Англию. Именно под таким покровительством, под таким пагубным влиянием невеста высадилась на британский берег. Соответственно, положительно утверждается, что у этой несчастной принцессы не было даже двадцати четырех часов наслаждения из того привилегированного периода, который англичане подчеркнуто называют медовым месяцем. С первого же дня после замужества она подверглась насмешкам, пренебрежению и презрению.

"Все, кто обладал хоть малейшей искрой великодушия или морали в Англии, встали на ее сторону и громко протестовали против того, как с ней обращались. Однако большая доля одиозности пала на леди Джерси, которую обвинили в том, что она околдовала принца. Она стала объектом публичного поругания; однако принц, как было объявлено, не мог сослаться на иллюзию или слепоту; ибо говорят, что после очень веселого приема среди своих веселых спутников один из них в ходе беседы сказал, что он знаком с мадам де Мертей из "Опасных связей". Многие другие немедленно закричали, что они тоже знают одного: на это, как говорят, принц ради забавы предложил каждому написать свой секрет отдельно. Все записки были брошены в вазу, и на каждой из них было написано имя леди Джерси: сам принц, не ожидавший такого единодушия или того, что его обнаружат, написал это имя вместе с остальными.

- Я знал эту леди Джерси, и должен признаться, что ее лицо и весь облик так мало указывали на ее возраст, что это было нелегко заподозрить. Она обладала всеми прелестями ранней юности, усиленными изяществом самых изысканных манер; и я должен сказать, что в кругах, в которых я ее встречал, она даже обладала своего рода привлекательной добротой; то ли манеры ее сословия делают нрав снисходительным, то ли она на самом деле не заслуживала всех тех упреков, которыми ее осыпали.

"Принц Уэльский, по-видимому, обладал особой способностью, даром, который англичане называют силой обаяния. Он наделен этим в высшей степени; можно было бы подумать, что его воли было достаточно, чтобы вернуть привязанность толпы и как бы развратить общественное мнение. Его история полна таких потерь и возвратов популярности; и, возможно, именно уверенность в том, что он сможет добиться такого успеха, так часто заставляла его, как говорят его недоброжелатели, пренебрегать общественным мнением. Его враги утверждали, что он довел этот вид мужества до абсолютного героизма. Они порицали его за то, что он упорствовал, в то время как сам подвергался упрекам в неправильном образе жизни, обвиняя свою жену в том поведении, которому он подавал пример; непоследовательность, которую, несомненно, следует приписать пагубным внушениям вредных советчиков, враждебных его славе и спокойствию. По крайней мере, несомненно, что самая низкая коррупция, помощь законов и влияние наследника престола - все это было использовано против принцессы, и все напрасно: обстоятельство, которое, как говорят, использовалось для того, чтобы мучить принца и выставить его на посмеище. Люди смеялись над его беспрецедентным невезением, над тем, что он, несмотря на все свои усилия, не смог доказать то, что так много мужей отдали бы так много, чтобы скрыть. Ненависть возрастала с каждым новым поражением, а вместе с ней и со страданиями жертвы. В конце концов она была низведена до своего рода изгнания в местечко в нескольких милях от Лондона; у нее отняли дочь; она была оскорблена в глазах союзных монархов, когда они посетили Лондон. Но выражение чувств толпы всегда было готово

отомстить за нее, истало необходимым заставить ее покинуть Англию; что она и была вынуждена сделать добровольно, возможно, с помощью вероломных намеков какого-нибудь мнимого друга”.

Здесь император снова прервал меня, сказав, что я упускаю из виду очень важный момент. “Когда и как принц получил королевскую власть? Как он уладил дела с оппозицией? Что он сделал с теми старыми друзьями?” “Сир, ” ответил я, - на этом моя информация заканчивается. Было время, когда политические события побудили ваше Величество прекратить все сношения между Англией и Францией. Мы больше не получали документов; нам не разрешали получать письма; у двух наций больше не было ничего общего. Следовательно, в моем интеллекте действительно есть пробел, который я не хотел бы заполнять простыми догадками. Однако я понимаю, что после нескольких выздоровлений и рецидивов старого короля все стороны, наконец, согласились передать регентство принцу Уэльскому и передать ему в полное распоряжение суверенную власть. Наконец наступил долгожданный период перемен и надежд. Теперь врата рая должны были, наконец, открыться перед той оппозицией, которая так долго восхваляла принца; перед теми старыми друзьями, которые, казалось, с детства связали свою судьбу с его судьбой. Но, к великому и всеобщему удивлению нации, и благодаря, я не знаю, каким ухищрениям лорда Каслри, ничего не изменилось. Те старые министры, которые так долго были объектами неприязни и порицания принца, сохранили свои места, а те близкие и горячо любимые друзья, которых так долго ласкали, остались не у дел.

Оппозиция громко жаловалась, но над ними смеялись и говорили, что, когда дикий принц Уэльский стал великим королем, его первой заботой было избавиться от своих старых товарищей. Шутка могла быть очень хорошей, но она ни в коем случае не была применима, ибо во главе этой оппозиции стояли величайшие личности империи; и они были далеки от того, чтобы быть фальстафами или распутниками подобного рода. С этого момента они проявили заметную прохладу по отношению к принцу: некоторые больше не хотели его видеть; другие отвергали его приглашения или отвергали авансы, которые он им делал. Однако говорят, что один из них позволил уговорить себя поужинать с принцем наедине. Последний, вернувшись к своему обычному победоносному оружию, попытался с присущей ему грацией доказать ему, что он не мог поступить иначе; и наконец пожелал узнать, в чем его старые друзья могли бы справедливо обвинить его. Гость, чье сердце все еще переполнялось негодованием, воспользовался случаем и откровенно рассказал ему обо всех его недостатках с такой теплотой, что принцесса Шарлотта, которая была за столом и, возможно, втайне склонялась к мнению гостя, разрыдалась. Лорд Байрон услышал об этой сцене на следующий день и посвятил это событие в следующих знаменитых стихах:

"Плачь, дочь королевского рода,

Позор отца, упадок королевства;

Ах, счастлив! если каждая твоя слеза

Мог бы смыть вину отца!

Плачь, ибо твои слезы - слезы добродетели,

Благоприятный для этих страдающих островов;

И быть каждой каплей, в последующие годы,

Отплатил тебе улыбками твоего народа".

Март 1812 года.

“В 1814 году, во время моего визита в Лондон, я имел честь быть представлен принцу Уэльскому в Карлтон-хаусе”. — “И какого дьявола вам там понадобилось?” - спросил император. “Яне удивляюсь, что ваше величество удивлены; но меня побудил к этому своего рода вопрос чести: я думал, что не могу поступить иначе. В то время в Лондоне было много французов; я был единственным, кто находился рядом с вашим величеством, носил ваши цвета и придерживался линии поведения, которая, казалось, в то время подвергалась порицанию. Кто-то сказал мне, что остальные, конечно же, не вынесут моего присутствия, и это обстоятельство побудило меня уйти. На самом деле нас было двадцать два француза, представленных одновременно на одном из торжественных приемов принца; и я должен сказать, что никогда не видел более изящных манер, более приятных выражений лиц, большей гармонии в *tout-ансамбле*; я считал его идеалом элегантности. Я осознал всю силу, всю истину того волшебного очарования, которое я так часто слышал, приписываемого ему; и даже в этот момент, сир, когда я вспоминаю это прекрасное лицо, на котором, как мне казалось, я увидел возвышенность ума, любовь и желание славы, я не могу не спросить себя, как ваше Величество очутились здесь, как эти жестокие министры могли заставить его объявить себя тюремщиком, то ...?” “Мой дорогой сэр, - сказал император, - возможно, вы не были физиономистом; вы приняли ореол кокетства за... стремление к величию; стремление нравиться из любви к славе; и, кроме того, любовь к славе не совсем на лице; она в тайниках сердца, и вы не искали там.”<sup>[27]</sup>

“Но разве вы не переводили мне на днях, ” сказал император, - какой-то журнал или работу, в которой говорилось, что принц-регент выказывал большую симпатию к последним Стюартам; что он заплатил самые непомерные цены за вещи, которые принадлежали им и были ими оставлены; что он говорил о том, чтобы воздвигнуть памятник последнему из них? Во всем этом гораздо больше расчета, чем великодушия; это потому, что он стремится утвердить и освятить их исчезновение. С этого события начинаются его легитимность и безопасность; и он прав. Если бы в мое время и при обстоятельствах, в которые ввергли нацию английские министры, нашелся какой-нибудь молодой Стюарт с храбрым и предприимчивым характером, равный нынешнему возрасту, он высадился бы в Ирландии, сопровождаемый современными доктринами; и тогда мы, несомненно, увидели бы возрождающихся Стюартов, изгнавших выродившихся брауншвейгов. Англия получила бы свое 20 марта. Таковы троны и их заразительное влияние; едва кто-нибудь сядет на них, как яд начинает действовать. Этибрауншвейгцы, привлеченные либеральными идеями, воспитанные волей народа, едва взойдя на трон, хватаются за произвольную и деспотическую власть; они непременно должны двигаться по тому пути, который сверг их предшественников; и это потому, что они стали королями! И должно казаться, что это неизбежный ход событий! Этот прекрасный род Нассау, например, эти покровители благородной независимости в Европе, чей либерализм должен быть у них в крови и даже в мозгу костей; те Нассау, которые в том, что касается их владений, были бы только в хвосте и которые могли бы благодаря своим доктринам поставить себя во главе, — их только что посадили на трон; что ж, вы безошибочно увидите, что они ни о чем не заботятся, кроме как стать тем, кого они называют легитимистами; и перенимают принципы, действия и ошибки этого класса.

“ Нет, в конце концов, мой дорогой сэръ, разве не то же самое говорили и обо мне? и, возможно, не без видимой причины, поскольку, вероятно, многие обстоятельства могли ускользнуть от моего наблюдения. Тем не менее я заявил по торжественному случаю, что, по моему мнению, верховная власть заключается не в титуле и не в троне в его великолепии. Обо мне говорили, что едва я достиг власти, как стал осуществлять деспотическую и произвольную власть; но это была скорее Диктатура; и обстоятельства того времени послужат мне достаточным оправданием. Меня также упрекали в том, что я позволил себе опьяниться гордостью из-за моего союза с австрийским домом и после женитьбы считал себя более настоящим государем; фактически, с того времени я считал себя Александром, ставшим сыном бога! Но может ли все это быть справедливо? Неужели я впал в такие заблуждения? На мою долю выпала молодая, красивая, приятная женщина; разве для меня было недопустимо засвидетельствовать какое-то удовлетворение? Разве я не мог посвятить ей несколько минут, не навлекая на себя упреков? Неужели мне нельзя было предаться нескольким часам счастья? Неужели от меня требовалось дурно обращаться со своей женой с самой первой ночи, как от вашего принца?.. Или я, подобно султану, о котором мы читали, должен был отрубить ей голову, чтобы избежать упреков толпы? Нет! мой единственный недостаток в этом союзе заключался в том, что у меня было слишком плебейское сердце. Как часто я говорил, что сердце государственного деятеля должно быть только в голове. Мой, к сожалению, в данном случае остался на своем месте, подчиненный семейным чувствам, и этот брак погубил меня; потому что я превыше всего верил в религию, благочестие, мораль и честь Франциска I. Он жестоко обманул меня. Я готов поверить, что он сам был обманут; и я прощаю его от всего сердца. Но пощадит ли его история? Если, однако...”

Здесь Наполеон на несколько мгновений замолчал, подперев голову руками; затем продолжил: “Но какая романтическая моя жизнь!” - сказал он, вставая. - Открой дверь и дай нам пройти. - И мы некоторое время ходили взад и вперед по соседним комнатам.

## ПАДЕНИЕ МОЕГО СЫНА С ЛОШАДИ.—ГРАБЕЖ НА ВОЙНЕ.—ХАРАКТЕР ФРАНЦУЗСКОГО СОЛДАТА.—ПОДРОБНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАТЕРЛОО, ОТ НОВОГО АДМИРАЛА.

С понедельника по четверг с 1 июля по 4 июля.—Вчера лошадь моего сына убежала вместе с ним, когда он катался; и, опасаясь, что лошадь может отбросить его о деревья, он счел за лучшее спрыгнуть с его спины. Он растянул лодыжку настолько, что был прикован к дивану на месяц.

Император снизошел до того, чтобы зайти в мою комнату около 11 часов, чтобы узнать о состоянии моего сына, которого он высоко оценил за его неловкость. Я последовал за ним в сад, где он позавтракал, чего не делал некоторое время назад.

Разговор зашел о мародерстве, совершаемом армиями, и порождаемых им ужасах.

Павия, по словам императора, была единственным местом, которое он когда-либо отдавал на разграбление; он пообещал это своим солдатам в течение 24 часов; “но через три часа, “ сказал он, - я больше не мог этого выносить и положил этому конец. У меня было всего 1200 человек, - сказал он. - крики толпы, достигавшие моих ушей, возобладали. Если бы там было 20 000 солдат, их количество заглушило бы жалобы людей, и я бы ничего об этом не услышал. К счастью, однако, политика и мораль в равной степени противостоят системе грабежа. Я много размышлял на эту тему, и меня часто убеждали таким образом удовлетворить моих солдат. Но

нет ничего настолько определенного, чтобы дезорганизовать и полностью разрушить армию. Солдат теряет всякую дисциплину, как только у него появляется возможность пограбить; и если за счет грабежа он обогащается, он немедленно становится плохим солдатом и не будет сражаться. Кроме того, ” продолжал он, “ грабеж несовместим с нашими французскими манерами; сердца наших солдат не так уж плохи; когда первый приступ ярости проходит, они снова приходят в себя. Французские солдаты не могли бы грабить в течение двадцати четырех часов; многие из них потратили бы последнюю часть времени на то, чтобы исправить то зло, которое они натворили в самом начале. Впоследствии они упрекают друг друга, находясь в своих кварталах, в совершенных ими злоупотреблениях и осыпают порицанием и презрением тех, чье поведение было особенно одиозным”.

Около трех часов дня новый адмирал сэра Поултни Малькольм и все его офицеры были представлены императору. Адмирал впервые беседовал с императором наедине почти два часа. Должно быть, этот разговор произвел на него большое впечатление, потому что, выходя, он сказал, что прослушал очень прекрасный и ценный урок истории Франции.

Предполагалось, что император сказал ему в конце беседы то, что, как мне кажется, я уже упоминал в другом месте по этому вопросу. “Вы наложили контрибуцию в 700 миллионов на Францию; я наложил контрибуцию в размере более 10 000 миллионов на вашу страну. Вы подняли свою контрибуцию своими штыками: я заставил ваш парламент поднять мою контрибуцию ”. “И это истинное изложение вопроса”, - ответил адмирал.

Адмирал привозил из Америки несколько старых войск, состоявших из 12 000 человек, без малейшего подозрения о новом состоянии Европы. В море какое-то судно сообщило ему о возвращении императора с острова Эльба и последовавшей за этим революции; это показалось ему таким волшебным, что он едва мог в это поверить. Но когда он появился в виду Плимута, он получил приказ со всей возможной скоростью двигаться к Остенде; он достиг его вовремя, и 4000 человек на борту его кораблей получили возможность принять участие в сражении, и они, несомненно, были одними из лучших войск во всей линии, как заявил адмирал. Кто может определить, какую степень влияния они могли иметь? Англичане считали битву проигранной в течение всего дня, и они признают, что так бы и было, если бы не ошибка Граучи.

## АНЕКДОТЫ О 18 БРЮМЕРА.—СИЙЕС.—ВЕЛИКИЙ

КУРФЮРСТ.—КАМБАСЕРЕС.—ЛЕБРЕН И Др.

Погуляв некоторое время по саду, император сел в свою коляску. Погода была восхитительная: мы сделали два поворота на полном скаку. Я был с ним наедине. Он много говорил о моем сыне и его перспективах на будущее с таким интересом и добротой, которые тронули мое сердце. Он сказал, что, учитывая его возраст, то обстоятельство, что его отправили на остров Святой Елены, имело неоценимое значение для его будущей жизни; что это должно быть как теплица для формирования его характера.

После обеда император вернулся к теме 18 Брюмера и рассказал нам о ней с бесконечным количеством незначительных деталей. Поскольку он уже давно продиктовал это генералу Гурго, я буду ссылаться на его публикацию для получения массы подробностей этого события. Я

приведу здесь лишь несколько небольших анекдотов или аксессуаров, которых, возможно, там нет.

Ситуация, в которой оказался Наполеон по возвращении из Египта, была беспрецедентной. К нему сразу же обратились все стороны, и ему были доверены все их секреты. Особенно отличались три организации: *манеж*, одним из лидеров которой был генерал Ж.; *умеренные*, возглавляемые Сийесом; и партия *Гнилых* во главе с Баррасом.

Решимость Наполеона вступить в союз с умеренными, по его словам, подвергла его большой опасности. С якобинцами он ничем бы не рисковал; они предложили назвать его диктатором. “Но, после победы с ними, ” заметил император, “ почти сразу же потребовалось бы победить их. Клуб не может терпеть постоянного руководителя; ему нужен по одному на каждую последующую пассивность. Теперь использовать партию в один прекрасный день, чтобы напасть на нее на следующий, под каким бы предлогом это ни было сделано, все равно является предательством; это противоречило моим принципам ”.

“Мой дорогой сэр, ” сказал мне император в другой момент, после того как еще раз пробежался по событиям 18 Брюмера, - это, согласитесь, совсем не то, что заговор Сен-Реаля, в котором гораздо больше интриг и гораздо меньше результатов; наш был нанесен одним ударом. Несомненно, что никогда еще великая революция не причиняла меньше неудобств; ее так желали все; соответственно, она была увенчана всеобщими аплодисментами.

Что касается меня, то все мое участие в заговоре с целью осуществления этой перемены сводилось к тому, что я собрал всю толпу моих посетителей в один и тот же утренний час и двинулся во главе их, чтобы захватить власть. Именно с порога моей двери, с вершины моих собственных ступеней, и без того, чтобы мои друзья заранее знали о моих намерениях, я повел их к этой победе; именно среди блестящего эскорта, который они сформировали, их живой радости и единодушного рвения я предстал перед судом древних, чтобы поблагодарить их за Диктатуру, которой они меня наделили.

Метафизики спорили и еще долго будут спорить о том, не нарушали ли мы законы и не были ли преступниками; но это всего лишь абстракции, в лучшем случае подходящие для книг и трибун и которые должны исчезнуть перед настоящей необходимостью: с таким же успехом можно обвинять моряка в расточительстве и разрушении, когда он срубает свои мачты, чтобы не быть опрокинутым. Дело в том, что, если бы не мы, страна была бы потеряна, а мы ее спасли. Авторы и главные исполнители этого достопамятного государственного акта могут и должны, вместо попыток отрицания или оправдания, гордо, подобно римлянину, ответить своим обвинителям: *”Мы заявляем, что спасли нашу страну; идите с нами и возблагодарите богов”*.

По завершении революции 18 Брюмера были назначены три временных консула: Наполеон, Сийес и Дюко. Предстояло выбрать президента, момент был критический и делал генерала крайне необходимым; соответственно, он занял кресло, и двое его помощников не осмелились спорить с ним. Кроме того, Дюко заявил о себе в тот момент раз и навсегда. Только генерал мог спасти их, сказал он; и с тех пор он во всем придерживался своего мнения. Сийес был очень огорчен, но он был вынужден сделать то же самое.

Сийес был человеком очень эгоистичного склада. Во время первой встречи трех консулов на Совете, как только они остались одни, Сийес таинственным образом подошел к дверям покоев, чтобы посмотреть, нет ли кого поблизости; затем, вернувшись к Наполеону, он сказал ему

самодовольно и вполголоса, показав ему в то же время что-то вроде кабинета. “ Вы видите этот прелестный предмет мебели? Возможно, вы не подозреваете, насколько он ценен? Наполеон думал, что тот обращает его внимание на какой-то придаток короны, которым, возможно, пользовался Людовик XVI. - ~~Это~~ Не в этом дело, - сказал Сийес, поняв свою ошибку. “ Я собираюсь посвятить вас в тайну: там 800 000 франков! ” и его глаза широко раскрылись. “В нашей директорской магистратуре мы размышляли о том, что Директор, уходящий в отставку, вполне возможно, вернется к своей семье без денег; очень неподобающая вещь: поэтому мы изобрели этот маленький сундучок, из которого мы брали сумму за каждого Директора, уходящего в отставку. Теперь директоров больше нет; следовательно, мы являемся владельцами оставшегося. Что нам с ним делать?” Наполеон, который был очень внимателен и начал, наконец, понимать, сказал: “Если это станет мне известно, сумма поступит в государственную казну; но если я не услышу об этом (а я пока ничего об этом не знаю), вы и Дюко, как два старых директора, можете разделить ее между собой; только поторопитесь, потому что завтра, возможно, будет слишком поздно. Коллеги не стали ждать, пока им повторят дважды”, - заметил император. “Сийес поспешно предпринял операцию и разделил добычу, как лев из басни. Он сделал несколько жеребьевок; одну он выбрал как старейший директор; другую, потому что ему предстояло пробыть на этом посту дольше, чем его коллеге; третью, потому что он предложил идею этой счастливой перемены и т. Д. Короче говоря, он отсудил себе 600 000 франков и отправил только 200 000 бедняге Дюко, который, когда его первые эмоции улеглись, настоял на пересмотре этого расчета и, казалось, вознамерился поссориться с Сийесом. Оба они ежеминутно возвращались к этой теме, желая, чтобы их третий коллега выступил арбитром между ними; но последний всегда отвечал — решайте это между собой. Прежде всего, ведите себя тихо, потому что, если это дело дойдет до моих ушей, вам придется отказаться от всего.

“Когда мы собирались заняться конституцией, - сказал император, “ Сийес устроил нам еще одну очень занимательную сцену. Обстоятельства и общественное мнение сделали его своего рода оракулом в этих вопросах; соответственно, он излагал свои различные предложения в комитетах двух советов с большой таинственностью, важностью и методичностью; все они были приняты, хорошие, плохие или безразличные. Наконец, он увенчал свою работу, продемонстрировав результат, которого ожидали с живым и тревожным нетерпением: он предложил Великому курфюрсту, который должен был проживать в Версале, получать шесть миллионов в год, представлять национальное достоинство и не иметь никаких других обязанностей, кроме назначения двух консулов, одного для мира, а другого для войны; они были полностью независимы в своих функциях. Более того, если этот Выборщик сделает неудачный выбор, Сенат должен был *поглотить* его самого. Это было техническое выражение, означающее убрать его, заменив в качестве наказания в толпе частных лиц”.

Наполеон, из-за отсутствия опыта участия в собраниях, а также из-за определенной осмотрительности, которой требовали обстоятельства момента, принимал мало участия в том, что предшествовало; но теперь, в этот решающий момент, он начал, по его словам, смеяться Сийесу в лицо и безжалостно кромсать всю его метафизическую чушь. Сийес не любил защищаться, сказал император, и не знал, как это сделать. Однако он предпринял попытку, сказав, что, в конце концов, король - это не более того. Наполеон ответил: “Но вы принимаете оскорбление за принцип, тень за тело. И как вы можете вообразить, мсье Сийес, что человек, обладающий хоть каким-то талантом или хотя бы малейшей честью, решится сыграть роль свиньи, откармливающейся на несколько миллионов? После этой вылазки, которая, по словам

императора, вызвала у присутствующих неумеренный смех, Сийес остался подавленным; он больше не мог возвращаться к теме своего Великого курфюрста; и был выбран первый консул, которому предстояло принимать высшие решения и назначать всех на должности: с двумя вспомогательными консулами, которые должны были иметь только решающие голоса. Фактически, с этого момента это было единство власти. Первый консул был именно президентом Америки, прикрытым формами, которые раздражительный дух времени все еще делал необходимыми. Соответственно, император сказал, что с этого дня на самом деле началось его правление.

Император в какой-то степени сожалел, что Сийес не был назначен одним из консулов. Сийес, который сначала отказался от назначения, впоследствии сам пожалел об этом, но только когда стало слишком поздно. “Он допустил ошибку в отношении характера этих консулов, - сказал Наполеон, - он боялся унижения и того, что Первому консулу придется спорить на каждом шагу; что имело бы место, если бы все консулы были равны; тогда мы все были бы врагами; но конституция сделала их подчиненными, и не было места для упрямой борьбы, не было повода для вражды, но была тысяча причин для подлинного единодушия. Сийес обнаружил это, но слишком поздно. Император сказал, что он мог бы быть очень полезен в совете — возможно, лучше, чем другие, потому что у него иногда возникали новые и самые блестящие идеи; но что в других отношениях он совершенно непригоден для управления. “В конце концов, ” сказал император, - чтобы управлять, нужно быть военным; править можно только в сапогах и со шпорами. Сийес, не будучи пугливым, всегда пребывал в страхе; полицейские шпионы нарушали его покой”.

В Люксембурге, во время временного консульства, он часто будил своего коллегу Наполеона и изводил его новыми заговорами, о которых он ежеминутно слышал от своей частной полиции. “Но развратили ли они нашу гвардию?” Так говорил Наполеон. “Нет”. “Тогда иди спать.— На войне, как и в любви, мой дорогой сэр, мы должны действовать в ближнем бою, чтобы решить все вопросы. У нас будет достаточно времени, чтобы встревожиться, когда наши 600 человек будут атакованы ”.

Император сказал, что для постоянного правительства он выбрал в лице [Камбасереса Cambacérès](#) и Лебрена двух выдающихся личностей; оба благоразумные, умеренные и способные, но придерживающиеся совершенно противоположных принципов — один сторонник злоупотреблений, предрассудков, старых институтов, возрождения почестей и отличий и т. Д. — Другой холодный, суровый, бесчувственный, борющийся со всеми этими идеями, поддающийся им без иллюзий и естественно впадающий в идеологию.,,

Продолжая, он заметил, что Сийес, возможно, внес свой вклад в придание имперской администрации другого колорита, другой характеристики; но ему было замечено, что это изменение не могло быть иначе, как вредным, поскольку выбор Наполеона в то время очень одобрялся. Говорили, что выбранные им люди не могли вызвать возражений в Европе. Они внесли большой вклад в примирение общественного мнения во Франции, которое было полностью настроено против Сийеса. Его имя и воспоминания, связанные с ним, в глазах многих людей опозорили бы деяния, в которых он мог принимать участие; и в то время охотно повторялся анекдот, который показывает всю недоброжелательность, которую питали к нему. Говорили, что, когда он разговаривал с императором в Тюильри о Людовике XIV. он позволил слову "*тиран*" вырваться у него. "Господин аббат, - как говорили, ответил император, - если

Людовик XVI. если бы вы были тираном, вы бы сейчас служили мессу, и меня бы здесь не было ”. Император улыбнулся этому анекдоту, не подтверждая и не опровергая его. Впоследствии окажется, что это было ложью.

## НОВЫЕ ОБОСТРЕНИЯ СО СТОРОНЫ ГУБЕРНАТОРА.—ЕГО АБСУРДНОСТИ.

С субботы 6-го по понедельник 8-го.—Я уже некоторое время не упоминал губернатора. Мы стараемся, насколько это возможно, не думать о нем; сейчас мы почти никогда не обращались к нему. Его дурные манеры идосады, которые мы терпим от него, вынуждают меня обратить на него внимание сегодня: они, кажется, усилились. Он только что утаил от нас несколько писем из Европы, хотя они были вскрыты, и самым очевидным образом — просто потому, что они не прошли через руки государственного секретаря; не принимая во внимание, что несоблюдение формальностей может быть легко исправлено в Англии, но что это непоправимо на расстоянии двух тысяч лье. Если бы, однако, при столь строгом и буквальном выполнении своих инструкций у него хватило человечности сообщить нам, что он получил эти письма и от кого они, он мог бы успокоить наши умы в отношении тех, из-за уважения к чьему здоровью или чьему вниманию к нам мы испытываем столько беспокойства: но у него хватает варварства делать тайну из этого дела. Прошло не так много дней с тех пор, как графиня Бертран написала в лондон, у него изъяли записку и отослали ей обратно, как написанную без его разрешения. Он сопроводил это оскорбление официальным письмом, в котором запретил нам на будущее любое письменное или даже устное общение с местными жителями, не согласовывая это с его одобрением; и что особенно абсурдно и невероятно, так это то, что он наложил это ограничение на наше общение с людьми, которых он, тем не менее, разрешает нам посещать по собственному усмотрению. Он сопроводил публикацию закона, касающегося нас, комментариями, которые сеют ужас среди жителей; он жалуется на чрезмерные расходы на императорский стол и настаивает на значительных сокращениях.— Никто не предполагал, что вокруг генерала Бонапарта будет так много людей. Министры, сказал он нам простодушно, никогда не сомневались, что разрешение, которое они нам послали, побудило бы нас покинуть императора. Вся эта возня привела к обмену довольно резкими замечаниями. На одно из посланий губернатора, в котором он говорил, что, если наложенные на нас ограничения кажутся слишком жесткими, мы могли бы освободиться от них, уехав, император лично продиктовал следующее дополнение к ответу, который мы уже написали: "Будучи удостоены им чести во время его процветания, мы считали своим главным удовольствием служить ему теперь, когда он ничего не мог сделать для нас; и если были люди, для которых такое поведение было непонятно, тем хуже для них".

## НОВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ.—ИМПЕРАТОР РЕДКО ВЫХОДИТ НАРУЖУ.—ТРИСТАН.—БАСНИ ЛАФОНТЕНА.—МИРОМ ПРАВИТ ЖЕЛУДОК.—ТРУДНО СУДИТЬ О МУЖЧИНАХ.

Со вторника 9-го по четверг 11-е.-Губернатор продолжает раздражать нас и постоянно усугубляет наше плачевное положение. Похоже, он решил поместить нас в строгое заключение. Он опубликовал в городе прокламацию, предписывающую, чтобы все письма и записки, адресованные нами жителям, по любому поводу, были отправлены ему в течение двадцати четырех часов. Он также запретил им навещать великого маршала и его жену, которые живут у входа в наш вольтер. В начале этой блокады мадам [Бертран](#) [Бертран](#) соблюдалась так строго, что некоторые лекарства, присланные отсюда врачом для одного из людей великого маршала,

который умирал, не могли быть доставлены; и только в качестве уступки офицер, наконец, согласился пропустить их через стену.

Губернатор, прочитав в письме, отправленном одним из нас в Европу, что автору понадобилось несколько предметов одежды, белья и т. Д., Пришел и сказал ему, что он может получить большую часть этих предметов из запасов, присланных правительством для Наполеона: и человек ответил, что он предпочитает покупать их, не желая брать на себя никаких обязательств, губернатор сухо ответил, что он может заплатить за них, если у него возникнет такое желание. На что другой ответил: “Извините меня, сэр, я предпочитаю сам выбирать магазины”. Вследствие этого губернатор впоследствии передал ему через Доктора, что тот должен пожаловаться на него за то, что он *пренебрежительно* отказался от правительственных даров. Другой немедленно ответил, что он был бы ему очень обязан, поскольку был бы гораздо счастлив предоставить ему возможность передавать министрам, которым он служил, отказы, а не просьбы.

Все эти мелкие уловки, продолжительность и интерес наших чтений, а также продолжающаяся ужасная плохая погода еще теснее, чем когда-либо, приковывают императора к дому и повергают его в меланхолию: теперь он никогда не выезжает за границу. Теперь его развлечения ограничиваются тем, что он время от времени, около пяти часов, ходит навестить мадам де Монтолон, которая еще не выезжала за границу после того, как ее уложили в постель. Мы все встречаемся там, и император беседует полчаса или три четверти, прежде чем вернуться в свои апартаменты.

Сегодня он познакомился с маленьким Тристаном, старшим сыном г-на де Монтолона, которому всего семь или восемь лет, и он весь день бегаёт без дела. Император посадил его между колен и попытался заставить рассказать несколько басен, из которых бедный ребенок не понимал двух слов из десяти. Император от души рассмеялся, порицая практику передачи Лафонтена в руки детей, которые не могут его понять; и начал объяснять эти басни Тристану, стараясь сделать их смысл более осязаемым для него; и ничто не могло быть более любопытным, чем простота, справедливость и логика его иллюстраций.

Пока он объяснял басню о Волке и ягненке, было чрезвычайно смешно слышать, как бедное дитя говорит *Сир* и *ваше Величество*, и, говоря о волке и обращаясь к императору, путает все свои выражения; в то время как мысли его, вероятно, были в еще большем замешательстве.

Император считал, что в этой басне слишком много иронии, чтобы быть доступной пониманию детей. Он заметил, что она также была ущербна в своих принципах и морали; и это был первый раз, когда он был поражен этими недостатками. Это ложь, что аргумент более сильного всегда наилучший; и если иногда так и случалось, то на самом деле, по его словам, это было само зло, злоупотребление, которое следовало осудить. Следовательно, волк должен был быть задушен при пожирании ягненка.

Тристан очень ленив. Он признался императору, что работает не каждый день. “Разве вы не едите каждый день?” - спросил его император. “Да, сир”. “Ну, тогда вы должны работать каждый день; никто не должен есть, если не работает”. “О! если это так, я буду работать каждый день,” быстро сказала девочка. “Такововлияние живота”, - сказал император, похлопывая по животу маленького Тристана. “Именно голод заставляет мир двигаться. Пойдем, мой маленький

человечек, если ты будешь хорошим мальчиком, мы сделаем из тебя пажа." "Но я им не буду", - сказал Тристан, надувшись и выглядя угрюмым.

Наши послеобеденные часы были заняты чтением чего-нибудь избранного в надежде, что это позволит нам убить время на час или два. В это время мы читали "Путешествие на Шпицберген"; "кораблекрушение голландцев на Новой Земле"; "*Знаменитые дела*", "суд над Каласом"; "Дела Мартингера и маркизы де Бренвилье". В какой-то части произведения автор заметил, что лицо часто дает ложное представление о персонаже. Император сделал паузу, отложил книгу и сказал взглядом и тоном, которые выражали убежденность: "Это совершенно верно, и также верно то, что никакое изучение не позволит нам избежать этого обмана. Сколько у меня было доказательств такого рода! Например, рядом со мной был человек; несомненно, его лицо.... Но, в конце концов, у него были озорные глаза; я должен был бы о чем-то догадаться по этому". Затем он перешел к некоторым подробностям характера человека, о котором шла речь. По его словам, они знали друг друга с младенчества; он долгое время полностью доверял этому человеку, обладавшему талантом и ресурсами; император даже думал, что тот был привязан и верен — "Но он был слишком жаден, - сказал он, - он слишком любил деньги. Когда я диктовал ему, а ему иногда приходилось писать *миллионы*, у него всегда менялось выражение лица, он прищипывал губами и ерзал на стуле, что несколько раз заставляло меня спрашивать, что его беспокоит".

Император сказал, что этот порок слишком вопиющий, чтобы позволить ему оставить при себе этого человека; но, учитывая другие его качества, ему, возможно, следовало бы довольствоваться перемещением его на другое место.

#### ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА И другие — ГЕНИАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Пятница, 12.—Сегодняшний разговор привел нас к разговору о Железной Маске, и мы сделали обзор того, что было сказано по этому поводу Вольтером, Дютенсом и другими; и того, что говорится о нем в Мемуарах Ришелье. В них хорошо известно, что он, как говорят, был братом-близнецом Людовика XIV и старшим из них двоих. По этому поводу кто-то добавил, что, когда он был занят составлением родословной, к нему пришел человек, чтобы серьезно продемонстрировать ему, что Наполеон был прямым потомком этой Железной Маски и, следовательно, законным наследником Людовика XIII. и Генрих IV., предпочитающий Людовика XIV. и все его потомство. Император также сказал, что он кое-что слышал об этом, и добавил, что доверчивость человечества и их любовь ко всему чудесному настолько велики, что не составило бы труда разглядеть и обосновать что-либо подобное для толпы, и что в Сенате не было бы недостатка в определенных лицах, которые одобрили бы это; вероятно, заметил он, те самые люди, которые в более поздний период так стремились поносить его, как только увидели его в бедственном положении.

Затем мы продолжили проследживать основу и ход развития этой истории. Имя губернатора острова Святой Маргариты, которому была доверена охрана Железной Маски, было г-н де Бонпар, что, начнем с того, что обстоятельство весьма необычное. Утверждалось, что этот человек знал о происхождении своего заключенного. У него была дочь: и она, и заключенный были молоды; они увидели друг друга и полюбили. Губернатор, проинформировав Суд об этом обстоятельстве, решил, что нет особых возражений против того, чтобы позволить несчастному пленнику искать в любви облегчения своих страданий, и они поженились.

Человек, говоривший в этот момент, сказал, что в то время, когда ему рассказали вышеприведенные подробности, они его очень позабавили, и он случайно сказал, что, по его мнению, эта история была очень остроумно придумана; на что рассказчик чрезвычайно рассердился, утверждая, что факт брака очень легко подтвердить по реестрам одного из приходов Марсея, который он назвал. Он добавил, что дети, рожденные от этого брака, были молчаливо и тайно перевезены на Корсику, где разница в языке, случайность или, возможно, намерение изменили фамилию Бонпар на Бонапарт и Буонапарте, что, в конце концов, имеет одно и то же значение и фактически является одним и тем же.

После этого анекдота было добавлено, что во времена революции похожая история была распространена в пользу орлеанского отделения. Это было основано на документе, найденном в Бастилии, и предполагало, что Анна Австрийская, которую уложили в постель после двадцати трех лет бесплодия, родила девочку, и что Людовик XIII. опасаясь, что у нее больше не может быть детей, она была вынуждена убрать эту девочку и ложно заменить ее мальчиком, которым был Людовик XIV.; что, однако, в следующем году королеву снова уложили в постель, и на этот раз действительно с мальчиком, которым был Филипп, глава Орлеанского дома, который, таким образом, оказался со своими потомками законными наследниками трона, в то время как Людовик XIV. и его потомками были только злоумышленники и узурпаторы. Согласно этой истории, Железной Маской была девушка. Памфлет на эту тему был распространен в провинции во время взятия Бастилии, но история не приобрела популярности и очень тихо исчезла, не привлекая, по-видимому, внимания столицы ни на мгновение.

ЖЮНО, ЕГО ЖЕНА И другие.

Суббота, 13—е число.—Разговор снова зашел о Жюно. Из значительных состояний, дарованных императором, состояние Жюно, по его словам, было одним из самых расточительных. Суммы, которые он давал ему, почти превосходили всякое воображение, и все же он всегда был в долгах; он растрачивал сокровища, не ставя в заслугу самого себя, без разборчивости или вкуса, и, слишком часто, добавлял император, в грубом разврате.

Не раз было известно, что после обильного и сытного завтрака в своем великолепном *отеле* в Париже он, разгневанный самым ничтожным требованием самого ничтожного кредитора, угрожал заплатить долг своим мечом. По словам Наполеона, каждый раз, когда он видел императора, это было для того, чтобы намекнуть на какое-нибудь новое затруднение, получить выговор и помощь. Во время Аустерлицкой кампании он прибыл к императору в Шенбрун; но на этот раз, по словам Наполеона, не для того, чтобы ходатайствовать именно за себя. В это время он проявлял самый живой интерес к прекрасной мадам Рекамье. Он только что прибыл из Парижа и начал свой разговор с императором с самой ядовитой филиппики в адрес г-на де Марбуа, тогдашнего министра финансов, который, по его словам, был достаточно низок, чтобы отказать г-ну Рекамье в займе всего в два миллиона, чтобы спасти его от банкротства. Весь Париж был возмущен. Этот Марбуа, добавил он, был злым человеком, недостойным слугой, который не любил императора. Он, Жюно, пришел к нему и приложил все усилия, чтобы убедить его, но безрезультатно. Он объяснил ему чудовищность его поведения и заверил его (и таково, добавил Жюно, было общее мнение в Париже), что если бы император был в столице, он немедленно приказал бы передать деньги месье Рекамье. “Он напал на ложный след, - сказал император, - потому что я хладнокровно ответил этому страстному влюбленному, который был почти не в себе: ”Вы и Парис оба ошибаетесь, я не приказал бы выдать даже двух тысячсу; и я

был бы очень недоволен де Марбуа, если бы он поступил иначе, чем он сделал. Я не любовник мадам Рекамье и не прибегаю к помощи коммерсантов, которые содержат заведение на шестьсот тысяч франков в год. Знайте это, господин Жюно, и знайте также, что Казначейство не ссужает деньгами тех, кто, как ему известно, давно находится на пути к банкротству; у него есть другие требования, которые нужно удовлетворить."Жюно, - добавил император, - был вынужден успокоиться, думая, вероятно, что в Вене так же жестокосердны люди, как и в Париже".

Жюно путешествовал так же быстро, как сам император; по словам Наполеона, у него были свои эстафеты, сотни лошадей и другие излишества в этом роде.

Император добавил, что, не столько в качестве суверена, сколько из любви к Жюно, а также движимый неким чувством, проистекающим из сходства мест рождения, поскольку он тоже был родом с Корсики, он однажды послал за мадам Жюно, чтобы сделать ей несколько отеческих замечаний по поводу расточительности расходов ее мужа, обилия бриллиантов, которые она сама бесцеремонно выставляла напоказ после возвращения из Португалии, и ее интимных связей с неким иностранцем, которые могли вызвать недовольство в политическом плане. посмотреть. Но она отвергла этот совет, продиктованный исключительно заботой о ее интересах. "Она рассердилась, " сказал император, " и обращалась со мной как с ребенком; тогда мне ничего не оставалось, как отправить ее по своим делам и бросить на произвол судьбы. Она воображала себя принцессой из рода Комнинов, и Жюно был вынужден поверить в это, когда его уговорили жениться на ней. Ее семья была родом с Корсики и жила по соседству с моей; они были в большом долгу перед моей матерью не только за ее благожелательность к ним, но и за услуги более позитивного характера ". Затем император дал следующее объяснение:

"Генуэзцы, эвакуируя Морею, ранее перевезли колонию маниотов на Корсику и поселили их в окрестностях Аяччо. Г-н де Вержен, будучи послом в Константинополе, женился на гречанке; по возвращении во Францию он был в большом фаворе у Людовика XVI. он вбил себе в голову, что, должно быть, женился на принцессе. Случилось так, что некоторые политические обстоятельства благоприятствовали его желанию; в тот момент верили в падение Константинополя, и Франции было бы выгодно предъявить некоторые претензии на часть этой империи. Поэтому из греческой колонии близ Аяччо был вызван человек по имени Комнин, родственник мадам де Верженн, и, будучи доставлен в Версаль, вскоре после этого, на основании патента Людовика XVI, был признан потомком константинопольских императоров. В нем говорилось, что Комнин был крупным фермером, сестра которого за несколько лет до этого неожиданно вышла замуж за француза, клерка продовольственного отдела по имени П. После возвышения семьи и благодаря интересам М. де Верженна, этот П., служащий продовольственного отдела, стал очень влиятельным человеком, поскольку получил контракт на снабжение всей армии Рошамбо. Дочерью клерка была та самая мадам Жюно, герцогиня Абрантская.

"Жюно во время кампании в России вызвал у меня большое недовольство, - сказал император, - он уже не был тем человеком и совершил несколько грубых ошибок, которые дорого нам обошлись".

После возвращения из Москвы Жюно из-за недовольства, которое он вызвал, потерял пост губернатора Парижа, и император отправил его в Венецию. Однако этот вид позора был почти немедленно смягчен его назначением генерал-губернатором Иллирии; но удар был нанесен.

Частые несвязности, которые наблюдались в поведении Жюно в течение некоторого времени и которые возникали из-за излишеств, которым он предавался, вылились наконец в полное безумие. Необходимо было обезопасить его и доставить домой, в отцовский особняк, где вскоре после этого он прискорбно скончался, изуродовав себя собственными руками. . . . . .

## МАРШАЛ ЛАНН.—МЮРАТ С ЖЕНОЙ И другие.

Воскресенье, 14—е. - Во время ужина, говоря об одежде, было сказано, что среди множества великих личностей того времени никто не заходил в этом вопросе дальше Мюрата, и все же, как кто-то заметил, его одежда по большей части была настолько необычной и фантастической, что публика называла его королем Франкони.<sup>[28]</sup>

Император от души рассмеялся и признался, что некоторые костюмы и манеры иногда придавали Мюрату вид шарлатана или шута. Было добавлено, что Бернадотт также прилагал бесконечные усилия к своему платью и что Ланн уделял ему много времени. Император выразил большое удивление тем, что он услышал о двух последних, и это побудило его повторить, как искренне он сожалеет о потере маршала Ланна. “Бедный Ланн, - сказал он, - провел ночь, предшествовавшую битве, в Вене, и не один. Он вышел на поле, не взяв с собой никакой еды, и сражался весь день. Врач сказал, что это тройное стечение обстоятельств стало причиной его смерти, ему потребовалось много сил после ранения, чтобы вынести это, и, к сожалению, природа была почти истощена раньше.

“Обычно говорят, ” заметил император, “ что есть определенные раны, для которых смерть кажется предпочтительнее; но это очень редко бывает так, уверяю вас. Именно в тот момент, когда мы собираемся расстаться с существованием, мы цепляемся за него изо всех сил. Ланн, отважнейший из людей, лишенный обеих ног, и слышать не хотел о смерти и был раздражен до такой степени, что заявил, что два хирурга, которые лечили его, заслуживают повешения за столь жестокое поведение по отношению к маршалу. К несчастью, он подслушал, как они шептались друг другу, думая, что их никто не слышит, что он не сможет выздороветь. Каждую минуту несчастный Ланн звал императора; он обвивался вокруг меня, - сказал Наполеон, - изо всех сил, что у него оставалось от жизни; он не хотел слышать ни о ком, кроме меня, он думал только обо мне; это был своего рода инстинкт! Несомненно, он любил свою жену и детей больше, чем меня; и все же он не говорил о них: это он защищал их, в то время как я, напротив, был его защитником. Я был для него чем-то смутным и неопределенным, высшим существом, его Провидением, к которому он взывал!”

Затем кто-то заметил, что мир высказался по этому поводу совсем по-другому; что сообщалось, что Ланн умер как маньяк, выкрикивая проклятия в адрес императора, на которого он, казалось, пришел в ярость; и было добавлено, что он всегда испытывал отвращение к императору и часто проявлял это по отношению к нему с дерзостью. “Какой абсурд, ” сказал император. “ Ланн, напротив, обожал меня. Несомненно, он был одним из тех людей, на которых я мог безоговорочно положиться. Совершенно верно, что из-за порывистости своего характера он иногда допускал, чтобы с его губ срывались какие-нибудь поспешные выражения в мой адрес, но он, вероятно, проломил бы голову любому человеку, который случайно услышал бы их ”.

Возвращаясь к Мюрату, кто-то заметил, что он оказал большое влияние на печальные события 1814 года. “Он определил их, ” сказал император, “ он является одной из главных причин

нашего пребывания здесь. Но изначально вина лежит на мне. Было несколько человек, которых я сделал слишком великими; я поднял их над сферой их интеллекта. Несколько дней назад я читал его воззвание об отказе от вице-короля, которого раньше не видел. Трудно представить себе что-либо, опозоренное большей степенью порочности: в этом документе он говорит, что настал момент выбирать между двумя знаменами - преступления и добродетели. Это мое знамя, которое он называет знаменем преступления! и это Мурат, мое создание, муж моей сестры, человек, который всем обязан мне, который был бы ничем без меня, который существует только мной и известен только через меня — это Мурат, который пишет это! Невозможно с большей бесчувственной жестокостью оставить причину несчастья и с большей бесстыдной низостью бежать навстречу новой судьбе”.

С этого момента мадам (мать императора) отказалась больше иметь какое-либо отношение ни к Мюрату, ни к его жене; на все их мольбы она неизменно отвечала, что питает отвращение к предателям. Как только она оказалась в Риме после бедствий 1814 года, Мюрат поспешил прислать ей восемь великолепных лошадей из своих неаполитанских конюшен, но мадам не приняла их. Точно так же она сопротивлялась всем попыткам своей дочери Кэролайн, которая постоянно повторяла, что, в конце концов, это не ее вина, что она не имеет к этому никакого отношения, что она не может командовать своим мужем. Но мадам ответила, подобно Клитемнестре: "Если ты не могла командовать им, ты должна была по крайней мере противостоять ему. — но какую борьбу ты предприняла? какая кровь пролилась? Ценой собственной жизни вы должны были защитить своего брата, своего благодетеля, своего хозяина от кровавых попыток вашего мужа.

“Когда я вернулся с Эльбы, - сказал император, - Мюрат вскружил голову, услышав, что я высажусь во Франции. Первое известие, полученное им об этом событии, сообщило ему, что я нахожусь в Лионе. Он привык к тому, что я получал большие прибыли; он не раз видел, как я оказывался в самых необычных обстоятельствах. В этом случае он считал меня уже хозяином всей Европы и решил попытаться отвоевать у меня Италию; ибо это было его целью, целью всех его надежд. Напрасно некоторые люди, имевшие наибольшее влияние среди народов, которые он пытался поднять на восстание, бросались к его ногам и уверяли его, что он ошибался; что у итальянцев есть король, которому единственному они отдали свою любовь и свое уважение. Ничто не могло остановить его; он разорил себя и способствовал разорению нас во второй раз, ибо Австрия, предположив, что он действовал по моему наущению, не поверила бы моим уверениям и не доверяла мне. Печальный конец Мурата соответствует его поведению. Мурат был наделен необычайным мужеством и небольшим умом. Слишком большая диспропорция между этими двумя качествами полностью объясняет этого человека. Было трудно, даже невозможно, быть более мужественным, чем Мюрат и Ланн; но Мюрат оставался мужественным и не более того. Ум Ланна, напротив, поднялся до уровня его мужества; он стал гигантом. Однако, однако, - сказал император, заканчивая разговор, - казнь Мурата, тем не менее, ужасна. Это событие в истории морали Европы; нарушение правил общественного приличия.—Король приказал расстрелять другого короля, признанного всеми остальными! Какие чары он разрушил!” .....

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ТРЕХ МЕСЯЦАХ - АПРЕЛЕ, МАЕ И ИЮНЕ.

Я уже отмечал, что в работе, подобной настоящей, ни в одном пункте невозможно сохранить единство интересов и объекта; поэтому сейчас я попытаюсь восполнить этот недостаток, восстановив в очень немногих словах и последовательно обстоятельства ухудшения положения императора в течение этих трех месяцев; неоднократные случаи жестокого обращения, которому он подвергался; видимый упадок его здоровья; общий характер его привычек; основные темы его бесед: - одним словом, отчет, как физический, так и моральный, о состоянии императора. его личность за этот короткий промежуток времени.

первое. Прибывает новый губернатор, который оказывается человеком либо с очень узкими взглядами, либо с очень плохими намерениями — капрал со своим девизом, а не генерал со своими инструкциями.

2дли. От каждого пленного требуется заявление о том, что он заранее подчиняется всем ограничениям, которые могут быть наложены на Наполеона, и это в надежде снять их с его личности.

Здли. Нам направлено официальное сообщение о съезде союзных государей, которые без дальнейших церемоний провозглашают и санкционируют изгнание Наполеона.

4-е. Мы получаем законопроект британского парламента, который превращает в закон акт притеснения английских министров по отношению к личности Наполеона.

5 в-четвертых. Наконец, уполномоченные приходят от имени своих Суверенов, чтобы присматривать за кандалами и созерцать страдания жертвы. Таким образом, наш горизонт становится все темнее и темнее, наши цепи укорачиваются, все надежды на улучшение исчезают, и будущее предлагает самые мрачные перспективы.

Приход нового губернатора является сигналом к еще большим испытаниям. Для личности императора это начало новой череды мучений; каждый день он страдает от повторения какой-нибудь мелкой досады.

Первый шаг сэра Хадсона Лоу - оскорбление; его первое слово - о жестокости; один из его первых поступков - акт бесчеловечности.

После этого у него, кажется, нет другого занятия, он не получил никаких других наставлений, кроме как мучить нас и заставлять страдать в любой форме, по любому поводу и любым способом.

Император, который поначалу решил придерживаться системы строгого стоицизма, тем не менее возмущен таким поведением и выражается в резких выражениях. Разговоры становятся теплее; брешь пробита; с каждым днем она будет становиться все шире.

Здоровье императора заметно пошатнулось, и мы можем наблюдать быструю перемену. Вопреки своему природному темпераменту, он очень часто чувствует недомогание; однажды он был заперт в своей комнате на шесть дней подряд, вообще не выходя на улицу. Тайная меланхолия, которая пытается скрыться от посторонних глаз и, возможно, от его собственных, начинает овладевать им; скрытые семена болезни, по-видимому, уже таятся в его организме. Он с каждым днем сужает круг своих движений и развлечений, и без того столь ограниченный. Он

отказывается от верховой езды; он больше не приглашает англичан на обед, он даже отказывается от своих повседневных занятий. Диктовка, которая до сих пор, казалось, доставляла ему удовольствие, приостановлена. Иногда он говорил мне, что им овладело отвращение, и он не мог набраться достаточно мужества, чтобы возобновить ее. Большую часть своих дней он проводит, перебирая книги в своей квартире или беседуя с нами публично или с глазу на глаз; а вечером, после ужина, он читает нам пьесы наших великих поэтов или любое другое произведение, которое случайно или по сиюминутному выбору попадает ему в руки.

Однако безмятежность его ума, невозмутимость его отношения к нам несколько не пострадали; напротив, мы кажемся более сплоченными, как одна семья. Он больше наш, и мы больше принадлежим ему; его беседы предлагают большую степень уверенности, свободы и интереса.

Теперь он часто посылал за мной в свою комнату, чтобы я побеседовал с ним; и эти частные беседы иногда приводили его к темам огромной важности, таким как война в России, война в Испании, конференции в Тильзите и Эрфурте, о которых пойдет речь в этой части моих Мемуаров.

КОНЕЦ ТОМА II.

АНДОВЕР: ПО ШАБЛОНУ И НАПЕЧАТАНО Б. БЕНСЛИ.

---

## Сноски

1. *Записка М.Б.К.*—Бонапарт придавал большое значение доказательствам того, что его возвращение не было осуществлено военными маневрами. Я сожалею, что у меня нет шести страниц, которые он написал или продиктовал по этому вопросу и которые он тщательно исправил. Он передал их мне в руки во время сообщения, упомянутого здесь. Он пожелал, чтобы я ответил лорду Каслри, который в речи в парламенте приписал все свои успехи армии.

Решив вообще не писать, пока я не удостоверюсь, что возвращаю во Францию не деспота, я отказался от этой задачи; и в 1815 году я доверил рисунок, подаренный мне Наполеоном, одному из моих друзей, который отправился в Англию, и от которого я до сих пор не получил его обратно. Оно было написано с большой теплотой; в нем содержались выражения необычные, но сильные, большая быстрота мысли и несколько штрихов настоящего красноречия.

2. Это событие происходило в присутствии двадцати двух человек: —императора.—Дюбуа, Корвизара, Бурдые и Ивана.—мадам де Монтебелло, де Люсе и де Монтеस्कю. Шесть первых леди: Баллан, Дешам, Дюрант, Юро, Набюссон и Жерар. Пять дам в спальне - мадемуазель Оноре, Эдуард, Барбье, Обер и Жоффруа. Хранительница; мадам Блез и две служанки гардероба.

3. В интересной работе, опубликованной несколько лет назад относительно "Возвращения с Эльбы", есть такой отрывок: "Когда молодой Наполеон появился на свет, предполагалось, что он мертв; у него не было ни тепла, ни движения, ни дыхания. Были предприняты неоднократные попытки подать признаки жизни, когда были последовательно выпущены сто пушек, которым суждено было возвестить о его рождении. Переполох и потрясение, которые они вызвали, так сильно подействовали на органы царственного младенца, что привели его в чувство".

4. Примечательно, что человеком, от которого я получил эту информацию о сельском хозяйстве в Лангедоке, был тот самый мсье де Виллель, который с тех пор стал знаменитым.

5. Однажды в Лонгвуде, просматривая список сенаторов, подписавших заявление о снятии показаний, один из нас указал на имя месье де Валенса, подписанное как секретарь. Но другой объяснил, что эта подпись была фальшивой, что г-н де Валенс жаловался на нее и протестовал против нее. “Это чистая правда, - сказал император, - я знаю это; он вел себя хорошо; Валенс был верен нации”.

6. Посмотрите план Лонгвуда.

7. Позже я узнал, что эти часы, верные спутники его замечательных достижений во время кампаний в Италии и Египте, перешли в руки великого маршала. Император жаловался, что его часы не идут или что они неисправны; и мы тщетно пытались привести их в порядок: когда однажды, взглянув на часы, которые генерал Бертран только что получил из Кейптауна, он сказал: “Я оставлю их себе и отдам вам свои: сейчас они не идут, но пробили два на *плато* Риволи, когда я отдавал приказы о действиях на день”.

8. Время, которое объясняет все на свете, выявило маленькие пружинки, которые привели к одной из наших величайших катастроф. Я получил следующие сведения от человека, принимавшего участие в событиях того дня:

Услышав, что Наполеон прибыл в Елисейский дворец из Ватерлоо, Фуше бросился к недовольным и подозрительным членам Палаты, восклицая: “К оружию! Он вернулся в отчаянии и собирается распустить Палаты и захватить диктатуру. Мы не можем допустить восстановления тирании”. Затем он поспешил к лучшим друзьям Наполеона. “Известно ли вам, ” сказал он, “ какое страшное брожение поднялось против императора среди некоторых депутатов? Мы можем спасти Наполеона, только смело встретившись с ними лицом к лицу, показав им всю мощь нашей партии и то, как легко могут быть распущены Палаты”.

Друзья Наполеона, легко обманутые в этом внезапном кризисе, не последовали, возможно, даже переступили через рекомендации Фуше, который теперь вернулся к недоверчивой стороне и сказал: “Вы видите, что его лучшие друзья согласны в этом пункте: опасность не терпит отлагательств, и через несколько часов не будет никакого решения. Палат больше не будет, и мы будем очень виноваты в том, что упустим единственную возможность противостоять ему ”. Таким образом, постоянство Палат, вынужденное отречение императора и падение великой империи были вызваны мелкими интригами, предкамерными отчетами и сплетнями. Ah, Fouché! как хорошо император знал тебя, когда сказал, что твою уродливую ногу обязательно сунут в обувь каждому.

9. После моего возвращения в Европу меня заверили, что существуют две записки, написанные карандашом императором Александром с настоятельной просьбой разрешить ему проход. Если это правда, то какая странная превратность судьбы предстает перед нами! Великодушный Завоеватель был обречен погибнуть в плену, вдали от Европы, разлученный со своей семьей; и это тоже во имя побежденной стороны, к молитвам которой он так великодушно прислушивался.

10. Прочитав это размышление Наполеона, офицер, пользующийся доверием адмирала Вильнева, написал мне, что письмо Декреса этому адмиралу перед прибытием месье де

Розильи, назначенного его сменить, заканчивалось так: "Плывите, как только найдете благоприятную возможность: не уклоняйтесь от врага; напротив, атакуйте его, где бы вы с ним ни столкнулись, поскольку императора мало заботит потеря кораблей, поэтому он теряет их с честью". Это письмо было единственным, которое офицер, о котором идет речь, спас из портфеля адмирала, прежде чем выбросить его в море в момент спуска флага.

11. Однако я должен признаться, что мое мнение, вероятно, ошибочно, если, как мне сообщили, данные реестров во Франции с момента введения уравнивания наказаний по сравнению с теми, которые были составлены в течение аналогичного периода времени по старым уголовным законам, свидетельствуют об уменьшении числа преступников.

12. Я с сожалением обнаружил, ознакомившись с работой Доктора, что он полностью пренебрег наблюдениями и исправлениями, которыми я его снабдил, и странным образом искажил детали, которые я сообщил.

13. Этой истории явно противоречат. Похоже, что любовь ко всему чудесному породила эту басню.

14. Меня заверили, что это обстоятельство ошибочно и что в отношении принца Евгения неточно.

15. Я получил из уст принца-настоятеля некоторые любопытные подробности, касающиеся брака и развода Джозефины. Мадам де Богарне была выдана замуж за генерала Бонапарта священником, не являвшимся юрисконсультom, который по чистой случайности забыл заручиться необходимыми полномочиями у приходского vicария. Этот или какой-то другой неформальный момент в браке впоследствии привлек внимание кардинала Феша; и, то ли из-за его собственных угрызений совести, то ли по какой-то другой причине, ему удалось во время коронации убедить императора и императрицу обвенчаться с ним еще раз, наедине; или, по крайней мере, повторить ту часть церемонии, которую он считал необходимой. При разводе гражданское раздельное проживание было объявлено Сенатом. Что касается религиозного раздельного проживания, император не обращался к Папе римскому, и в этом не было необходимости. Кардинал Феш повторно обвенчал стороны без свидетелей, и официальные власти Парижа заявили, что никакого брака не было. После вынесения этого приговора императрица Жозефина вызвала кардинала Феша в Мальмезон и спросила его, может ли он засвидетельствовать и подписать заявление о том, что она была замужем, и законно. "Несомненно, - ответил кардинал, - я могу засвидетельствовать этот факт и подпишу декларацию", что он, соответственно, и сделал.

"Но, " спросил я принца-примаса, " какое решение было вынесено Официальными властями Парижа?" — "Единственно правильное", - ответил принц. - "Что же тогда стало с заявлением кардинала Феша? было ли оно ложным?" — "По его мнению, нет", - сказал принц. "Он действовал в соответствии с итальянской доктриной, согласно которой кардиналы имеют право вступать в брак без свидетелей, что, однако, не признается во Франции, где брак, таким образом, признается недействительным".

Однако, похоже, что Джозефине потребовалось это заявление только для собственного удовлетворения, и что она никогда не использовала его как-либо иначе.

16. Как справедливо император описал характер своей матери! По возвращении в Европу я был рад стать свидетелем буквального подтверждения всего, что он сказал о ней.

Как только я раскрыл мадам Матери истинное положение императора и заявил о своем решении приложить все усилия, чтобы облегчить его страдания, курьер вернул мне ответ, что все ее состояние находится в распоряжении ее сына и что она, если необходимо, будет зарабатывать себе на жизнь, идя на службу. В то же время она уполномочила меня, хотя я не был знаком с ней лично, немедленно получить от ее имени любую сумму, которую я сочту необходимой для использования императором. Кардинал Феш также предлагал свои услуги самым нежным образом; и я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы упомянуть, что все различные члены императорской семьи проявляли равную любовь, рвение и преданность. Пока мое здоровье позволяло мне поддерживать с ними переписку, я получал множество писем, которые в целом составляют весьма интересную коллекцию. Они оказали бы честь сердцам авторов и стали бы источником утешения для императора, если бы ограничения английского правительства позволили мне представить их ему для ознакомления.

17. Императору сообщили, что две или три вдовы его самых выдающихся генералов недавно повторно вышли замуж. Это, однако, неправда.

18. *Essai sur les Revolutions Anciennes et Modernes.*

19. Профессор естественной истории.

20. Впоследствии мне сказали, что часть этих шуток не имела никакого отношения к Ле Турнеру, а относилась к человеку по имени Летурне, который примерно в то время был министром.

21. *Орифламма* была флагом, который несли перед королями Франции.

22. Мы, побывавшие на острове Святой Елены, мы, видевшие факты, заявленные лордом Батерстом перед парламентом Великобритании, и обеспокоенные ими, все мы можем подтвердить перед Богом и человеком, что британские министры в этом случае полностью заслужили справедливые упреки, которые они навлекли на себя во времена лорда Уитворта. Многие англичане, находившиеся тогда на острове Святой Елены, признавались нам в этом и признавались, что краснели за свою страну!!

23. В “Мемуарах Наполеона” (изданных в Париже Боссанжем в 1823 году) содержатся заметки императора по истории Сан-Доминго, в которых приводятся точные и любопытные подробности экспедиции против этой колонии, причины, приведшие к этому предприятию, к его провалу и т.д.

24. На самом деле лен сейчас прядут как хлопок в Вербье и Льеже.

25. Наполеон в своем завещании подтвердил это мнение, завещав его барону Дютелю, своему старому начальнику артиллерии, или его детям, “в знак благодарности”, как он написал собственноручно, “за внимание, которое этот храбрый генерал оказывал нам, когда мы были лейтенантами и капитанами под его командованием”.

26. Автор, похоже, не осознает, что это та самая попытка, о которой он только что сообщил.—  
*Переводчик.*

27. С тех пор, как это было сказано, великая жертва пала. Я, его слуга, видел, как начались его мучения; другие рассказали мне о его последних страданиях и продолжительной агонии. Он скончался! Его враги не переставали наносить ему удары во имя принца! Соответственно, эта бессмертная жертва собственноручно оставила эти ужасные слова: *“Я завещаю свою позорную смерть правящей семье Англии!”*

28. Директор театра в Париже, похожего на здешний театр Эстли.

---

#### Примечание переписчика

Некоторые условные обозначения текста были изменены. Например, там, где имя было пропущено, использовался ряд точек (....). Они были заменены длинными тире (---), чтобы избежать неудобных разрывов строк.

Учитывая дату публикации, орфография, как правило, оставлена в том виде, в каком она была напечатана. Но ошибки, которые, скорее всего, были допущены принтером, были исправлены и отмечены здесь.

В тексте было несколько примеров, когда у слов, взятых в кавычки, отсутствовали либо открывающие, либо закрывающие кавычки. Правильное размещение не всегда очевидно, но был сделан наиболее правдоподобный выбор. Абзац, начинающийся в конце стр. 294, был особенно неясным, и читателю предлагается его расшифровать.

Следует отметить приведенные ниже в таблице проблемы вместе с решениями. Ссылки ниже приведены на страницу и строку в оригинале.

|       |                                                                        |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9.26  | слава и процветание их [‘/,]                                           | Перевернута. |
| 9.40  | Добавлено мое утверждение на троне                                     | .            |
| 21.32 | вы присутствовали при рождении сына почетного гражданина.              | Добавлено.   |
| 30.13 | они были сильно введены в заблуждение относительно его точки зрения.   | Добавлено.   |
| 36.33 | , ведущая в совершенно разных направлениях.                            | Добавлено.   |
| 45.40 | [“] Я сохраню это и добавлю вам свое                                   | .            |
| 55.15 | Мы хотели всего этого, и, следовательно, несмотря на то, что           | добавлено.   |
| 55.17 | повергла в замешательство и t[mulu/umul]                               | перенесена.  |
| 55.36 | и сказал: [“] Вы видите, что его лучшие друзья                         | добавлены.   |
| 62,21 | ведущая звезда наций....[”]                                            | Добавлен.    |
| 63.4  | сказал император: “[он] решил судьбу Франции”                          | Добавлено.   |
| 67.17 | он не пощадил его[.]                                                   | Добавлен.    |
| 68.19 | “Сир, - сказал он наконец, [”] мне пришло в голову одно обстоятельство | Добавлено.   |
| 80,31 | "Статья V.[—]Его Величество Король                                     | Добавлен.    |

|                                                                                                          |                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 89.7                                                                                                     | адъютант - лучший человек, которого можно выбрать[.]   | Добавлено.    |
| 90.20                                                                                                    | [“/”Вы увидите, что они будут                          | заменены.     |
| 90.22                                                                                                    | задержал меня сегодня.[’]”                             | Добавлено.    |
| 101.13                                                                                                   | Аббат де Прадт, - продолжил император,                 | Замененный.   |
| 105.33                                                                                                   | [“]Талейран, возможно, мог бы сделать это:             | Добавил.      |
| 106.16                                                                                                   | Сколько предложений мне не следовало предлагать!       | Добавлено.    |
| 108.20                                                                                                   | [“]Если все это приписать, то                          | Добавлено.    |
| 120.30                                                                                                   | Можно доказать, что это был всего лишь результат       | восстановлени |
|                                                                                                          |                                                        | я.            |
| 131.11                                                                                                   | Здесь я допустил ошибку,[”] сказал Император,          | добавил.      |
| 131.12                                                                                                   | [“], которую                                           | добавил более |
|                                                                                                          |                                                        | непростительн |
|                                                                                                          |                                                        | ый.           |
| 133.28                                                                                                   | [“/” Мы размещаем, [”/”]                               | Заменена      |
| 133.29                                                                                                   | сказали они, [“/” итальянец                            | заменен.      |
| 133.31                                                                                                   | о галлах.[’”]                                          | Добавлено.    |
| 136.10                                                                                                   | Я поставил [одного] из моих братьев во главе их        | Удалена.      |
| 137.25                                                                                                   | период, в который он процветал.[”]                     | Добавлено.    |
| 149.23                                                                                                   | [“/” Лучше бы вы лишили его жизни, я должен            | заменить.     |
| 149.26                                                                                                   | меня, чтобы утешить его в его страданиях.[’]           | Добавлено.    |
| 167.38                                                                                                   | ‘М. - Мудрец, - сказал он,                             | замененный.   |
| Добавлен<br>о 168.4                                                                                      | спустя значительное время после войны[d].              | .             |
| Добавлен<br>а<br>ГИПЕРСС<br>ЫЛКА \l<br>"Хаа3d04<br>6b7ea171<br>0cc7e90a<br>7808db45<br>d005f0b2<br>b" \h | 172.41                                                 | [“].          |
| 174.27                                                                                                   | Удалено два миллиона[,] копий                          | .             |
| 180,28                                                                                                   | до половины девятого[,/.]                              | Заменено.     |
| 199.16                                                                                                   | [“]Я был спровоцирован до крайности                    | Добавлен.     |
| 226.2                                                                                                    | герцог Энгиенский,                                     | заменен.      |
| 231,19                                                                                                   | со стороны Первого сотрудника nsul на М. де Шатобриана | Удалена.      |
| 241.10                                                                                                   | ваши обязанности, подчинение и зависимость и т.д.[”]   | Добавлено.    |

|        |                                                               |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 267.37 | [“]Два генерала,                                              | добавлены.           |
| 270.22 | [“] Но это доказало для меня", - сказал император,            | Добавил.             |
| 276,30 | который развлекался вычислениями                              | Добавил.             |
| 281.15 | полная свобода универсального обмена.[”]                      | Добавлено.           |
| 285.24 | Бриссо, Кондорсе, Вернь[i]ауд>, Годе                          | Добавлен.            |
| 288.1  | Добавлены все те [е], принадлежащие к высшим классам общества | .                    |
| 300.38 | акты подлости уменьшили Францию[’] в глазах                   | Удалено.             |
| 303.38 | добавлен <i>армейский</i>                                     | корпус [d].          |
| 315.22 | сказал[,] “Мне это показалось очень сложным                   | Добавить.            |
| 316.8  | “Шесть, сир”. [“] Как, черт возьми, это может быть?”          | Добавлено.           |
| 317.7  | “Ну,[”] сказал, что он                                        | Добавил.             |
| 317.13 | Могу поспорить, что [я] использую досуг                       | Добавлено.           |
| 318,4  | место императора на высоте одной или двух ступеней.           | Удалено.             |
| 326.3  | однажды возникла дискуссия относительно плана                 | добавления<br>указа. |
| 334.29 | 19—го.-В[ /-]день отплытия "Нортумберленда"                   | Добавлен.            |
| 354.5  | во всех инструментах и средствах доступа к войне.             | Заменен.             |
| 382.21 | [“]Дело не в этом”;                                           | Добавлено.           |
| 385.6  | , которые он выбрал в Камбаке и Лебрене,                      | транспонированы.     |
| 387.16 | об этой блокаде мадам Берт[r]и                                | Добавлен.            |
| 397.26 | [“]Однако, - сказал Император, -                              | Удалена.             |